

У КАМИНА

ЧТЕНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОЛОС»

Николай
ШМЕЛЕВ

В пути
я занемог

\$3.99

ГОЛОС

У КАМИНА ●

ЧТЕНИЕ



●

**Николай
ШМЕЛЕВ**

В пути
РОМАН **Я занемог**



Москва
«ГОЛОС»
1995

УДК 882

ББК 84(2РОС—РУС)6-44

Ш72

Редакционный совет:

АЛЕШКИН П. Ф. — председатель,
КОНОВКО А. В., КУЗЬМИН Г. М., МЕНЬКОВ А. Т.,
САВЧЕНКО В. В., ТИМОФЕЕВ В. В.,
ФОМИН И. Р., ФОМИНА Л. Р.

Художник И. СМЕРНОВ

В пути
я занемог
РОМАН

*В пути я занемог
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.*

Ба с ё, 1694 г.

Часть первая

«МОСКВА, ИЮНЬ, 1992 ГОД»

ГЛАВА I

— Двадцать лет! Бог ты мой, целых двадцать лет... И это все провалялось без движения здесь, в ящичке стола, все эти двадцать лет? Черт знает что! — думал Алексей Иванович Мамонов, грузноватый и лысоватый, в летах уже человек, сидя у себя дома в кабинете и листая толстую ученическую тетрадь, лежавшую перед ним. В квартире все уже улеглись, посуда после гостей была перемыта, и пора было бы и ему отправляться спать. Но он боялся бессонницы — в последнее время она стала что-то уж слишком часто навещать его — и чувствовал, что просто так ему сегодня не заснуть.

«Может быть, когда-нибудь ты прочтешь это, сын, — было написано на первом, заглавном листе тетради. — Во всяком случае, я пишу для тебя, больше мне не для кого писать. Ты прочти, не пренебрегай. Я согласен с тобой: стариков надо слушать вполуха. Но слушать все-таки надо! Даже если их назойливая старческая болтовня и кажется порой смешной».

Ах, как же коротка, оскорбительно коротка она, человеческая жизнь... И было-то как будто вчера, а ведь действительно двадцать лет уже почти прошло с того самого дня, когда в крематории Донского монастыря помост с гробом отца опустился на его глазах вниз. Туда, в какое-то подземелье, куда никому из провожающих покойного не позволяется даже и заглянуть... И все эти годы эта пожелтевшая тет-

радь с исписанными четким, педантичным почерком страницами пролежала в старой конторской папке с тесемками, среди других бумаг и записей, оставшихся от него. И все эти годы, он, его сын, интеллигентный, думающий и вроде бы отнюдь не бессердечный человек, так и не нашел времени, чтобы хотя бы перелистать ее...

А! Что поделаешь — дела. Дела, заботы, будь они неладны. Вечно куда-то все спешишь, спешишь... А куда? А зачем, позвольте вас, Алексей Иванович, спросить?

Да, но только ли это? Только ли всегдашняя занятость его, обозревателя одной из крупнейших московских газет, вся эта беготня, суета по жизни были виноваты в том, что за двадцать лет он так и не заставил себя разобраться в бумагах покойного отца? Вот же где они были всегда — здесь, в нижнем ящике письменного стола, среди других вещей, что остались после его смерти: полевой бинокль в фибровом футляре, набор логарифмических линеек, большая чертежная готовальня «Рихтер» со множеством сверкающих, не подвластных никакому времени инструментов, толстый серебряный портсигар, альбом с фотографиями, несколько твердых как камень, палочек черной китайской туши... Надо было только опустить руку, выдвинуть этот ящик, вытащить эту старую конторскую папку, развязать тесемки, стягивающие ее... Но ведь не выдвинул же, не вытащил, не развязал! И лишь сегодня, когда ему самому стукнуло пятьдесят шесть, наконец решился, пересилил себя... Что же, раньше не мог найти хоть один свободный вечер, чтобы сделать то, что должен был сделать еще двадцать лет назад? Действительно — не мог?

Нет, было бы, конечно, слишком просто свалить все на занятость, на сутолоку и бестолковость жизни. Что-то другое, если не обманывать себя, удерживало его... Презрение? Или жалость к отцу? Или и то, и другое вместе? Презрение молодого, полного сил, преуспевающего человека к тому, кто так и состарился, не найдя себя, и в то же время мучительная, щемящая жалость к нему же, так хотевшему, когда пришла она, старость, пожаловаться кому-нибудь на одиночество, на невнимание и глухоту окружавших его людей, на холод приближающегося конца... Пожаловаться? Но кому? Да хотя бы собственному сыну, если уж нельзя было больше пожаловаться никому.

А сын... А сын когда-то давно, когда ему было лет тридцать, а то и меньше, прочел нечто вроде первого наброска мемуаров отца: они, эти мемуары, тоже лежали теперь в той

же папке с тесемками. И никогда-никогда потом! — он не мог забыть это пронзительное, острое, как укол, чувство неловкости перед ним, перед отцом, перед его смущением, его робким, вопрошающим взглядом, когда они встретились в тот вечер с ним, кажется, на кухне: ну, и как? Неловкости от невозможности превозмочь себя, сказать: нет, отец, не получилось. И в то же время невозможности открыто, глядя ему в глаза, соврать: да, получилось, ты, отец, великий человек, почти как Лев Толстой, и я горд за тебя... А где была гарантия, что и эти, последние, его записки тоже не пробудят в нем ничего, кроме жалости и стыда за старика? За его эти потуги, выпранный слог, его чрезмерно глубокомысленный тон, за которым, как казалось ему тогда, стояло лишь одно: желание представить себя чем-то большим, чем ты был на самом деле... Не было такой гарантии. Не было! И не по занятости, нет, и не по невниманию, а именно поэтому и пролежала она, эта тетрабочка, в ящике письменного стола ни много ни мало — двадцать лет.

* * *

«Помню, тебе было лет десять, не больше, — писал отец, — когда ты задал мне вопрос, поставивший меня в тупик: «Откуда я взялся? Как получилось, что вы с матерью нашли друг друга?» Ты, наверное, спросишь меня: почему в тупик? Что уж было такого особенного в этом обычном детском вопросе? Постараюсь объяснить. И, надеюсь, ты теперь достаточно сам пожил на свете, чтобы понять, насколько же мне тогда было трудно ответить что-либо вразумительное тебе. Если, конечно, не врать всякую чепуху.

Ты знаешь, я крестьянский сын, и геодезистом я стал скорее по недоразумению или стечению обстоятельств, чем по призванию. Нас у твоего деда, ты тоже знаешь, было шестеро, все сыновья: двое погибли в гражданскую за красных, двое за белых, брат Александр к концу 20-х тоже уже умер, и я оставался у деда единственным наследником — наследником его надела, дома, мельницы, маслобойки, трех лошадей и всего остального его добра. Но вступить во владение всем этим хозяйством мне так и не пришлось: дед лежал на столе под иконами уже обмытый, когда его пришли раскулачивать. Конечно, их-то он обманул, показал им кукиш с маслом с того света, но хозяйства это не спасло: все подчистую, вплоть до последней курицы, забрали в колхоз. А была во

мне хозяйственная жилка, не буду скрывать! Любил я возиться с землей и, понятно, если бы не большевики — плюнул бы на теодолит, вернулся бы домой, в Симбирскую свою губернию, и кто знает, как бы тогда обернулась моя жизнь.

А пишу я это все потому, что иначе мне не ответить на твой вопрос: «Откуда я взялся?» Потому пишу, сын, что именно тогда в моей голове окончательно созрел и вырос до невероятных, всепоглощающих размеров мой собственный, самый главный, самый страшный, а в сущности и единственно, наверное, важный в моей жизни вопрос — ответа на него, предупреждаю тебя, я так никогда и не нашел: «Кто сумасшедший? Я или мир?»

Ты знаешь, я прошел все: воевал в гражданскую, причем за красных, хотя и ненавидел это сатанинское племя всю свою сознательную жизнь; погибал от тифа, от дизентерии, а в последнюю войну едва не помер и от туберкулеза; выдержал за жизнь по меньшей мере пять голодовок — настоящих, лютых голодовок, сын! — не дай Бог ни тебе, ни детям, ни внукам твоим когда-либо узнать, что это такое; много лет, особенно в тридцатые годы, прожил, ожидая каждую ночь ареста, да и потом разговаривал с твоей матерью по большей части шепотом, ни на минуту не забывая, что у нас и стены имеют уши; своими, считай, глазами видел миллионы, десятки миллионов смертей вокруг себя, реки, океаны крови, а за что, почему — лишь Ты, Господи, веши, ибо, уверен, никто и никогда из смертных не сможет ни понять это, ни тем более объяснить. Столько страданий, страха, голода, унижений, что выпало на долю нашего поколения в этой Богом проклятой стране — где, когда еще люди в мире знали такое? Воистину мы великий народ и великая страна! Никто в мире не может сравниться с нами по страданиям. Но самое страшное, сын, что некого нам за эти страдания винить, кроме как самих себя. Ни дьявола, ни Сталина, ни большевиков, ни немцев, а только самих себя — верь мне, старику.

А рухнул, сломался я, сын, раньше — не в тридцать седьмом году и не в войну, когда, комиссованный с фронта, доходил от туберкулеза в тылу, на лесоразработках. Рухнул я в ту страшную осень тридцать второго года, когда созрел урожай, а его никто не убирал. Ты, уверен, знаешь, что произошло потом, зимой, а особенно весной на следующий год: люди ели траву, и люди ели людей, и целые села, а где и районы, а где и целые губернии вымирали чуть не до последнего человека. А в городах гремели трубы, и юные, задорные физкультурники в стройных колоннах салютовали

вождю, а в газетах все твердили про Магнитогорск, и Сталинградский тракторный, и про соревнование, и про классовую борьбу, и пес его знает, про что еще...

Помню, мы были тогда в поле, на триангуляции: работали неподалеку от станицы Вешенской — там, где, помнишь, жил этот, написавший «Поднятую целину». Вот, кстати, тебе еще одна загадка жизни: как мог, безусловно, талантливый, неглупый, уже тогда пользовавшийся мировой славой человек до такой степени взвинтить себя, впасть в такой экстаз рабства, чтобы не под угрозой расстрела, а по собственной, так сказать, инициативе написать эту мерзость? Кто заставлял его? И разве ему, автору (или соавтору) той другой, воистину великой книги, нельзя было обойтись без этого? Нечего было есть, не на что было кормить детей? Но это так, к слову. Я отвлекся. И дело, конечно, отнюдь не в нем.

Был уже сентябрь, а кругом, куда ни бросишь взгляд, пшеница стояла необранной. С холма на холм, стеной, на десятки, на сотни верст вокруг, без конца и края, сплошным поникшим, осыпающимся массивом — к тому времени все межи в деревне были уже перепаханы во славу сталинской коллективизации, будь она проклята и ныне, и присно, и во веки веков... Сентябрь — и это на юге-то, в степи?! Господи! Что происходит с людьми? Да как же так можно? А что же будет зимой? А сеять и в озимь, и на тот год они будут что? Ты понимаешь, сын, каково мне было видеть все это? Мне, вчерашнему крестьянину, чьи руки еще не забыли, как держать серп и как вязать снопы, и чья спина, казалось, еще до сих пор болела под тяжестью мешков с мукой, что приходилось каждую осень перетаскивать на своем горбу от нашей мельницы, через двор, в амбар либо домовую подклеть? Мало ли что высшее образование, мало ли что инженер! Я же человек... Ведь погибнут! Все погибнут. И ради чего?!

Почему человек помнит это и забывает то? Почему иногда какой-нибудь пустяк или мелкий, случайный разговор производит на него сильнейшее, неизгладимое впечатление, а иное, даже и грандиозное, событие оставляет в его жизни лишь тусклый, теряющийся след, еле различимый сквозь плену ушедших лет? Не знаю. Это дело психологов — объяснить подобное свойство нашей души и памяти, мне это не по силам. И почему я столь остро, столь живо помню тот день, а вернее, вечер в степи, у дороги, на краю осыпающегося пшеничного поля, и чем уж он был для меня страшнее всех других — я это тоже, хоть убей, объяснить не смогу. Ни себе, ни тебе.

Помню, я брел тогда с мензулой на плече по заросшей травой, давно, видно, брошенной людьми дороге, мечтая об одном — как бы поскорее добраться до того вагончика на краю глубокого степного оврага, где мы, то есть я и двое моих рабочих, тогда жили. Солнце уже село, начало смеркаться, а мне идти еще оставалось версты три-четыре, не меньше, и, признаться, я устал: день выдался нелегкий, видимость была плохой, теодолит все время врал, и мне приходилось по нескольку раз переделывать то, что обычно получалось без всяких особенных усилий, само собой. Да еще рабочий, работавший в тот день со мной, отпросился к вечеру на ближайший хутор, к девочатам, а, может, и просто за самогонкой: правда, рейку он взял с собой, но мензулу и теодолит пришлось тащить мне — мало ли что могло там с ним случиться, за инструмент-то отвечать в случае чего мне, а не ему.

А увидел я их еще издали, поднявшись на очередной пологий холм, — у самого подножья его: костерок, и вокруг него три темных, согбленных фигуры, судя по их бесформенности, в тулупах, а рядом, чуть в стороне от них, силуэт стреноженной лошади, неловкими скачками передвигавшейся вдоль обочины в поисках хоть малость еще где свежей, не вовсе уже пожухшей травы. Заметили и они меня: один из них встал от костерка и все время смотрел в мою сторону, пока я спускался по косогору к ним. Наверное, заметили они меня потому, что я шел с запада: солнце ушло за горизонт за спиной у меня, и в закатном небе моя фигура, да еще с высоко торчащей на плече треногой, была, надо думать, видна далеко вокруг, во всяком случае в тот момент, когда я пересекал вершину этого холма.

— Вечер добрый, мужики, — сказал я, остановившись возле костерка и сбрасывая с плеча мензулу.

— Вечер добрый, — ответил один из них, постарше, чернобородый с густой проседью мужик, отодвигаясь чуть в сторону и освобождая для меня место у костра. — Давай, начальство, присаживайся! Повечеряй с нами. Кулеш, почитай, уже готов... Чуешь, дух какой богатый? На сале, не просто абы как... А спиртика у тебя, случаем, не найдется, а, инженер? В самый бы сейчас раз! Ночи у нас, сам знаешь, холодные. А нам тут до утра куковать...

— Нету спирта, мужики! Рад бы угостить, да ребята мои всю норму, как получили, так тут же и выпили. В один присест... А насчет начальства ты, дядя, зря. Какое я вам начальство? Так же за кусок хлеба горбачусь, как и вы... Казаки?

— Кто казак, а кто и нет, — отвечал чернобородый. — Я вот, по-старому считай, казак. А Никишка вот, он из нас тут самый юноша, он иногородний. Пришлый, значит... Да тебе зачем? Теперь вроде бы в казаках быть не велено...

— Да нет, я так просто. К слову пришлось... Больно уж ты пуганый, дядя! И спросить нельзя.... А поле чье?

— Как — чье? Чудной ты парень! С луны, что ли, свалился?.. Как — чье? Колхозное. Чье ж еще?

— Стало быть, ничье?

— А это уж, как хочешь, рассуждай... Сказано тебе — колхозное...

— А вы в сторожах?

— Мы-то? В сторожах. В дозоре, значит. Сторожим.

— А от кого? От меня?

— А Бог его знает, от кого. Может, и от тебя. Нам-то что? Сказано — сторожить, чтоб никто, значит, подойти к пшенице не смел. Ни свой, ни проезжий кто... Сказано — вот мы и сторожим...

Чернобородый понурился и замолчал, медленно помешивая ложкой в кипевшем и булькавшем над костром котелке. Кулеш и вправду должен был быть хорош: дразнящий запах разваренного пшена, сала, чеснока и еще чего-то, столь же забористого, поднимаясь от котелка, бил по ноздрям, и от этого запаха у меня, не евшего целый день, то и дело сводило скулы и начинала кружиться голова.

Двое других, сидевших рядом с чернобородым, — молодой плотный парень в кубанке, с русым чубом, свисавшим на лоб, и болезненно худой, изможденный мужик средних лет, все время зябко кутавшийся в тулуп, — тоже молчали, уставившись в огонь... Ночь сгустилась, и красные, колеблющиеся блики костра перебегали по их лицам, то вдруг резко высвечивая их, то погружая вновь во тьму. А над головой, в небе, уже высыпали звезды, каждая, наверное, в кулак величиной, и засветился Млечный Путь, и где-то далеко в темноте скрипучим, раздраженным голосом вскрикивала какая-то ночная птица, и от этого тишина вокруг казалась еще более глухой, чем она была на самом деле, и хотелось спать, и уже не верилось, что есть сейчас в мире еще что-то, кроме меня, костра и этих троих мужиков, молча сидящих вокруг него...

— Ты откуда будешь родом, инженер? — нарушил молчание чернобородый.

— Симбирский я. Тоже крестьянский сын. А работаю сейчас в Москве... По межевому делу.

— По межевому, говоришь? Это мы понимаем... Тебя здесь давно люди приметили. С весны... Ну, и много ль ты намежевал тут?

— Я, мужики, собственно, не межеваньем занимаюсь. Я, как бы это сказать... Я карты готовлю для тех, кто межи проводит...

— А скоро ль оно кончится, это ваше межеванье? Или пока последнего крестьянина в гроб не загоните? А загоните — сами-то что жрать будете? Там, в Москве?

— Это ты, дядя, хватил! Это когда-то еще будет... А может, и не будет, может, и пронесет... А ты мне вот что лучше скажи: вы-то сами что будете жрать в эту зиму? Детей, скотину чем кормить? Сеять весной — чем? Ведь стоит, осыпается все! Еще неделя, другая — и пиши пропало. Ничего не соберете...

— Не соберем. Это ты, инженер, верно. И зернышка не соберем...

— Ну? Так что же? Ведь погибнете же, мужики! Вы бы хоть из третьего снопа убрали. Все лучше, чем всему пропадать... А, дядя? Ну, что же ты? Что молчишь?

Но чернобородый, отвернувшись и будто не слыша меня, вновь понурился, продолжая мешать ложкой в котелке. Я уж было опять хотел повторить свой вопрос, но не успел. Тот, другой, болезненного вида мужик, что все время прятал голову в тулуп, вдруг, крикнув, привстал и, выставив из лохматого овчинного ворота свое острое, казалось, плачущее, не по возрасту густо изрезанное морщинами лицо, сказал, обращаясь ко мне, — сказал жестко и зло:

— Дурак ты, инженер! Право слово, дурак какой-то. Блаженный, что ли? Мы не из третьего, мы из десятого снопа прошили — нам не дали... А ты говоришь, что будем жрать...

И потом, вновь усаживаясь и кутаясь в тулуп, добавил, уже примирительно:

— Давай лучше, служивый, кулеш хлебать. Какой с тебя спрос! Ты подневольный, мы подневольные... Э-эх! Господи Исусе... Спаси и укрепи люди Твоя...

— Аминь! — вздохнув, подтвердил чернобородый и, перекрестившись, снял с рогульки котелок с уже окончательно пришедшим, норотившим убежать через край кулешом...

А потом... А потом, сын, и произошло со мной то, что стало мукой, позором, отчаянием моим во всю последующую мою жизнь, вплоть до сегодняшнего дня. И что вроде бы логичным, а на самом деле каким-то непостижимым образом привело к тому, что на свет появился ты.

Так кто же сумасшедший? — спросил я тогда впервые себя. — Я? Или мир вокруг меня? Но не может же быть так, чтобы все вокруг были сумасшедшие и только я в здравом уме. И, значит, не так, значит, наоборот? Значит, сумасшедший я? А вокруг меня нормальные люди, и эти люди знают, что творят, и знают, куда идут, и только я один не могу понять, как же все это может быть?

Из десятого снопа — и не дали?! Да ведь даже в Древнем Риме доля раба была больше! Так почему? Почему одни столь зверским, столь беспощадным способом хотят их всех убить, а они, убиваемые, понимая прекрасно, что идут на смерть, покорно подставляют свои шеи, а некоторые еще и хвалят, еще и благодарят своих убийц? А убийцам зачем эти убийства? Как они сами-то будут жить дальше? И с кем? Какой резон, оправдание, какой практический смысл в этих убийствах? Господи, ну скажите же мне хоть кто-нибудь: зачем это все? Зачем?!

А, долго рассказывать... Короче говоря, закончив кое-как свою работу, а вернее, даже и не закончив, а по существу бросив ее, удрал я через неделю из этой Вешенской в Москву. И на другой же день по приезду, ночью, запершись на крючок в ванной в своей коммунальной квартире на Таганке (восемь семей), вскрыл себе бритвой вены — тоже по древнеримскому рецепту, наполнив предварительно ванну до краев теплой водой. И слушать бы мне давно уже, дорогой мой сын, райские напевы, а тебе бы быть до сих пор где-нибудь там, в пространствах межзвездных, где, по слухам, обитают безгрешные души всех, еще не родившихся на свет, кабы... Кабы не все та же дьявольская алогичность мира, в котором мы с тобой живем.

Как сейчас помню этот тусклый свет матовой лампочки, ввинченной в потолок в ванной, звук капающей капля по капле воды из недовернутого до конца крана, мертвую тишину в коридоре за дверью, легкий пар, поднимающийся от воды... Ничего меня не пугало, и ни о чем я не жалел: смерть была мне нестрашна, и боли никакой я не чувствовал, только вода вокруг меня постепенно окрашивалась сначала в розовый, а потом все больше и больше в красный цвет, и сон понемногу наплывал на меня, погружая в забытье — легкое, колеблющееся, уплывающее куда-то, как предрассветный туман в лесу или как этот пар от воды в ванне, баюкавшей мое тело. Еще немного, — вяло, смутно, как будто даже глядя на себя со стороны, думал я, засыпая, — и все уйдет, и все кончится, и ничего уже не будет, а будут лишь покой,

сон, тишина, и я наконец освобожусь, я наконец избавлюсь от самого себя, и все тогда станет хорошо...

А очнулся я уже в больнице. Оказалось, сын, я просто-напросто плохо посчитал. Заперся я в ванной около часа ночи, дождавшись, когда всякое хождение по коридору прекратится и все мои соседи улягутся спать. Я был уверен: часа-двух мне хватит, чтобы умереть — прежде, чем кто-нибудь из жильцов сунется по нужде в ванную комнату, где у нас был и сортир, естественно, один на всю квартиру. Но на мое счастье (или несчастье?) один из моих соседей — древний, глухой, как пень, старик — страдал почками и, как я узнал потом, бегал в конец коридора по ночам чуть не через час. Он-то и поднял шум на всю квартиру, когда, рванув запертую на крючок дверь в ванную, где горел свет, понял, что там кто-то есть и этот кто-то, как ни пляши под дверью, как ни стучи в нее в нетерпении кулаком, ни за что не желает открывать. Разбуженные его криком, соседи тут же, конечно, взломали дверь. А вызванная по их звонку «Скорая помощь» сразу, без всяких разговоров, погрузила меня, так и не приходившего в сознание, на носилки и увезла с собой.

В те времена — да и сейчас, по-моему, тоже — в нашем благословенном государстве попытка человека самому распорядиться своей жизнью всегда расценивалась властями как нечто, весьма близкое к преступлению, что-то вроде измены Родине, и уж в любом случае как неоспоримое доказательство умственной и гражданской его, человека, неполноценности. Одним словом, через неделю-другую я уже находился в больнице для душевнобольных, на знаменитой некогда «Канатчиковой даче» (ныне больница Кащенко), правда, в тихом, санаторном ее отделении. Должен, однако, сказать, что этой привилегией я был обязан отнюдь не милосердию властей, а своим товарищам по работе: нажав на какие-то неведомые мне кнопки, они — попросту говоря, по благу — пристроили меня туда, справедливо рассудив, что со временем все как-нибудь само собой утрясется, забудется и я опять смогу, как ни в чем не бывало, вернуться на службу. Специалист я был, по общему мнению, неплохой, а тихое помешательство — это все-таки отнюдь не буйное, не активная шизофрения или эпилепсия, или еще там что, да и санаторное отделение — это тоже не надзорная палата с неизменными ее решетками на окнах и дюжим санитаром на табуретке у дверей. Ну, устал человек, ну, нервы сдали — мало ли чего ни случается в жизни? Отлежится, отойдет, он еще молодой, у него еще все впереди...

А в этом, тихом, отделении, сын, дежурной медсестрой работала тогда твоя мать... Помню, это было чуть не на другой же день, как я поступил в отделение. Я лежал на своей койке, отвернувшись носом к стене, и смотрел на гладкую, выкрашенную тоскливой, как сама тоска, краской ее поверхность, когда кто-то, чье появление в палате я даже и не заметил — до того оно было бесшумным — осторожно тронул меня за плечо. Я встрепенулся. И вот здесь-то я и увидел впервые эти серые, под темными, чуть изогнутыми ресницами глаза и услышал этот тихий, слегка картавивший голос, что я видел и слышал потом рядом с собой всю жизнь. Ей было тогда двадцать два, мне тридцать два... И, если бы не она, сын, уверяю тебя: я-таки нашел бы в конце концов способ сделать с собой то, что мне с первого раза не удалось.

— Вот ваши лекарства, — сказала она, когда я выпрыгнул на койке, не слишком, надо думать, приветливо глядя на нее. — Примите сейчас, Иван Николаич, при мне. Я вам буду каждый раз напоминать, пока вы не привыкнете — хорошо? И вы не лежите так. Так вы себе не поможете. Вы лучше гуляйте побольше... Здесь чудесный парк. Большой! И пруд старинный... А режим у вас вольный, когда захотите, тогда и идите. Только к обеду — к ужину непременно приходите назад. С этим у нас здесь строго...

Как, с какой страстью — словно утопающий за соломинку — ухватился я тогда за нее! А я действительно и был тогда утопающим. И, коли уж правду говорить, им и остался на всю свою жизнь, до самых до седых волос. Чего уж мне теперь-то стесняться себя, когда вот она, стоит на пороге — моя смерть? И, думаешь, я побоюсь признаться перед концом, что жизнь моя не задалась? Что я лишь случайно остался жив и прожил потом не свою, а чью-то чужую жизнь? Да и то по великому милосердию и подвижничеству той, которой я обязан всем: не только самим фактом своего возвращения к жизни, но и тем, что я сумел каким-то образом выскользнуть, вывернуться из-под этой огромной давящей глыбы, все время нависавшей надо мной и стремившейся меня расплющить, так, чтобы и мокрого места от меня не осталось нигде. Гранитной, стопудовой глыбы, которую люди называют по-разному — советская власть, дьявольщина, рок, немолчаливая поступь истории, — но что в сущности было все и есть одно и то же.

Любила ли она меня? Не знаю. Не уверен. Она женщина, а женщины, по великому своему инстинкту продолжения рода, любят обычно удалых, веселых, удачливых, не обреме-

ненных излишними терзаниями, легких на подъем — одним словом, хозяев жизни, а не жертв ее. А я? А я был именно жертва: угрюмый, молчаливый, малоподвижный человек, вечно погруженный в какие-то свои думы, вечно ждущий откуда-то удара обухом по голове, даже если за окном и сияет солнце и никакой грозы ниоткуда вроде бы не видать. Я даже зарабатывать — и то толком не умел: мы так и прожили с ней жизнь на мою и ее зарплату, то есть, как ты понимаешь, в полной нищете. Ну, в лучшем случае, на грани такой нищеты...

Нет, повторяю: не так уж, признаться, много было ахов и вздохов, и прогулок под луной, и обломанной сирени в нашей с ней жизни... Но одно, сын, совершенно бесспорно: она взвалила этот крест, то есть меня, на свои плечи и потом безропотно, без единой жалобы или упрека тащила его на себе до конца — до того самого дня, когда мы с тобой проводили ее в последний путь. Как так получилось, что я, со всеми своими болезнями и невзгодами, пережил ее? За что мне от Бога такая честь? Или, наоборот, за что мне от Него такое проклятье? О, Господи! Не спрашивай, человек, ни о чем... И не пытайся разгадать волю Его — все равно никогда и ничего не поймешь.

А скорее всего, Божья воля была тут и не при чем: просто надорвалась она, сил больше не хватило жить. Мало того, что нас с тобой надо было тащить — она ведь, ты знаешь, так и не пошла на пенсию, так и проработала чуть не до последнего дня патронажной сестрой на Угрешенской, в самых что ни на есть трущобных кварталах старой Москвы. Представляешь, сколько горя человеческого видели ее глаза? И скольким людям она помогла? У нас ведь в каждой такой развалюхе народу, что на броненосце, и что ни квартира, то свой душевнобольной, либо алкоголик, либо какой-нибудь припадочный, контуженный на войне инвалид. И каждый из них смотрит, надеется, чего-то ждет от нее: «Мария Сергевна, дорогая, вы к нам? Ко мне?»

И все-таки, несмотря на всю ее заботу, несмотря на то, что мы прожили с ней, твоей матерью, жизнь, мало чем отличавшуюся от жизни всех других, так называемых простых людей — ну, голодно было, ну, страшно, ну, тяжело было жить, так голодно, страшно и тяжело было для всех, не только для нас! — никогда потом, после той попытки вскрыть себе вены, не покидало меня это ощущение позора, личного моего позора, и не перед властями, не перед людьми, а именно перед самим собой. Значит, весь я есть одно сплошное недоразумение, весь я — это какая-то случайная, нелепая гри-

маса жизни, ошибка либо недосмотр Творца? И я все-таки один в этом мире подлинно сумасшедший, а кругом меня здоровые, жизнеспособные люди? Вполне принимающие эту жизнь и не шибко ломающие себе голову над тем, почему их всех силком загнали в один огромный лагерь — где за колючей проволокой, где без нее — и заставили там жить? В лагерь — так в лагерь! Ничего, и там люди живут... Нет, не в них, а именно во мне был, наверное, какой-то дефект от рождения, и надо было меня, как в Древней Спарте, еще в младенчестве сбросить за нежизнеспособностью со скалы. Легче было бы и мне, и другим, включая и твою мать, чей век я, что ни говори, самым все-таки бессовестным образом съел. И ради чего съел?! Я, я один сумасшедший! А вы люди правы — правы в том, что так и не приняли меня, чужака, в свою стаю, боясь заразы. Я паршивая овца! А вы правы.

И только сейчас, уже под самый свой конец, когда я тихо, мирно сижу вечерами за письменным столом, а ты где-то шляешься там со своими многочисленными друзьями и подругами, и когда я, наконец, нашел себе занятие по сердцу — писать, что в голову взбредет, — кажется, какое-то подобие мира с собой начало устанавливаться у меня в душе. Ничего, конечно, не изменилось вокруг меня, но, видимо, я сам изменился. Старость, сын! Старость. Во всяком случае, мне уже не так тоскливо, не так жалко себя, когда я думаю, на что же ушла моя жизнь... Ты, кстати, когда прочтешь это, не засовывай папку далеко. Там есть и еще кое-что, возможно, интересное для тебя.

Ах, если бы ты знал, как же больно мне было тогда, пять лет назад, когда я увидел эту твою снисходительную, жалостливую ко мне улыбку, сын! Помнишь, когда я впервые попросил тебя прочесть, что я написал? Но что я мог сказать, что я мог ответить тогда тебе? Только вытерпеть и этот удар, как я терпел их всю свою жизнь. Прав-то был тогда ты, не я... Но, кажется, теперь-то я чуть набил руку на письме, и то, что ты сейчас читаешь, уже, надеюсь, не производит такого беспомощного впечатления, как в первый раз — так? Или я опять ошибаюсь? А, сын?

И еще одно: не показывай ты это, ради Христа, никому, когда прочтешь. Неровен час — лучше подальше от греха. Не верю что-то я во все эти нынешние послабления! Пожалуй, даже наоборот: именно сейчас, к началу 70-х годов, она, эта система, только-только по-настоящему и расселась, и разлеглась во всю свою дьявольскую мощь и ширь, и только сейчас она и созрела окончательно, чтобы поглотить собой

все. Тогда, в 30-х — то были лишь родовые конвульсии ее! А теперь этот монстр окреп, возмужал, и, боюсь, он еще покажет себя во всей своей красе... А впрочем, кому дано знать, что ждет нас впереди? Может, сын, все-таки сумасшедший не я, а мир? И он еще, даст Бог, опомнится, придет в себя? В конце концов мало ли что было с людьми с тех пор, как Каин убил брата своего? Все было! И все-таки мир жив. И, судя по всему, намерен и дальше жить.

Да, но как же с другим моим нерешенным вопросом? Стоила ли моя жизнь того, чтобы матери твоей принести себя в жертву ради меня? Нет, и на это тоже я не смогу сказать тебе ничего определенного... Но, может быть, не я — может быть, ты и есть оправдание ее жертвы? Ах, как хотелось бы, чтобы это было именно так! Она святая была, сын. И должен же от святых людей оставаться на земле какой-то след — ты согласен со мной? Или нет? Или вновь только усмехнешься: дескать, опять старик чепуху какую-то несет, выжил из ума на старости лет — что с него возьмешь?»

* * *

Тетрадка кончилась. Алексей Иваныч положил ее обратно в папку и, аккуратно затянув тесемки, сунул папку на прежнее место в стол. Спина и ноги его от долгого сидения затекли, голова гудела, кабинет был полон табачного дыма, и, чтобы проветрить его, он распахнул балконную дверь.

В доме напротив тоже уже все спали. Ни в одном из его окон не горело даже ночничка, и только в подъездах, снизу вверх, по лестничным клеткам и пролетам, тускло отсвечивал слабенький, размытый свет. Но тоже не везде: видимо, лампочки кое-где перегорели, а ввернуть новые было некому, а может, и просто повыворачивали их... Разруха! Как в войну. А когда разруха — первым делом, известно, исчезают нитки и иголки, а следом за ними и лампочки в подъездах. Говорят, даже промысел теперь существует такой — торговля вывороченными лампочками с рук.

А скоро, наверное, начнет уже светать. Июнь... Нет, теперь ему определенно не заснуть. Может, принять все же снотворное? Опасно. Говорят, когда выпьешь, этого ни в коем случае нельзя: оно, видите ли, плохо сочетается со спиртным... А может все-таки, коли уж не спится, коли уж, видно, не добрал с гостями — налить себе еще стакан? Хлопнуть сразу, одним духом — и пожалуйста, и ваших нет? Тоже, од-

нако, нехорошо: голову тогда завтра от подушки не оторвешь... Нет, но как же все-таки так, а? И это все провалялось в столе двадцать лет? Целых двадцать лет? Непостижимо!

А впрочем... А впрочем, чего уж такого непостижимо-го? — думал он, шагая взад-вперед по кабинету, по толстому, скрадывавшему шаги ковру. — Все это — лишь одна вина, его вина, только растянувшаяся в длину на целую его жизнь. Вина перед стариком-отцом, так и не дождавшимся от него тех немногих слов понимания и утешения, которые так были ему тогда нужны, вина перед матерью, незаметно, неслышной тенью жившей рядом с ним, ее сыном, и столь же незаметно ушедшей из его жизни. А сколько их еще, других, перед кем от виноват? И эта одна, огромная вина его еще не оплачена им, и за нее ему еще придется платить и платить до конца своих дней. Платить сегодняшней бессонницей, и завтрашними обидами своими на жизнь, на все ту же глухоту и непонимание со стороны людей, и раздражением против собственного сына, который все дальше и дальше отходит от него, и тем одиночеством, что, не миновать, в конце концов ожидает и его, когда придет и его черед — когда придет она, его смерть...

А вернуть бы сейчас все назад! Вернуть бы те дни, когда отец угасал, когда он сидел, завернувшись в теплый плед, в кресле и дремал, одурманенный лекарствами, или о чем-то там думал о своем, свесив голову на грудь и лишь изредка, словно нехотя, поднимая отсутствующий взгляд, когда он, его сын, проходил по комнате — в поисках чего-то наверняка неважного, наверняка ненужного, но что казалось тогда важным и нужным. Во всяком случае, более важным и нужным, чем просто, придвинув стул, сесть рядом с ним, и взять его исхудавшую руку в свои руки, и так посидеть молча, не тревожа его, и не спрашивая ни о чем, и только лишь чувствуя безвольную мягкость его ладони и слабеющее, ускользающее биение жизни в ней, и укрыть ему потеплее ноги, чтобы не дуло, и поправить ему подушку под головой. А дождавшись, когда он откроет глаза, все-таки спросить его — спросить его о чем-то самом важном, последнем, о чем за всю жизнь спросить так и не удалось... Нет, и еще сказать ему: прости. Прости, я знаю, что виноват. Но это все не потому, что я зол и неблагодарен и не любил тебя. А потому, что так уж нелепо она устроена, жизнь, и все в ней нескладно, и всегда вокруг какая-то суета, и никогда не знаешь в ней, что важно, а что нет, и все откладываете на потом, а когда спохватишься — поздно уже, и ничего назад вернуть нельзя, и можешь сколько угодно кусать

локти и попрекать себя — все это попусту, все без толку. Кори ты себя, не кори...

Нет, но все-таки: что же означает она, эта тень отца, так неожиданно-негаданно возникшая вдруг сегодня перед ним? Именно сегодня, когда и ему надо решать, когда и он встал, как тот бедолага в сказке, на распутье, не зная, по какой же дороге ему дальше идти? Ему, тоже уже пожилому, лысому, с одышкой человеку, но пока еще не потерявшему интереса к жизни и отнюдь еще не готовому махнуть на все рукой и заползти, схорониться в первую же попавшуюся щель... Почему-то же раньше она не приходила к нему, эта тень? А ведь двадцать лет прошло с того дня в Донском монастыре...

Но, Бог ты мой, как же не хочется ничего решать! Как не хочется, если бы кто знал... Пустить бы все на самотек, сесть бы поглубже в кресло, спрятаться за развернутую газету и, подремывая и зевая, ждать: куда она сама вынесет, кривая? Куда-то же она должна его вынести в конце концов... Нет. Слишком это хорошо, чтобы так и быть! «Подремывая и зевая...» Никуда ты, Алексей Иванович, не денешься! Придется тебе решать. И решать довольно скоро. Может быть даже, через день-другой...

За окном совсем уже рассвело. Темные, тускло отполированные дверцы книжного шкафа выступили из полумрака, и старинный, прошлого века, пейзаж — барский дом с мезонином и липы вокруг него — стал виден на стене, и люстра над головой обозначилась всей своей тяжестью, а маленькая лампа на письменном столе стала вдруг неуместной, даже какой-то жалкой. Но потушить ее он забыл. Сломленный наконец-таки усталостью, Алексей Мамонов, не раздеваясь, завернулся в плед, сунул под голову диванную подушку и, скрючившись на своем покойном, привычном, давно уже продавленном во многих местах диване, сейчас же, без всяких переходов, провалился, как в яму, в сон.

ГЛАВА II

А решать ему, Алексею Ивановичу Мамонову, предстояло, как это ни печально было сознавать, в сущности тот же самый вопрос, что так и не удалось никогда решить его отцу. Именно так: либо ты со всеми, и тогда тебе туда же, куда и всем. Либо... Либо ты один.

Тяжкое наступило время! Смутное время. Время, когда ничего не поймешь вокруг, и нет ничего твердого под нога-

ми, и ничего не видно, что ждет тебя там, даже за ближайшим же углом, не говоря уже о каких-то далях и горизонтах, без которых человек тоже не живет да, конечно, и не должен жить. Все привычное рухнуло, все давно усвоенные, проверенные десятилетиями способы жить, устраивать свои дела, оберегать своих близких оказались негодными и ненужными, и надо было, как малому ребенку, — или нет, как тяжело и долго болевшему человеку, — начинать учиться ходить заново. А как научишься, когда тебе уже основательно за пятьдесят? А, казалось бы, уже приспособился к жизни, какой бы она ни была, уже наловчился обходить все ее бесчисленные препятствия и углы, и можно уже было спокойно думать о старости, и не бояться ничего, и с достоинством, как и подобает человеку, сделавшему в жизни все, что он мог, ждать своего конца. Ты родил сына, ты посадил дерево, ты построил дом — значит, ты чист перед Богом и людьми. Так чего же тебе еще?

О, Господи... И куда оно все катится, в какие тартарары? «Куда несешься ты, Русь? Дай ответ!» Нет, сколько ни вопрошай, не даст она ответа, ибо и сама не знает, куда она несетя во весь опор, как не знают ответа и те, кто трясущимися от страха, неумелыми руками пытаются удержать вожжи и хотя бы попридержаться, замедлить этот бешеный ее бег в уже разверзающуюся перед глазами пропасть... А главное — зачем?! Зачем было до основания разваливать этот неказистый, грубо сложенный, не очень уютный, но все же вполне пригодный для жилья дом, в котором, конечно, были и своя гниль, и грязь, и свои пауки, и свои крысы, но было и свое счастье? Зачем было так безрассудно раскидывать по сторонам и крышу его, и сруб, и все домовые постройки, а потом, как на пепелище, сидеть в растерянности, глядя на дело своих же рук и не зная, с чего теперь начать? Что же вы надепали, сумасшедшие? И где же были ваши глаза раньше? И как хватило у вас духу, или бездумного азарта, или невероятной, самой что ни на есть большевистской жестокости и презрения к людям сделать то, что сделали вы?

Несмотря на бессонницу, встал он и сегодня, как всегда, в семь. Сначала привычные десять минут разминки: голову вокруг шеи направо, потом налево, присели, выпрямились, вытянулись в рост, прогнуться назад, наклониться вперед, достать пальцами рук пальцы ног — слава Богу, пока получается... Потом бритье — ох ты, какие же мешки под глазами! Неужели все, неужели они уже больше никогда не сойдут? Потом холодный, иголками по всему телу душ, потом

махровое полотенце... Ну вот, и сон прошел, и вчерашний хмель: можно опять начинать жить.

Как радовался он когда-то — и совсем недавно еще радовался! — этому ощущению бодрости во всем теле по утрам после душа, готовности жить, действовать, куда-то бежать, в чем-то участвовать, писать, спорить, заступаться за кого-то... По крайней мере, до середины-то дня этого состояния хватало. А теперь? А теперь душ, не душ, а запала после него хватает лишь на то, чтобы поставить кофейник на плиту, притворить поплотнее дверь в кухню и, включив маленький телевизор на окне, уставиться в этот ненавистный экран, который с удовольствием разбил бы, разможил бы вдребезги, если бы это хоть на йоту помогло...

Ну вот, пожалуйста! Опять: на Кавказе стрельба, в Молдавии стрельба, в Душанбе вот-вот стрелять начнут, а тут забастовки, а там демонстрации, а здесь завод стоит, а здесь опять какое-то рыло лезет в экран, и не поймешь, кто это — очередной сумасшедший или еще один мошенник, а за ним ревушая, обезумевшая толпа, оскаленные рты, плакаты, вздернутые кулаки, а где и автоматы... И обязательно какой-нибудь поп с крестом! И не знаешь, чего он требует — крови или милосердия, и не веришь уже никому: ни взбесившейся толпе, ни всем этим мерзавцам — ее вождям, ни попу, будь он хоть сто раз не расстрига, а самый что ни на есть настоящий поп.

Двадцать минут такого истязания, двадцать минут этой живодерни — и все, и полдня потом не можешь прийти в себя, и ни к чему ты не годишься, и хочется лечь и тут же на месте умереть. И так каждый день! Но и плюнуть на все, заткнуть уши, перестать читать газеты, раскрошить, раскромсать топором телевизор — на это тоже нет сил... А у кого-то, говорят, они есть... Да что у кого-то? Собственный сын тому тебе пример. Счастливые люди! Да только надолго ли их такое счастье? Все равно ведь она когда-нибудь достанет, жизнь, куда ты от нее сбежишь...

Дверь на кухню, скрипнув, отворилась. Вошла жена — уже одетая, даже слегка надушенная, с тщательно уложенной на пробор, рано поседевшей головой. В последние годы она, правда, немного располнела, поползла... Но ничего не скажешь, молодец — держится изо всех сил.

— Так и спал, не раздеваясь? Опять, наверное, до утра по кабинету проходил? — спросила она, чуть тронув ладонью встопорщившиеся после душа волосы у него на затылке. В ответ он, не поднимая головы, прикрыл своей ладонью ее

ладонь и слегка сжал ее: уже давно этим обычно все теперь и ограничивалось, когда они встречались на кухне по утрам.

— Да, Тата... Так и проходил.

— Надорвешься ты так. Боюсь я за тебя... Может, все-таки посоветоваться с врачом, а?

— Посоветуемся, придет время. Не торопись... Сын дома ночевал? Или уехал вчера к себе? Я как-то не заметил, куда он делся, когда гости разошлись...

— Нет, он здесь. Спит еще... Вы с ним хорошо вчера по-праздновали! Вот-вот вышли бы на предел.

— Но ведь не вышли же, нет? В этом-то, между прочим, и есть оно, искусство жизни, дорогая ты наша Наталья Владимировна... А что, ты чем-нибудь недовольна? Что-нибудь нескладно было вчера?

— Да нет, все складно! Все было прекрасно. Особенно по нынешним-то временам... Мог бы, кстати, и меня похвалить: какой я вам ствол устроила, а? А вечер действительно получился удачный. Я все сидела, думала: счастливый ты все-таки, Алексей Мамонов, человек! Редко счастливый... Вот и жизнь... Вот и жизнь под закат пошла, а у тебя все еще есть друзья, кому-то ты еще нужен, кому-то от тебя тепло... И что особенно трогает: эти же люди сидели у тебя за столом и десяток, и два десятка лет назад...

— А Серега Бушмарин и тридцать, и сорок лет назад...

— А Сергей, вон видишь, еще и тогда, когда меня и впомяне не было... Грех тебе жаловаться на жизнь, ведущий обозреватель! Не одна только сволочь вокруг тебя. И люди тоже есть.

— Ну, положим, кое-кто и из вчерашних у тебя в сволочах тоже походил...

— Было! Не отрекаюсь. А разве я тебе сказала, что я их всех люблю? Кого люблю, кого нет. Да разве в этом дело? Дело в тебе, не в них... Ну, так как же все-таки, мученик? Решил наконец что-нибудь? Подпишешь этот дурацкий манифест? Или нет, или и дальше будешь и себя, и других изводить?

— Нет, Тата. Не решил. Ничего я не решил... Куда ни кинь, везде клин! Подпишу — я сволочь. Для себя сволочь. Не подпишу — тоже сволочь, только для других...

— Значит, опять попусту ночь проходил?

— Попусту, Тата. С таким же успехом мог бы забраться вчера под одеяло и сопеть себе до утра, пока будильник не зазвонит... Тебе кофе налить?

— Налить. Только разбавь немного молоком... И как у тебя сердце-то выдерживает такую черноту? Сколько тебя

знаю, ни разу не помню, чтобы ты молоком разбавлял. Всю жизнь не кофе, а деготь пьешь. Наркоман... Иной раз удивляешься, как ты еще жив...

— Екатерина Великая, Тата, как утверждают историки, на одну крохотную чашку кофе заваривала его целый фунт. И ничего, не плохо прожила старушка...

— Ну, и что хорошего? И, кстати говоря, умерла не такой уж старой. Вполне могла бы еще пожить...

— Брось, Татонька! Не надо педагогики. Поздно мне уже меняться. Горбатого могила исправит...

— А ты попридерживай! Что ты сам себя раньше времени в нее загоняешь? Пьешь, куришь, как паровоз, кофе хлещешь ведрами, ночами не спишь... И из-за чего? Подумаешь, нашел проблему! Подписать, не подписать... Ну, не хочешь — так и пошли их всех куда подальше...

— И?

— И дело с концом. И будешь один... Что ты так смотришь? Да, один! На кой черт они тебе все сдались? Левые, правые, демократы, большевики...

— Один? А жить, Наталья Владимировна, позвольте Вас спросить, будете на что? Что у нас с тобой есть? Что-то я не вижу тебя с протянутой рукой в подземном переходе на Арбате... Не тех ты, понимаешь ли, кровей...

— Я-то, Алеша, проживу. Как-нибудь да проживу... Ты не обо мне печалься. Ты... В общем, сам знаешь, что я имею в виду...

— Да даже, наверное, и не в этом дело, Тата. Не в этом, не в деньгах... Во всяком случае, не только в них...

— А в чем?

— А в том, что мне хочется вскочить и заорать, что есть мочи, на весь мир, на всю Россию: «Чума на оба ваших дома!» Пропади вы все пропадом — и эти, и те...

— Ну, и заори.

— Заори? Ну, допустим, заору. А кто услышит?

— Кто-нибудь да услышит.

— Услышит? Ни черта никто не услышит! Не строй иллюзий. Сейчас никто никого не слышит, все слушают только себя... Но даже и это не самое печальное. А самое печальное, знаешь, что?

— Что?

— Самое печальное: а вдруг они правы? Либо те, либо эти. А я не прав. И только лишь болтаюсь у людей под ногами со всеми своими соплями. А дело делают они... Помнишь? «То горестный удел тех жалких душ, которые не

знали ни славы, ни позора смертных дел. Их свергло Небо, не терпя пятна, и пропасть Ада их не принимает...»

— Нет, не помню. Это кто?

— Данте.

— Надо же! То Шекспир, то Данте... Всегда изумлялась этой твоей способности помнить все... А к делу это все равно, Алеша, не относится. Все равно...

— Почему?

— А потому, что Шекспир, Данте — это все чепуха! Это все игра.

— Игра?

— Да, игра! То ли с самим собой, то ли с другими — не знаю... А знаю я лишь то, что можешь ты, Алексей Мамонов, хоть под старость позволить себе роскошь быть самим собой? Ты, личность? Извини за патетику — ты сам напросился на нее... Кто тебе судья? Даже я тебе не судья, прожив с тобой без малого тридцать лет. А другие? Причем тут они, когда речь идет только о тебе? Только о тебе и ни о ком из них?

— Слушай, Тата... А знаешь, что я иногда думаю? Не так ты прожила жизнь. Из тебя бы, наверное, вышел великолепный прокурор. Большой прокурор! Это я, похоже, помешал. Тебе бы лет эдак двадцать назад сделать мне ручкой: адье, дескать, господин слюнтяй, некогда мне тут с вами возиться...

— Дурак ты, Алешка! Ох, какой же дурак... Хочешь, чтобы я разревелась? Не дождешься. И не мечтай...

Ну вот, поди, знай, чем заденешь человека! В глазах у нее действительно что-то блеснуло... Положение спас сын, просунувший в этот момент в дверь свою лохматую голову.

— Дорогие, бесценные мои! Как говорится, фатер унд мутер. Доброе утро! А для блудного сына не найдется чего-нибудь? Рассольчику или еще там чего? Про пиво, тем более холодное, я уж и заикаться не смею. Опасаясь слез матери и отцовского ремня...

— Встал? Доброе утро, Костя... Яичницу будешь? — встрепенулась Наталья Владимировна, вставая из-за стола и открывая дверцу холодильника.

— О, яичницу! Кто ж теперь отказывается от яичницы? А вы все-таки молодцы у меня, старики. Неплохо держитесь. Особенно, если судить по вчерашнему столу...

— А про пиво, брат, ты это как — всерьез? — спросил Алексей Иванович, глядя на слегка все же помятое, с красноватыми белками глаз лицо сына.

— Конечно, всерьез, отец! А что, есть? Ох, не помешало бы сейчас... Не знаю, как тебе, а мне твои именины нелегко достались. Головка-то плоха! Да и ручки, смотри, подрагивают. В самый бы сейчас раз...

— А может, заменишь стопарем? Нету пива, сын. Не догадались запастись. Ты уж извини.

— Нет, отец. Стопарем нельзя! Мне работать надо. Деньги зарабатывать.

— Интересно, Костя, а тебе когда-нибудь кто говорил, как врачи размечают историю болезни алкоголика? По стадиям, красным карандашом? Знаешь, нет?

— Нет, отец, не знаю. А что?

— Первая стадия, то есть первая красная черта: когда человек стал пить водку.

— Понятно. К сожалению, уже проехали. Дальше?

— Вторая, не за столом будет сказано, когда человек перестал блевать. Сколько бы ни принял. Природный клапан, то есть атрофировался.

— И это уже проехали, отец. Грустно, но и это так. Дальше?

— Третья — когда начал похмеляться.

— Чем?

— Да не кефиром, не простоквашей, конечно. Пивом, вот как ты. Или стопарем.

— Ну, тут мы, что называется, фифти-фифти. Половина наполовину. Одним словом, кое-какие резервы еще есть.

— Четвертая стадия — когда стал пить один.

— Понятно. А пятая?

— А пятая — зеленые черти. Знаешь, махонькие такие, лохматенькие, по углам? И хвостики дрожат?

— Нет, не знаю. Слава Богу, отец, пока не довелось... Итак, заключаю: сын ваш, дорогие мои родители, он же Мамонов Константин Алексеевич, 1965 года рождения, русский, социальное положение — из служащих, холост, образование высшее, судимостей не имеет, ни в каких партиях не состоит, наградами не отмечен, в выборных органах не участвовал, старший лейтенант запаса и прочая, и прочая — сын ваш по всей медицинской науке алкоголиком не является. Оснований для беспокойства объективно пока нет. Болтается, как и большинство российского народонаселения, между второй и третьей стадией. То есть, если уж что взял, то обратно ничего не отдаст, а похмеляется лишь изредка, в хорошей компании, например, среди родных своих и близ-

ких. Да и то, если поднесут... Кстати, а сам-то ты, отец, как считаешь — ты на какой стадии?

— Я все-таки, сын, ближе ко второй.

— Ну, а я, значит, ближе к третьей. Но ведь должен же быть какой-то прогресс? От поколения к поколению? Или нет?

— Безусловно, должен быть. Но все-таки лучше бы не этот, сын.

— Не паникуй, отец! Не из-за чего паниковать. Это я так просто. Шучу. А на самом деле мы меньше пьем, чем вы... Мама! Ну, что же ты?! Сквородка-то уже горит! Нас заслушалась? Господи, было бы чего...

... Когда Мамонов-старший вышел из подъезда, на улице было еще свежо. День обещал быть теплым, скорее всего, даже жарким, но он только начинался: в заросших старыми липами и такими же старыми тополями дворах на Большой Пироговской, где они жили, еще стояла тень, и хотя и эти дворы, как и все другие в Москве, давно уже бросили поливать, асфальт и земля под деревьями были еще влажными с ночи, и дышалось еще легко.

Вспугнув мимоходом стаю голубей, что прямо у колес его машины суетились посреди брошенной им кем-то горстки пшеницы, он открыл дверцу, уселся на сиденье, сунул ключ в замок зажигания и... А, черт! Опять. Ну, конечно! Ну, все теперь, буквально все одно к одному. Все в мире против него. Опять не заводится, мать ее так, хоть ты тресни! А еще вчера была в порядке... И чего такого опять с ней стряслось? Как всегда, верно, какой-нибудь пустяк, мелочь какая-нибудь... Да для такого водителя, как он, любой пустяк — трагедия. Опять бегай теперь, ищи, звони: помогите, люди добрые! Машина встала, пожалейте недотепу... Да до субботы и не дозовешься никого, а сегодня среда...

Без толку погнав минут пять мотор машины, Мамонов плюнул, запер дверцы и пошел на троллейбус, благо остановка его была в двух шагах от дома, а подвозил он его прямо чуть не к дверям редакции, на Пушкинскую площадь. И ехать нужно было недолго — от силы полчаса. Да и садился он на следующей после конечной остановке, когда народу в троллейбусе было еще немного и можно было вмяться в угол у окна и либо дремать, либо читать газету, спрятавшись за нею от тяжелого дыхания десятков тел, все более плотно, все более напористо набивавшихся в вагон с каждой новой остановкой, и не слышать их хрипа, и не видеть этих угрюмых, измотанных борьбою за жизнь лиц, которым нельзя

было не сочувствовать, но и отвращения к которым тоже невозможно было превозмочь, как ты себя не убеждай, что они тоже жертвы и они тоже не виноваты ни в чем.

Но самым большим его развлечением, сколько он себя помнил, было сидеть так и смотреть в окно, на бегущие мимо дома и улицы, не думая ни о чем. Особенно, если час был ранний, и день был солнечный, и листва на деревьях была еще свежей, не пожухшей, и гарь от машин еще не заволакивала город, и народу на улицах было пока не так уж много, а сами улицы еще не успели приобрести тот отталкивающий, неряшливый, бестолковый вид, который они приобретут чуть позже — тогда, когда Москва, умаявшись от трудов, высыпет к полудню из всех дверей и щелей и бросится врассыпную по магазинам.

Конечно, в десятом часу утра город уже не так прозрачен, не так хорош, как, скажем, часа в четыре-пять, когда только-только рассвело и он пуст и безлюден. Но и сейчас, когда кончился утренний час пик и до обеда еще не скоро, и улицы, пусть ненадолго, но вновь опустели, его уродство, грязь, неприбранность не так все же лезут в глаза, как днем. И можно не замечать, что и в июне уже многие липы вдоль тротуаров стоят мертвые, без листвы, и перекопан он весь, город, без всякого толку и смыслу из конца в конец, и дома его все обветшали, и витрины убоги, и вывески все покосились и потеряли многие из своих букв, и асфальт везде в сплошных ямах и рытвинах, и вообще в Москве теперь дела нет никому ни до чего, и выглядит она сейчас, наверное, хуже даже, чем она выглядела в войну... Нет, когда мимо окон троллейбуса плывет большой, старый парк на Пироговской, а за ним лучшая, наверное, из московских улиц — Кропоткинская (где большевики почти не успели наследить, ну, разве что воткнули у Левшинского один свой дом — уродец, а так больше, слава Богу, не напортили ничего) и когда потом идут бульвары — Гоголевский, Суворовский, Тверской, с их еще живыми, еще не сдавшимися липами и долгой чередой старых, ничем не похожих друг на друга домов, — нет, тогда кажется, что жить еще можно, что еще не все потеряно и когда-нибудь она опять наладится, жизнь, и люди опять станут людьми.

В самом деле, мало ли чего она не видела, Москва! Пройдет и эта смута, и народ успокоится и начнет снова жить. И опять помягчают людские лица, и усохшие липы выкопают и посадят вдоль улиц новые, а дома подновят, а мусор повсюду уберут. И асфальт станут поливать, как поливали его раньше

всегда, и на бульварах опять появятся безмятежные старички, играющие в шахматы или домино, а рядом с ними дети, копошащиеся в песке, и молодые мамы опять будут катать по аллеям детские коляски, а не стоять в очередях. И, может быть, даже прилетят и будут жить в городе другие птицы, а не только лишь одно это наглое, крикливое воронье, и, может быть — чем черт не шутит! — и белки поселятся в дуплах деревьев в парках и на бульварах, как в иных заморских городах...

А, да пес с ней, с машиной, в конце-то концов! Ну и сломалась, ну и что? И без нее на худой конец можно обойтись. Да и не может же быть, чтобы с ней стряслось что-нибудь серьезное, ей всего-то чуть больше трех лет. Еще поедит, голубушка, послужит! Не хуже, чем у других. Не самый же он, в самом деле, невезучий на земле человек...

— Костя, тебе нужен телефон? Нет? Тогда подожди меня немного, я сейчас, — прибирая посуду, спросила сына Наталья Владимировна, когда дверь за Мамоновым-старшим закрылась. — Вместе пойдем. Или останешься? Ты оставайся, отдохни, если никуда не торопишься. Я к обеду, наверное, вернусь.

— Что ты, мать! Некогда мне тут прохладиться. У меня там, небось, уже все телефоны оборвали... Я теперь, матушка, многим нужен! Ты со мною не шути... Давай, звони, и пойдем. А я пока тут на кухне еще одну сигаретку выкурю. Больно у тебя здесь чисто, хорошо! Родительский дом, одним словом. Сидел бы так и сидел. Однако нельзя — пора...

У подъезда они простились. Им было в разные стороны: ей в метро, на «Спортивную», ему на Арбат, в Мерзляковский переулок, где с некоторых пор в небольшом, но весьма вместительном старинном особнячке помещалась его фирма.

— Головка-то все-таки не того, мать, — признался он, обнимая ее на прощанье. — Надо бы пройтись немного... Ничего, потом наверстаю! Да, честно говоря, я еще вчера предупредил своих, что задержусь. Чужало сердце... Причина уважительная, а они народ понимающий. Да и понимай, не понимай — кто что скажет? Я босс!

— Босс! Дай я тебе галстук поправлю, босс... И вихры бы хоть немного причесал. Расческа-то есть?

— Пятерней, матушка, пятерней! «Пятерней чешу волосы, урожай дожидаясь с незасеянной полосыньки...» Ну, пока?

— Пока. Не пропадай, Костя, надолго. Звони.

...Перекинув сумку через плечо и ухватившись рукой за поручень, Наталья Владимировна ехала вниз по эскалатору, рассеянно всматриваясь в лица людей, поднимавшихся ей навстречу вверх. Когда-то она не замечала их, эти лица, вечно опаздывая, торопясь, вечно сбегая вниз по эскалатору бегом, мимо угловатых плеч и ссутулившихся спин. А теперь, когда она уже три месяца как ушла из своего музея на пенсию, никуда, слава Богу, бежать больше было не надо, и можно было, ступив на ступеньку лениво ползущей вниз лестницы, спокойно стоять, пока она сама не довезет тебя до конца, и смотреть на людей, и вспоминать, и думать о чем-то, о чем раньше все подумывать было недосуг... Старушка вон куда-то едет, божий одуванчик, что-то шепчет себе под нос, губами шевелит. И куда ты потащилась, старая? Или дома больше сидеть не вмоготу одной, и похлопотать о тебе больше некому, и лекарств некому купить, и ненужна ты стала больше никому?.. А за ней, через пару ступенек, стоит военный, кажется, полковник — ух, какой мрачный, суровый какой! С каменным лицом. Теперь они все мрачные, военные. И есть из-за чего... А за ним дядька с портфелем и в шляпе — и тоже угрюмый, тоже насупил, уставился глазами в стоящую впереди спину. И видно, что и она его раздражает, эта спина, и все его раздражает, а зло сорвать не на ком — терпи... А за ним тетка в платке, с тяжелым, уже набитым чем-то рюкзаком за плечами: плотная, квадратная, со сдвинутыми бровями, с ничего не видящим перед собой взглядом. И, надо думать, одной только мыслью в голове: где еще что дают, что еще надо не забыть, вырвать у жизни из зубов? Так ведь, небось, не из-за себя бьется — из-за семьи, из-за детей, ее же тоже надо понять... Господи, да что же это такое? Что они все на похороны едут, что ли? Неужели так сверху донизу и не улыбнется никто? Нет, так не бывает. Так не может быть! Ага, вон две подружки-хохотушки едут, лет по восемнадцати. Смотри, как заливаются, трясут кудряшками! Этим все нипочем. И прекрасно! И дай вам Бог, милые вы мои, и дальше так хохотать, сколько у вас получится. Вам — не нам, вам и дальше надо жить...

В вагоне метро в этот час тоже было просторно, без толкотни, и Наталья Владимировна легко нашла себе свободное место в самом углу его, подальше от всех. Ехать надо было почти до конца, до «Преображенской», и она по давней своей привычке приготовилась было уже и задремать — собственно, даже не задремать, а просто прикрыть глаза,

чтобы не раздражаться на это утомительное, надоевшее за жизнь мелькание человеческих лиц и тел. Но когда через две остановки громкий голос из вагонного репродуктора объявил: «Станция «Парк культуры!», она, подчиняясь какому-то неожиданному вдруг толчку внутри себя, вскочила с места и быстро вышла на перрон, еле успев увернуться от хлопнувших на нее за спиной дверей.

Эскалатор вновь поднял ее наверх. И лишь тут, у начала Крымского моста, среди шума, гама и толчеи, среди лотков с цветами и книгами, и продавцов лотерейных билетов, и груженных фруктами автофургонов, загнанных прямо на тротуар, и всей этой базарной грязи, и мусора на асфальте, и вскрытых, разбросанных везде картонных коробок и ящиков, она наконец поняла, зачем это ноги, помимо воли, вынесли ее сюда наверх.

В двух шагах от метро, сверкая на солнце золотом своих маковок, и белизною стен, и ярко-красной краской наличников на окнах, стояла церковь в Теплом переулке. Может быть, самая нарядная, самая веселая и улыбчивая по виду из всех соборов и церквей Москвы.

Когда она, крещеная, последний раз в своей жизни была в церкви? О, давно... Наверное, когда отпевали мать, а было это почти пятнадцать лет назад. И жила она все эти годы рядом с Новодевичьим монастырем, и вроде бы и собиралась не раз пойти, постоять, полюбопытствовать, вдохнуть этого запаха свечей и ладана, что так помнился с детства — тогда, когда в войну, на Пятницкой, бабушка таскала ее, маленькую, с собой по праздникам в храм, водила ее к причастию, учила молитвам, и как креститься, и как складывать пальцы трехперстием, и как нищим подавать — по копейке, но всем... Думала об этом, вспоминала, хотела пойти, да вот, подишь ты, так ни разу и не собралась...

Почему-то, подходя к церкви, она была уверена, что и здесь ее ждала другая, но тоже толчея: человеческие спины и затылки сплошной стеной, дребезжащий голосок священника, хор, рык дьякона, чад множества свечей... А оказалось, что не так, оказалось, что церковь в этот час была пуста — служба уже отошла. Не сразу привыкнув к царившей под сводами ее полутьме, к неверному, колеблющемуся свету лампадок и свечей под еле различимыми в этой полутьме лицами святых, она, лишь сделав несколько шагов вперед, поближе к алтарю, обнаружила, что, кроме той женщины в белом, подвязанном под подбородком платке, которая продавала при входе иконки и свечи, в церкви были и еще люди.

В углу, под забранным решеткой окном, стояли два открытых гроба, а вокруг них полукружьем, понутив головы и переминаясь с ноги на ногу, толпился народ — надо понимать, родня и близкие покойных. «Сейчас будет отпевание», — догадалась она. И опять не сама она, а кто-то другой, толчком изнутри или извне ее, заставил ее вернуться назад и подойти к прилавку со свечами.

— Мне... Мне четыре... Нет, пять, пожалуйста, — сказала она, вытащив из кошелька хрустящую бумажку. Кивнув, женщина за прилавком молча взяла деньги, отсчитала пяток тоненьких свечечек и, сложив их в пучок, отдала ей.

— А куда мне их поставить? Простите, я плохо знаю. Я...

— А вам как — за здравие? Или за упокой? Или прямо из святых угодников кому?

— За здравие.

— А за здравие, так лучше ставьте вон туда, где больше всех их стоит. К Пресвятой Деве с младенцем. И в другой раз когда придете, туда ставьте. А если за упокой — то вон туда, на канун. И не стесняйтесь, спрашивайте, если хотите что спросить. Я вам помогу. Не смущайтесь, не вы одна так...

В том большом, похоже, что серебряном блюде с песком, на которое ей указала эта женщина, уже горело с десяток свечей — одни только что, видимо, поставленные, другие уже оплывшие, догоревшие до половины или даже больше, но все же тоже еще не до конца. Что-то очень знакомое с детства, но давно уже забытое за жизнь, мелькнуло у нее в голове: маленькая девочка в белых носочках и сандалетах, встав на цыпочки, тянется с зажатой в кулачке свечкой туда, к множеству дрожащих, изгибающихся вниз и вбок язычков пламени, чтобы зажечь от них конец своей свечи, и кто-то рядом поддерживает ее под локоть, помогает ей, и чьи-то пальцы осторожно наклоняют в пламя и другой коней ее свечи, чтобы растопить и его, а потом вместе с ней, с Татой, пристраивают эту свечку в крохотный, заплывший воском подсвечничек в песке, и тогда ее свеча вытягивается в рост среди других таких же тоненьких, таких же стройных свечек, и теперь она будет знать, что это ее, Татин, огонек, это ее душа горит здесь, среди других таких же огоньков, и Бог теперь непременно сделает так, чтобы у нее все было хорошо...

— За здравие раба Твоего Алексея, Господи, — шептала она, поджигая одну за одной свои свечи и втыкая их в свободные подсвечники в песке. — И за здравие раба Твоего, Константина... И за здравие рабы Твоей, малолетней Ксении... И за здравие рабы Твоей... Светланы... И...

Тут она запнулась: а разве можно ставить свечку самой за себя? Но, поколебавшись, поставила в ряд и еще одну, последнюю: что ж, разве это так уж плохо — попросить милости Его и к себе? Его, кто видит все... Дал бы Он и ей спокойно дожить до конца. Может, и она еще кому-то нужна здесь, на земле...

— И вождеденное Отечество подай мне, Господи, вновь сотворяя меня жителем Ра-а-ая! — донеслось до нее из того угла церкви, где шло отпевание.

Голос священника был глуховатый, негромкий, и далеко не все его слова она могла разобрать. Но, как вскоре поняла она, не от слов даже, нет, а от самого тона, от напева его распространялось вокруг какое-то утешение и умиротворение. И тихое раздумье, тихая, светлая печаль снисходили на тех, кто слушал его, этот голос, и смерть становилась обычным, будничным делом, вовсе не страшным, а таким же, как и все, что случается с человеком, во всяком случае, не страшнее, чем сама жизнь... Все, все будет хорошо — обещал этот голос. И не надо так уж скорбеть, так уж жалеть покойных: их ждет там не мрак, а Свет, и этот Свет, это вождеденное Отечество ожидает и каждого из вас, кто пока еще остается жить, и прощание ваше с ними, отошедшими туда, вовсе не на век, а всего лишь на срок, а потом, в том Отечестве, вы будете вновь вместе. И за того, кто ушел, не нужно печалиться, нужно радоваться: ему теперь лучше, чем вам, ибо он уже прошел свой тяжкий путь и претерпел все свои страдания в этой, земной нашей юдоли, а вам еще много печалей, много чего нелегкого предстоит. Но и вас тоже в конце концов ждет этот Свет, эта надежда, и вы тоже отдохнете когда-нибудь в мире и тишине, как бы ни было вам тяжело и трудно здесь, на земле. А об ушедших помните и почитайте память их, и вас тоже будут помнить и почитать те, кто придет вам вослед. И так будет до тех пор, пока не соберет всех вас, детей Своих, милосердный Господь под Свои крыла, и воздаст каждому по терпению и заслугам его, и остановит волею Своею течение всех времен, и воцарятся тогда в мире лишь Покой и Свет...

Но, уходя, она вдруг поймала себя на том, что и тогда, когда она ставила свечи, и когда слушала отпевание, и когда стояла потом опять перед иконой Божьей Матери с младенцем, думая о Ней, но не решаясь так вот, сразу, изменить все, что было в ее жизни, и броситься, как хотелось, перед ней на колени, и прильнуть к Ней, и воззвать к заступничеству и милосердию Ее, она так ни разу и не перекрестила лба. И тогда, почти уже в притворе, у самого порога его, она вдруг

обернулась, нашла глазами в полутьме Пречистую и перекрестилась размашистым, явным, как учили ее когда-то в детстве, крестом. И поклонилась Ей низко, в пояс, почти коснувшись рукой земли.

...А Константин Алексеевич Мамонов, засунув руки в карманы и снисходительно поглядывая вокруг себя с высоты своего впечатляющего роста, шествовал в это время по Старому Арбату, наслаждаясь теплом, и июньским солнцем, и кипевшей у него под ногами шумной, красочной и бестолковой жизнью. Голова его наконец прошла — кажется, где-то там еще, на Плющихе, а может, еще и раньше, в парке на Большой Пироговской, в общем, он даже и сам не заметил, где.

Огибая встречных, уже заполнивших к этому часу густой толпой весь закрытый для машин Арбат, продираясь сквозь людские локти и спины, втискиваясь в возникавшие то тут, то там группки о чем-то спорящих людей, останавливаясь у витрин, у многочисленных лотков с разной дребеденью, и возле уличных музыкантов, и возле развешанных по стенам домов или лежавших прямо на мостовой плакатов, карикатур, и больших фотографий, и пугающе ярких, свирепо бьющих по ноздрям картин — о, китч, одно слово, китч! — Костя чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ему было хорошо, весело смотреть на это всеобщее, почти праздничное оживление, на эти любопытствующие, удивляющиеся, недоверчивые, сомневающиеся лица, а где и продувные, готовые замотать, заморочить тебя, если уж ты такой лопух, и чувствовать рядом с собой волнение, азарт многих сотен людей, и быть одним из них, и знать, что это и есть жизнь.

И что, может быть, самое важное — он не боялся ее, этой жизни. Нет, не было у него страха перед ней! И если не он хозяин ее — то кто же? Те, что прячутся где-то там наверху, по кабинетам, плетут свою паутину, пыжата, пытаются все удержать в своих руках? Чтобы и дальше вымогать, и дальше распределять, и дальше помыкать людьми? Ну, уж нет! Шалишь! Дудки. Посторонитесь, господа — ваше время истекло. Двери настезь! Константин Мамонов идет, собственной персоной. И шапки долой! А то, не дай Бог, еще осерчает — откажется вас кормить.

«И чего они все недовольны, старики? — думал он, вспоминая свое утреннее сидение на кухне с матерью и отцом. — Чего они все стонут? Чего тут переживать? Идет нормально ненормальный процесс нормализации, и больше ничего... Ну, безобразно все, ну, раздражает, ну, полезло всякое дерь-

мо из всех щелей — так раньше что, разве лучше было? И чего ж вы хотите, граждане, когда грибы выламываются из-под асфальта? Тужатся проломить его, напрягаются изо всех сил?»

— Ух ты! И почему же нынче у нас Майссен? А? Красота! — остановился он вдруг у лотка, за которым мордатый, лет двадцати парень в ковбойке продавал всякую всячину: керамику, иконки, морские раковины, раскрашенные бусы, шкатулки из папье-маше...

— Это не Майссен. Это — Гжель.

— Ну, уж если это не Майссен, то уж никак и не Гжель! В Одессе, парень, на Малой Арнаутской делали твою Гжель.

— А вот и не в Одессе! И не на Малой Арнаутской, — усмехнулся продавец. — Уж если ты такой умный, то в Малаховке делали, в сарае за рынком. Знаешь, там тупичок такой есть? Не приходилось бывать?

— Не приходилось. А жаль... Нет, правда, почему эта твоя Венера, а? Во, какая мясистая она у тебя получилась... Загля-день! Я бы ее в шкаф в кабинете у себя поставил. Рэкетиров развлекать...

— А платить чем будешь? Деревянными? Или зелененькими?

— А что, деревянные у вас тут еще в ходу? Дураков с зелененькими на всех не хватает, а?

— Слушай, мужик, отстань! Чего прицепился? Покупаешь — так покупай. И цена хорошая, и товар, сам видишь, хороший... А зубы скалить нечего. Не хочешь — уходи.

— Ладно, уговорил, речистый! Не буду покупать. В другой раз... Встретимся у Сотби, на аукционе, командир! Там я твою Венеру и куплю... Пока. Бывай!

Но не успел он сделать и двух шагов, как в локоть его вцепилась цыганка.

— Погадаю, красавец! всю жизнь тебе расскажу... Не пожалеешь! Ты меня послушай, тебе никто правды не скажет. Одна я скажу...

Ну, племя! Ну, никаким купоросом ты его не изведешь. И где их только нет... Резким движением локтя он стряхнул ее руку со своей, но она не отступала, продолжая загораживать дорогу и цепляясь за полы его куртки, и все приплясывала, трясла юбками, пританцовывала перед ним, пытаясь заглянуть ему в глаза. Двое ее чумазных ребятишек вертелись тут же под ногами, в опасной близости от карманов его брюк.

— Отвяжись, ведьма! Кому сказано? Не до тебя. Я сам про себя знаю все...

— А не хочешь, чтоб погадала, ну, пудру у меня купи! Французскую. А хочешь колечко с бриллиантом? Крале своей. Хочешь, скажу, как ее зовут?

— Отвяжись, говорю! Других дураков ищи. Она их сколько тут... И пацанят своих придерживай! Я косолапый, а они у тебя босые. Неровен час — могу и ноги отдавить...

Нет, так ему и до обеда не добраться до своего Мерзляковского! Не то, так это. Надо бы поторопиться... Разрезая грудь, как форштевнем, толпу, он ускорил шаг и почти уже дошел до «Праги», как какое-то новое яркое пятно, вспыхнувшее внезапно перед глазами, опять остановило его. О, пионы! Да какие свежие! Один к одному. Вот это для нас! Вот это мы покупаем. Пяток себе в кабинет, пяток секретарше на стол... Нет, правда — роскошные пионы! Наверное, только сегодня утром и срезаны. Неделю, надо думать, не меньше простоят... А у китайцев, говорят, когда они распускаются — национальный праздник. Весь Китай гуляет! Что-то вроде Троицы у нас...

— А что, голубушка, пионы у тебя для всех? Или только по благу, для избранных? — наклонился он к молоденькой, курносой продавщице в платочке, рассеянно перебиравшей за прилавком свой товар.

— Если за деньги, то для всех. А если даром, то уж, конечно, не для тебя...

— А что, не гожусь? Урод, да? Или стар уже для тебя?

— Больно длинный! Мне бы поменьше кого.

— А вот мы вечером разберемся, гожусь или не гожусь. До вечера дождешься меня? Учти, как шесть часов, так я, как штык, здесь. Только ты уж дождись, не обманывай. А то еще уйдешь с кем-нибудь. А я, пожалуйста, вот он — разлетелся... Ну, как? Идет?

— Посмотрим, поглядим! До вечера еще дожить надо... А какие будешь брать? Красные или белые?

— И те, и те... Значит, так: мне на стол пять штук вот этих, красных. Весь день буду на них смотреть, тебя вспоминать. А секретарше моей, в предбанник — пять белых. Цвета непорочного зачатия. Чтобы не подумала чего лишнего... Эх, красота! Никаких денег не жалко. Дай Бог тебе жениха хорошего, радость ты моя! Если уж я тебе не подойду... А вдруг да подойду, а? Так договорились — ждешь?

И еще одно искушение остановиться пришлось преодолеть ему прежде, чем он вырвался из этой толпы. У подземного перехода с одной стороны Нового Арбата на другую, у верхних ступенек его, играл оркестрик: аккордеон, гитара и

большой, ослепительно блестящий на солнце саксофон. Двое из музыкантов были молодые, волосатые парни, вряд ли профессионалы, но на саксофоне играл, несомненно, профессионал: лысый, с толстыми губами, с набрякшим синевой — от пьянства ли или просто от напряжения — лицом. Хорошо играли, черти! Не ушел бы, постоял, если бы не дела... А ниже ребят на ступеньках перехода сидел, закрыв глаза, какой-то одноногий инвалид, а еще ниже тетка в лохмотьях с ребенком на коленях, а дальше, уже там в полутьме перехода, поодаль от них от всех — две старухи, одна с костылем, другая с клюкой, и они тоже тянули руки к прохожим за подайным, и мимо них совсем уже неловко было пройти, не положив в их трясущиеся, ссохшиеся от старости ладошки ничего. «А! Тоже, небось, промысел. Что соберут, тут же и пропьют. Или пахану отдадут», — подумал он было с раздражением. Но сейчас же урезонил себя: пахан там, не пахан, а уж двум старухам-то этим, ясно, не на стакан надо. Им бы хоть до завтра как-нибудь дожить.

«И все-таки, граждане, я прав. Незачем драматизировать. Все идет так, как оно, наверное, только и может идти», — думал он, пересекая наискось маленький скверик, где, понурившись, сидел отвергнутый когда-то большевиками за печаль и горькую свою меланхолию старый Гоголь. А в двух шагах от этого скверика стоял недавно подновленный особнячок, где и помещалась его фирма, а вернее, поднимай теперь выше — не просто фирма, а уже концерт, холдинг, президентом которого он, Мамонов-младший, и был. Особнячок со скромной, но, просьба отметить, прописанной тусклым золотом на двух языках, русском и английском, металлической табличкой у дверей: «Проминвест».

ГЛАВА III

«Летучка» уже началась, когда Мамонов-старший, опоздав минут на десять, протиснулся сквозь тяжелые, обитые кожей двери в кабинет главного и, найдя свободное место, пристроился с краешка длинного стола, за которым обычно происходили все редакционные совещания.

Кто-то из сидевших за столом кивнул ему, а кто-то даже и улыбнулся, поймав его взгляд, но большинство, казалось, даже и не заметили его появление. Манеры в редакции и раньше, и тем более теперь были свободными: каждый распорядился своим временем в общем-то, как хотел, а уж для

таких представителей редакционной элиты, как он, ведущий обозреватель, и вовсе не существовало никаких стеснений и ограничений. Пришел — спасибо, не пришел — тоже твое право, никому и в голову не взбредет спросить, почему и отчего, и где ты там был.

Обсуждались, как всегда, текущие дела: что поставить на полосу, что нет, кому ответить, а на чьи упреки и попреки промолчать, кого поддержать, кого обругать, да так, чтобы лихо было, чтоб дошло, и что еще бы такое придумать, как бы так извернуться, чтобы денег достать — ох, беда, беда... Бумажники совсем озверели, дерут за бумагу, сколько хотят, и распространители свирепствуют, тоже несусветные цены ломают за доставку, и типография забастовкой грозит...

Пожилой, брюзгливый, с нездоровым лицом главный, переживший на своем веку всякое и умудрившийся усидеть в своем кресле даже и теперь, в новые времена, терпеливо слушал сбивчивые речи выступающих, изредка задавая уточняющие вопросы и делая какие-то пометки у себя в блокноте. Однако мысли его, похоже, что были далеко, и не эта рутина занимала его сейчас. И все присутствующие понимали, что это так, и все горячились и спорили больше для вида, по привычке, а на самом деле и он, и они — все думали о другом. В редакции давно назревал «бунт на корабле» против главного, а теперь этот бунт уже окончательно созрел и вот-вот должен был выплеснуться на поверхность, и тогда ему, вне всякого сомнения, придется уйти, освободив место для кого-нибудь другого, из тех, кто помоложе и мыслит больше в духе времени, более широко, чем он. А с ним вместе, конечно, должны будут уйти и еще люди, и это затронет каждого, потому что кому-то уходить, а кому-то оставаться, и для кого-то это будут новые возможности, и кто-то непременно пойдет в гору, вверх...

«Алексей! Ну, и как тебе нравится этот фраер, а? Под ним земля горит, а он все делает вид, что ему хоть бы хны, — очнувшись, прочел начавший уже было подремывать после почти бессонной ночи Мамонов в записочке, которую ему переслал вдруг неожиданно кто-то с другой стороны стола. — Он что, и вправду, не понимает, чем дело пахнет? Или делает вид, что не понимает? Чудно! Полная смена курса газеты, переход в открытую оппозицию властям, а он все про рекламу да про корреспондентскую сеть. А его, бегемота пузатого, что ждет? Богадельня, дом престарелых — что ж еще? Начальство уже везде укомплектовано, уже везде люди сидят, а писать он отродясь не мог: мы-то с тобой

знаем, какой он писатель! Кстати, ты чего сегодня такой смурной? Хорошо взяли вчера, да? Завидую, старина! Кабы не дела, сам бы хоть сейчас завалился бы куда-нибудь с самого утра, набрался бы, как свинья, и гори ты все синим огнем...»

Мамонов поднял голову. Наискось через стол, подмигивая, на него смотрели заговорщические глаза темноволосого, сильно носатого мужчины примерно одних с ним лет, сидевшего вольно, вальяжно, пиджак на стуле, с закатанными до локтей рукавами и спущенным вниз галстуком: Артем Айрапетян, старый друг и сослуживец, редактор по отделу культуры, большой бонвиван и прекрасный человек. С этого-то все как с гуся вода! Хрен чем его проймешь! Ему всегда, при любых властях и при любых курсах, будет хорошо. И если бы только не этот чертов Карабах, при одном лишь упоминании о котором скулы его, Артема, каменеют и он начинает весь дергаться и материться самыми последними словами, можно было бы подумать, что он, наверное, единственный сегодня человек в Москве, для кого все происходящее вокруг, вся эта чертовщина — всего лишь еще один повод поерничать да позубоскалить и уж в любом случае никакая не причина, чтобы отчаиваться, и падать духом, и хоронить себя и других.

«Насчет взяли — было, грешен. Признаюсь, — оторвав от блокнота листок, написал он ему в ответ. — А насчет главного, ты за него, Артем, не волнуйся. Он-то не пропадет! У него везде свои люди. А вот что будем делать мы-то с тобой? Мы?»

«Как — что? — тут же прислал через стол ответную записочку Артем. — Перейдем в новую веру и будем дальше жить. Тем более, старик, что для этого и ломать себя много не надо. Ты же всегда был одним из ее апостолов, еще когда вся эта заваруха только начиналась. Ну, а я? А я за тобой! И все дела. Не бойсь, старина! Что они без нас с тобой могут? Нет, мы тоже не пропадем!»

«Может, и не пропадем, Артем. По крайней мере, надеюсь, ты не пропадешь, — опять оторвал из блокнота листок Мамонов. — А со мной, боюсь, дело будет посложнее. Спрашиваешь, почему? А потому! Не хочу я подписывать этот проклятый манифест. Понимаешь? Не хочу! А если я не подпишу — что тогда? Я, один из учредителей газеты, ведущий ее обозреватель, демонстративно отказываюсь поддержать перемену ее курса — это что, по-твоему, значит? И дураку ясно, что это значит. Это значит, что будьте любезны, Алек-

сей Иванович Мамонов, — с вещичками на выход. Не поминайте лихом! Настал и ваш черед. А куда мне уходить, Артем? Куда? Если с вами, со своими, полный разрыв, то, значит, куда мне, по-твоему? В «Правительственный курьер»? Не могу, не мое. Туда, к другим — к большевикам, к «патриотам»? И туда я не могу, и им я чужой. И я их ненавижу, и они меня».

Ответа опять не потребовалось долго ждать. «То есть как это так, ты не подпишешь? — писал Артем. — Ты что, Алексей, сдурел? Нет, дорогой мой, что-то ты не нравишься мне сегодня. Может, это все с похмелья? Ну, тогда не беда, тогда, конечно, есть средство. Ты после «лётучки» сделай милость, не исчезай. Айда ко мне, запремся на ключ — у меня там в сейфе, слава Богу, пока еще есть. Це дило треба разжуваты — так, кажется, хохлы говорят?»

А почему, собственно, возник весь этот сыр-бор? О каком манифесте шла речь? И что в нем, в этом манифесте, было такого, что раскололо всю редакцию на два лагеря, причем так, что в случае его публикации одним надо было уходить, а другим, напротив, начинать иную, новую жизнь?

Ситуация, как теперь принято выражаться, была действительно непростой.

Года два назад их газета прекратила подчиняться кому бы то ни было и стала акционерным обществом, а во главе ее встал — конечно, как все поначалу думали, больше для формы — Совет учредителей. В него же вошли наиболее известные в то время люди, чьи имена давно уже примелькались всем — на митингах, на газетных страницах, на экране телевизора, в «Большом парламенте», одним словом, везде. Мамонов-старший и был одним из таких: известный либерал, газетчик с именем, публицист, чьи статьи, особенно в начале всей этой катавасии, читались нарасхват и казались тогда откровением, невысказанным по своей смелости и прямоте. К тому же народный депутат, член парламентской комиссии по печати и гласности, непререкаемый участник всяких там громких разбирательств и дискуссий, да к тому же еще и постоянный объект для нападков со стороны правой, «антиперестроечной» прессы, которую он почему-то особенно раздражал — раздражал, надо думать, прежде всего своими насмешками над квасным, доморощенным нашим «патриотизмом» и еще своими утверждениями, что человек выше нации, выше государства, а не наоборот. А это казалось тогда особой наглостью! Да, похоже, что осталось наглостью и по сей день.

И этот-то Совет учредителей неделю назад, вопреки сопротивлению шеф-редактора газеты и сомнениям некоторых его членов, включая Алексея Мамонова, на очередном заседании постановил: баста! Все, все идет прахом, все покапилось куда-то не туда. Власть встала на гибельный для демократии путь, и надо этот процесс, пока еще не поздно, во что бы то ни стало остановить, не дать ему превратиться в новый, только еще худшего вида тоталитаризм. А для этого, в качестве первого шага, предполагалось опубликовать в газете своего рода манифест, подписанный всеми ее учредителями, в котором должно быть ясно и недвусмысленно прописано несколько основных, имеющих сегодня принципиальное значение положений.

Конечно, тут же, к концу того заседания — не сходя, как говорится, с места — участникам его был роздан уже набросанный кем-то на скорую руку текст. И они даже успели тогда немного пройтись по нему, обсудить общие, так сказать, его рамки.

Суть же этого документа сводилась примерно к следующему: во-первых, новая власть на глазах перерождается в мало чем отличную от прежней диктатуру; во-вторых, новая бюрократия погрязла в невиданной даже прежде коррупции и успела уже потерять всякое доверие общества к себе; в-третьих, экономическая политика нынешнего правительства откровенно безжалостна и рассчитана лишь на долготерпение народа, а оно уже на пределе и вот-вот в стране может произойти взрыв; в-четвертых, вновь возрождаются имперские поползновения, а они чреватые кровью, большой кровью, ибо империя мертва и, надо это понимать, мертва навсегда. В связи со всем изложенным истинная демократия, исчерпав все иные возможности, переходит в открытую оппозицию к новым властям и заявляет, что после опубликования настоящего манифеста следующей своей задачей видит создание мощной оппозиционной партии, готовой взять на себя всю полноту ответственности за дальнейшее руководство страной. Разумеется, все это, как и полагается у нас, было написано длинно, мутно и муторно — на том ужасающем, нечеловеческом языке, на котором мы все говорим и пишем уже не меньше, как три поколения подряд. Но что делать! К этому-то все уже привыкли. И дело было, конечно, в сути документа, не в словах. А суть была достаточно ясна всем.

И вот этот-то манифест, когда будет готов его окончательный вариант, ему, Алексею Мамонову, и предстояло подписать. Либо... Либо не подписать! И ни заболеть, ни за-

пить, ни удрать в командировку, ни по-другому как-то потеться где-нибудь по дороге, чтобы не нашли, было нельзя: все равно так или иначе придется ответить, да или нет. Хоть на другом конце земли, хоть по телефону, но найдут.

Да, в конце концов, разве дело только в подписи? Или, вернее, только в ней? Ну, допустим, не подпишет. Ну, допустим, простят ему это, и никто из газеты гнать его не будет, и можно будет и дальше писать, и дальше зарабатывать себе привычным способом на хлеб — что из того? Не выгонят — так сам уйдешь. Не будешь же себя ломать, призывать и дальше к развалу, к анархии, когда уж и так глаза бы не глядели ни на что...

А уйти... Куда уйти? В этом-то все и дело: куда уйдешь? Пойти в какое-нибудь близкое к правительству издание, поскрестись, постучаться в дверь: возьмите, дескать, дорогие, я теперь ручной, смиренный, я теперь целиком ваш? Со стыда сгоришь на старости лет. К большевикам, к «патриотам» переметнуться? Исключено. Уйти на вольные хлеба, книжки сесть писать, благо этого-то никто у него отнять не может? Ноги с голоду протянешь. Накоплений никаких за жизнь не накопил, да если бы даже и накопил — о каких накоплениях можно сейчас говорить? Не сегодня, так завтра, не через месяц, так через полгода инфляция все съест. А любую стоящую книжку надо писать не меньше, чем год, да пропихивать ее потом нужно тоже минимум год, да ждать, пока она выйдет, пока деньги получишь — тоже, считай, год. И то в самом что ни на есть идеальном случае... А в это-то время жить на что будешь? Да добро бы еще один! А ты не один.

И в политику... И в политику тоже не кинешься, тоже не уйдешь. И в политике, Алексей Иванович, никто тебя не ждет. «Большой парламент» разогнали, а для этих новых ребят из российских структур ты был чужой и будешь чужой. Во всяком случае, достаточно наунижаешься, достаточно наползаешься на брюхе, прежде чем они тебе начнут доверять... Да кроме того, стар ты стал, чтобы ногами всякие кренделя выписывать! Стар уже, чтобы заново что-то начинать. Везде теперь молодых полно...

«Летучка» наконец кончилась. Загрели отодвигаемые стулья, заговорили, радуясь окончанию долгого сидения, голоса, в дверях образовалась пробка, и кое-кто даже, еще не выходя из кабинета главного, уже и закурил. Мамонов, ожидая, пока эта толчея в дверях рассосется, тоже было полез в карман за сигаретами. Но вытащить не успел — главный поманил его:

— Алексей Иванович! Ты бы через часок зашел ко мне, а? Мне надо с тобой тут кое-что обсудить...

— Какой разговор, Анатолий Андреевич! Конечно, зайду. Только пусть твоя Марина даст тогда знать, когда ты освободишься... Я буду или у себя, или вот у Артема Айрапетяна. Она найдет... Добро?

— Добро. Жду...

Быть новой газете, не быть новой газете — это, как говорится, был еще вопрос, это еще неизвестно, как оно все повернется. Да и решаться он, этот вопрос, как всегда, будет где-то там наверху, за закрытыми дверями, куда имели и имеют доступ только лишь избранные... А здесь, прямо за порогом кабинета главного, в длинных замызганных редакционных коридорах жизнь шла своим чередом, как шла она и год, и два, и десять, и больше лет назад. И какой она будет, наверно, всегда, пока стоит мир, или, вернее, пока он, мир, не отвыкнет от своей привычки разворачивать газету по утрам.

Нещадно трещали из множества распахнутых дверей пишущие машинки, и стучал телетайп, и кто-то кричал на весь коридор в телефонную трубку, пытаясь втолковать кому-то другому, на другом конце света, что же он от него, от непонятливого, хотел. А по лестницам и этажам сновали люди с большими, как простыни, свежеотпечатанными оттисками в руках, и старушка-курьер несла, прижимая к груди, целую охапку писем, а в других комнатах кипятили чай, и молоденькие девицы, блестя коленками, сидели прямо на столах, и болтали, и дымили из всех сил, и к ним заглядывали и что-то спрашивали их другие длинноногие девицы и лохматые молодые люди, а по коридору, затравленно озираясь по сторонам и вглядываясь в таблички на дверях, пробирался какой-то тип с толстым портфелем подмышкой, судя по всему, очередной полоумный правдоискатель или же жалобщик — непременно редакционная чума и всеобщая зубная боль. И громко хлопали двери лифта, и пахло кругом пылью, и крепкими духами, и свежей типографской краской, и тушеной капустой из подвала, где находился редакционный буфет, и, конечно же, всюду — на лестничных площадках, в коридорах, в кабинетах, в туалете — стоял дым, стойкий, на века, наверно, ввевшийся табачный дым, несмотря на все эти умоляющие таблички, с некоторых пор развешенные повсюду: «просьба не курить».

И вот этот-то шорох газетных полос, эти голоса по этажам, запахи, мелькание множества знакомых и незнакомых лиц — это и была его, Алексея Мамонова, жизнь вот уже

тридцать с лишним лет. И с этой жизнью ему, старому, насквозь прокуренному и пропитанному этими запахами газетному волку, расставаться, понятно, не хотелось никак. Ибо в газете, как в театре: кто хоть однажды глотнул запаха кулис, так и останется навсегда отравленным им до конца — до самой до гробовой доски.

— Ну, так как, душа моя? По глотку? Для просветления мозгов? — обернулся к нему Артем, заперев на ключ дверь своего кабинета и открывая другим ключом из той же связки сейф.

— А что у тебя? Православная? Или коньяк?

— Коньяк! Причем, должен подчеркнуть, хороший коньяк.

— С утра, Артем? Нехорошо вроде бы. Да и к шефу через час идти...

— Брось, Алеша! Думаешь, ты его этим удивишь? Сам, небось, как дверь за нами закрылась — сразу к шкафчику. У него там в книжном шкафу, аккуратно за Марксом, я знаю, углубленьице такое есть... И правильно! От такой жизни не хочешь — запьешь... Да ты не сомневайся, мы понемногу, для таких двух мужиков есть о чем говорить! Что тут осталось? Подумаешь — полбутылки... А коньяк погляди какой, а? Черта с два теперь где такой найдешь... Было, Алеша! Был фрак, была карета с гербами. Все было! А теперь все за валюту гонят, а нам с тобой — шиш. Спасибо, хоть мои в Ереване меня не забывают, подбрасывают иногда... А так прямо хоть ночью куда на улицу иди, с кистенем. Да и с кистенем — что теперь добудешь с кистенем? Деревянные? А зачем? Все равно на деревянные такой коньяк теперь не купишь... Валюты у нас с тобой нет, Алеша! Вот в чем все дело... Или это только у меня нет? А? А у тебя есть?

— Откуда, Артем?

— Вот и я говорю — откуда? А потому давай, подставляй стакан, старина... Ну, благослови тебя Господь! Поехали, Алеша! Чтоб они все сдохли...

— Они? Кто они, Артем?

— Кто? А все чтоб сдохли! Все! Из-за кого жизнь такая стала, кто мне жить не дает, тебе жить не дает... Из-за кого люди стали бедными, из-за кого песен не поют, детей не рожают, из-за кого старухи плачут. Из-за кого вся Армения в слезах... О, Алеша, я теперь злой стал! Ух, какой злой! Иногда думаю: может, и мне схватить автомат и от бедра так, знаешь, веером — по всем... Всех бы перестрелял!

— Перестрелять-то, может, и перестреляешь... Да опять не тех, Артем...

— Как — не тех?! Я знаю, кого надо стрелять... Знаю, Алексей!

— Кого?

— Кого? А прежде всего — всю сволочь эту! Всех воров! Новых воров... Между прочим, тебе главный наш не говорил еще — он на днях письмо получил? Потрясающее письмо! Из Германии, из Бонна. Нет, не говорил?

— Нет, вроде бы не говорил... Не помню... Нет, не говорил, Артем.

— Ну, значит, сам испугался, спрятал его куда подальше. А мне сгоряча было показал, поделился новостью... Знаешь, что за письмо? Своими глазами видел! Хозяин отеля написал, где команда нашего президента в последний этот его визит размещалась. И знаешь что он, этот хозяин, пишет? Жалуется! Пишет, что после них отель пришлось ставить на капитальный ремонт. А почему? А потому что, подлецы, все краны, всю сантехнику в номерах повывломали, все ручки дверные отвертели, все лампы настольные, все коврики у кроватей с собой уперли... Все! Подчистую! Ничего не оставили, гады. Полный погром... А? Каково?

— Н-да, признаться...

— А чего признаваться-то? Чего признаваться, Алексей? Вот их бы я в первую очередь и перестрелял. Всех до одного... Старые-то воры — барышни были институтские в сравнении с этими, с новыми. Сытые были! И Бога боялись, начальства боялись, стеснялись, когда брали. И по чину брали, не хапали все подряд! А новые что? Злые, голодные... Убийцы! Рвань! Босяки! Маму родную не пожалеют, если что... А сколько теперь стоит к кому-нибудь из них, из высших, на прием попасть? Ты это знаешь? Причем в открытую стоит... Глаза на лоб лезут! И не в совзнаках стоит — в валюте... А ты еще вон, заступаешься за них...

— Я, Артем, не заступаюсь. Я мучаюсь.

— Ну, и мучайся себе и дальше на здоровье! А манифест подпиши. Надо подписать, Алексей... Кому-кому, а тебе уж сам Бог велел. Иначе не поймет тебя никто...

— Не поймут? Ты думаешь, не поймут?

— Не поймут. Не обольщайся. Никто не поймет...

— Может быть. Может быть, ты и прав, Артем... Да, скорее всего, не поймут... А знаешь, что я сейчас думаю? Я думаю: как же странно все смешалось! Справа, слева... Вот и большевики то же самое говорят, что и ты, Артем...

— А мне плевать, что большевики говорят! И плевать, что они большевики... Я сам вижу, не слепой. Погубили империю, проходимцы! И Россию погубят вслед за ней. А Армении туркам на съедение отдадут... Нет, пока это ворье насытится, мы с тобой сдохнем, Алексей! Надо немедленно их гнать. Немедленно! В шею. Понимаешь? В шею! Кулаком!

Да... Плохи, знать, наши дела! Совсем, видать, плохи. Если уж и его, Артема, достало — значит, дальше некуда... А ведь был не просто жизнеспособный — непобедимый был человек! Всегда полной грудью жил. Ни на власть никогда не жаловался, ни на деньги, ни на людей — жил, как хотел. Веселый, толстый, чуть-чуть всегда поддатый, всюду бегом, всем улыбается, обнимается, руки всем трясет... Всех девок, говорят, в редакции перетрахал, ни одну не пропустил! И, конечно, пол-Москвы, пол-России в приятелях. Вечно у него в кабинете народ: актеры, режиссеры, художники, какие-то поп-певцы, какие-то лохматые, звероподобные личности, не поймешь, может, гений какой, а может, и просто уголовник — и где он их всех только находил? А как за столом, в ресторане, умел сидеть, дьявол! А? А тут вон и руки стали дрожать. И голос дрожит. И пиджак потертый, и галстук засаленный, и щетина на щеках... И седина вон, смотри, побежала по вискам. А раньше ни единого седого волоса не было, еще говорили — не иначе как красится, старый ловелас...

— Подписать, Артем, можно... Отчего же не подписать? Компания хорошая, люди все достойные, именитые... А только зачем это все затевается, скажи? Цель-то какая, Артем? Прогнать, спихнуть этих? А за ними кто? Мы уже спихнули одних. И что получилось? Сам же говоришь, что новая сволочь еще хуже старой. А где у тебя гарантии, что если этих спихнем, следующие будут лучше, чем они? А я априори могу тебе сказать: не лучше будут, а хуже. Непременно хуже! Таков, наверное, мировой закон. Или, по крайней мере, наш, российский закон... Еще злее будут, еще жаднее. И еще глупее! Где лучших-то найти, Артем? Где? Ты видишь вокруг себя хоть одного лучшего? И это здесь, в Москве, Артем! А по всей России? Это пока они шумят, они все хороши. А когда до своего дорвутся — какие будут? Да такие же и будут, как и эти! И что же тогда делать — и их тоже гнать взашей?

— Хуже этих быть не может, — упрямо затряс головой Артем. — Не может, Алексей! Любые другие будут лучше, чем они...

— Не будут, Артем! Уверяю тебя, не будут... Эти, нынешние-то, хоть делать что-то начали. Вернее, пытаются де-

вать... А воруют — ну, что ж? Печально, конечно, что воруют. Да разве по-иному когда бывало на Руси? Без издержек ничего невозможно в жизни, Артем. Мы-то уже старые с тобой, мы-то должны это понимать... Весь вопрос только в масштабах издержек, в кпд системы: либо он, этот кпд, как у паровоза Стефенсона, то есть три процента, либо как у электровоза — сколько там у него? Сорок, кажется, а то и больше...

— Никуда твой паровоз не едет, Алексей! И не поедет! Почему? А потому что и дров нет, и машинист пьяный в канаве лежит, и рельсы разобраны... Все! Баста! Приехали. Стоп машина! Спасайся люди добрые, кто может... А, да ладно! Черт с тобой. Не хочешь подписывать — твое дело. Похоже, тебя уже не переубедишь... Дома-то как, все в порядке?

— Да вроде бы да... По крайней мере, пока.

— А Светлана с дочкой как?

— Да тоже вроде ничего... Сейчас она не работает, с Ксюшкой сидит. В сад не хочет отдавать. Болеет девчонка часто... А там ведь тоже, знаешь, как везде. Везде развал...

— Тост, старина! Тост... Тут еще осталось на доньшке... Давай, знаешь, за что выпьем? Давай, выпьем за наших маленьких! Чтобы им-то хоть полегче жилось... Не может же это все продолжаться без конца. Не может! Помяни мое слово. Это я, Артем Айрапетян, тебе говорю...

Когда Мамонов-старший без стука вошел в кабинет главного, тот, подперев кулаком щеку, сидел у себя за столом один и смотрел в окно. Так, в профиль, главный казался еще более обрюзгшим и одряхлевшим, чем обычно: ворот его рубашки полностью скрывался под вторым подбородком, шедшим откуда-то из-за уха и тяжелым, мучнистого цвета мешком обвисавшим на шею его и грудь, и толстый крестьянский нос его картошкой так тоже был более заметен, и оттопыренная нижняя губа, и набрякшие веки, и большая черная бородавка на щеке...

— Присаживайся, Алексей. Как говорится, милости просим, — вздохнув, повернулся он к нему. — Водки выпьешь?

— Начало, скажу тебе, настораживает, Анатолий Андречич! Раньше, бывало, ты так сходу не предлагал...

— Раньше, ты прав, не предлагал. А теперь вот предлагаю... Ну, так как — налить?

— Я уже, признаться, взял свое у Артема Айрапетяна. Если у тебя еще добавлю — так я, чего доброго, и до вечера не дотяну... А мне еще писать надо...

— Ну, как знаешь... Вольному воля! У нас теперь, Алеша, свобода. Свобода сновидений, как некоторые говорят. И, между прочим, правильно говорят... Но кофейку-то, надеюсь, выпьешь? Уважь! Марина сейчас сварганит. Может, и сидим-то мы так с тобой в последний раз...

— А что, пора, считаешь, закругляться?

— Пора, Алеша. Пора! Боюсь, что обоим нам с тобой пора... На вот, посмотри. Тот самый манифест. Готов и подписан всеми, кроме нас с тобой. Ставлю его в следующий номер. Подчиняясь решению Совета учредителей... Но без своей подписи! И, если я что понимаю, то и без твоей... Или ты передумал — подпишешь? Ты, если что, подписывай, не стесняйся. Я тебе не указ. Нынче каждый за себя, Алексей Иванович! А уж тем более такие киты, как ты. Может, ты вчера еще близорукий был, а сегодня дальнозоркий стал. Прозрел! А я, старый пень, каким был, таким уж, извини, и останусь. Устал я, понимаешь, задрал штаны, бежать за комсомолом. Тошнит меня от этого. Тошнит! Эх-ма... Пора, пора, видно, на покой...

— Что, на пенсию уйдешь?

— Может, и уйду... Не хотелось бы, конечно! Привык, понимаешь, работать. Боюсь, уйду — и через неделю — другую с копыт долой. От безделья. И никто. Алеша, даже в «Вечерней Москве» теперь уж не помянет, не скажет: дескать, был такой труженик, мир праху его. Прощание с покойным состоится там-то и там-то, от сих до сих... А может, и не пойду на пенсию. Может, кто-нибудь и подберет. Признаться, кое-какие предложения вообще-то есть... Да все какое-то обидное, мелочь, ерунда какая-то! Неловко вроде бы и соглашаться-то на старости лет... Ну, так как — подпишешь?

— Нет, Анатолий Андреич. Не подпишу.

— Твердо решил?

— Твердо. Не подпишу.

— Ну, смотри! Дело твое... А впрочем, чего тебе-то сомневаться? Ты лет на семь — на восемь моложе меня, у тебя еще есть что впереди. А с твоим-то именем? С твоим пером?... Одобряю, Алеша! Одобряю. Так их всех, наглецов! Так им и надо: есть еще, оказывается, паршивцы, независимые от вас люди! Еще не всех вы подмяли под себя... А куда пойдешь? Тебе ведь тоже оставаться теперь нельзя...

— Не знаю. Мучаюсь, Анатолий Андреич. Это только кажется так — куда хочешь, туда и иди. А на самом деле некуда идти. Нигде и меня не ждут.

— Ну, это ты брось! Тебя-то все знают. Хочешь, я шепну тут кое-кому? У меня, догадываешься, наверное, среди новых тоже свои люди есть. И на самом верху есть. Мы же их с тобой чуть не с самого начала стали поддерживать! А теперь... Ведь получается что? Получается, из-за кого и ты, и я страдаем? Из-за них же! Из-за кого же еще? Должны же понимать... А это, Алеша, мы с тобой знаем! Жизнь, считай, прожили. Первая заповедь по любому Евангелию: своими не бросайся, если надо — помоги. Какими бы они, эти новые, лихими да зелеными ни были, а они тоже это понимают. Сегодня ты, а завтра я! Так недолго и самому пропасть...

— Эх, если бы я знал, Анатолий Андреич, кому я свой, кому чужой... Всем, наверное, свой. И всем, наверное, чужой...

— Не надо, значит, никому звонить? Ну, как знаешь... Я тебя всегда, Алексей, ценил, очень ценил... А выпить ты со мной, значит, все-таки отказываешься? На прощанье?

— Ну, если так... Если ты, как говорится, так ставишь вопрос... Тогда наливай! Мы с тобой неплохо столько лет вместе прожили, Анатолий Андреич. Ты был неплохой главный. По правде говоря, даже хороший главный! Лучше многих других. Хотя, должен сказать, и нелегко с тобой бывало иногда...

— А мне с вами? И с тобой в том числе? Мне-то с вами, думаешь, было легко? А все-таки какой у нас с тобой газета стала, а? Ох, испортят ее, подлецы! Непременно испортят. Как пить дать... Ну, будь здоров, дорогой! Не поминай лихом. Не так уж много, думаю, было в твоей жизни людей, кто тебя любил...

И опять, как только Мамонов вышел из кабинета главного, привычная редакционная круговерть тут же захватила, закружила его и понесла, как щепочку, по коридорам, швыряя от дверей к дверям. Кому-то он позарез был нужен, и этот кто-то уже битых два часа не мог его найти нигде, и, найдя теперь, требовал, чтобы он сейчас же, не сходя с места, что-то такое важное прочел и, конечно же, немедленно дал по этому поводу комментарий в ближайшей же своей колонке или статье, и кто-то другой хватал его за локоть и норовил затащить к себе в комнату, и рассказать ему свежую сплетню, над которой, оказывается, уже два дня, как потешается вся Москва, и какая-то встопорщенная, мосластая девица в очках, из новеньких, преградив дорогу, совала ему какие-то мятые листки со стихами и торопливым, захлебывающимся голосом убеждала его, что стихи гениальны и что их нужно сейчас же

печатать, а этот ретроград, редактор отдела, никак не может понять, что это новый Бродский («Я, милая барышня, между прочим, терпеть не могу Бродского», — на ходу отшил он ее), и из зала, где стоял телевизор, вдруг раздавался мощный взрыв смеха, и туда, понятно, тоже надо было заглянуть, чтобы понять, что там такое происходит и почему такое веселье, а потом, конечно же, нельзя было не задержаться и у доски, где вывешивались лучшие, по мнению редколлегии, материалы за прошедшую неделю, и не узнать, кто есть в редакции кто, и, что греха таить, не посмотреть, а нет ли там, среди них, и его самого... А в дверях его кабинета его ждала уже собственная секретарша, чтобы сунуть ему листок с именами и телефонами тех, кто звонил сегодня и требовал их с ним соединить, и еще передать ему новую папку писем на его имя от читателей со всех концов России и за пределами ее, и спросить его, поставить ли ему чай, и нужна ли будет ему сегодня редакционная машина, и будет ли он весь день в редакции или нет, и что говорить, если он куда уедет, тем, кто станет его искать...

И лишь тогда, когда он закрыл за собой дверь в свой кабинет и остался один, — вот тогда-то по-настоящему и дошло до него, наконец, что же все-таки с ним сегодня произошло.

Просто и ясно дошло, без всякого тумана — дошло, как приговор в суде: это конец. Конец этому кабинету, этим книгам на стеллажах, годами скапливавшимся здесь, и журналам, разбросанным повсюду, и газетам, сваленным, где попало, на полу, и двум этим креслам в углу вокруг маленького столика с вазочкой на нем и гвоздикой, воткнутой туда заботливой секретаршей... И секретарше конец! И чаю с лимоном в подстаканнике конец. И телефонам на столе, и раскрытому календарю, и пластиковому стаканчику с остро заточенными карандашами, и большой фотографии его вместе с Сахаровым на стене, и кремовым шторам, и Пушкинской площади под окном, и Пушкину, с которым он так привык видеться каждый день, и этой толпе, кипящей внизу, и троллейбусам, и рекламе на домах, и Тверской, и Тверскому бульвару, по которому ему уже скоро не ходить или, если и ходить, то уже не так, как он ходил столько лет... Кончен бал, Алексей Иваныч! Гасите свечи. Пора! Когда-нибудь это же должно было произойти.

— Светлана? Ну, как вы там? — оторвавшись, наконец, от окна, набрал он по городскому телефону наизусть известный ему номер. — Что?! Что ты говоришь?! Ну, дела... И как

же вы там? Все хорошо? Добро. Я, вероятно, заеду вечером... Хорошо, тогда и поговорим. Пока...

Но долго ему одному оставаться не пришлось. Едва он успел положить телефонную трубку, как дверь кабинета приоткрылась и в нее просунулась коротко стриженная, перьями, голова.

— К тебе можно? Ты один, Алексей?

Ах ты черт! Ну, хоть бы кто-нибудь другой, не она. Меньше всего сейчас хотелось видеть именно ее... И никуда не скроешься от этой бабы! Всюду найдет. Дорого ж ему — вот уже сколько лет — приходится платить за ту минутную свою слабость. И как его угораздило тогда? А все водка проклятая. Бог ты мой, до чего же все-таки эта баба страшна! До чего же уродина... И где ж его глаза-то тогда были? Куда смотрел? Надрался, разнюнился, пожалел приبلудную собачонку. Ну, вот и плати, и терпи! Скажи спасибо, что хоть в койку-то после того вечера больше не тащит. О, если бы эту энергию, эту способность ввинчиваться всюду, куда не просят, да на благие бы дела! Мир, наверное, можно было бы перевернуть...

— Алексей, скажи мне — это правда?

— Что, Инга, правда? Ты о чем? Во-первых, здравствуй...

— Да, конечно, здравствуй! Мы ведь с тобой еще не виделись с утра... О чем? О том, о чем уже все говорят. Вся редакция.

— Ну и что? О чем говорит вся редакция?

— О том, что ты ренегат. Что ты отказался поставить свою подпись под манифестом учредителей. Что ты оказался трус, что тебя купили... Это правда, Алексей?

Усевшись как-то боком перед ним и постукивая худыми, нервными пальцами по поверхности отделявшего их друг от друга стола, она, не мигая, смотрела ему в глаза и ждала ответа... Нет, он должен был, он обязан был ответить ей! — всем своим видом говорила она. Прямо и откровенно ответить, не лукавя, не пытаясь увернуться — она имела на это право. Она выстрадала это право за собой! Почему? А потому, что она когда-то любила его. Боготворила его! И только она, только она одна могла оценить тогда его талант, его ранимую душу, его одиночество среди людей...

— Да, Инга, все правда. Я действительно полчаса назад окончательно отказался подписать этот документ. И если ты пришла меня агитировать — то бесполезно. Не трать зря силы...

— Но почему, Алексей? Почему? Ты же всегда был настоящий демократ. Всегда заступался за людей. Мы все так

верили тебе! И я верила... Больше всех тебе верила! А что же прикажешь думать о тебе теперь?

— А что хочешь, дорогая, то и думай... Дело твое.

— Но ты не ответил мне, почему, Алексей? Какая причина? У тебя изменились взгляды, ты перешел в другой лагерь? Или ты испугался? За себя испугался? Устал бороться, решил лечь на дно?

— На дно? Это ты, между прочим, хорошо придумала — на дно... Да, Инга — на дно. Выхожу из игры. Ложусь на дно.

— А люди как же? Читатели твои, друзья твои, товарищи по борьбе? Мы все, наконец? Как же ты можешь бросить всех? В такой момент?

— А он, Инга, всегда будет таким, этот твой момент...

— Нет, я, хоть убей, не понимаю тебя! И от кого, от кого, но от тебя я такого не ждала... Учти, Алексей — все теперь отвернуться от тебя. Все! И знаешь... И знаешь, что? Я первая не подам тебе руки!

— Ну, вот и хорошо. Вот и поговорили... Рук, значит, больше тянуть друг другу не надо... Пока, дорогая! Извини, мне писать надо. К сожалению, дела... Спасибо, кстати, что зашла...

Бросив на него напоследок уничтожающий взгляд и дернув плечом, она, не говоря ни слова, встала и, не оборачиваясь, вышла, треснув за собой дверь... Кроме яростно сломанной папиросы в пепельнице, от нее в кабинете, — повел он носом, — остался еще и запах: тот самый запах каких-то невероятно крепких, сладковатых духов, что так сильно чувствовался везде в редакционных коридорах. Неужели и там, в коридорах — это тоже была она, это тоже все было от нее? А что, вполне возможно... Или она все-таки не одна, или их много в редакции таких? Нет, много, наверное. И что самое грустное: одни уходят, и им на смену приходят другие, новые, а запах этот как висел по этажам и коридорам, так и висит, и будет висеть, вероятно, до окончания всех времен. Или... Или пока кому-нибудь не понадобится решить все эти неразрешимые наши вопросы самым простым и эффективным способом: взорвать это здание на Пушкинской площади к чертовой матери — и дело с концом.

ГЛАВА IV

Нет, не ожидала она за собой такой слабости... Решалась, звонила, ехала! В церковь даже на счастье зашла. А вот

нашла этот дом, этот двор, этот подъезд — и все. И ноги дальше не идут. В пору хоть поворачивай назад.

А двор... Что ж! Двор как двор. Обычный московский двор: обшарпанные, облупившиеся пятиэтажки с четырех сторон, чахлые палисаднички у подъездов — рябина да сирень, лавочки, тополя, разбитый асфальт, детская песочница, две-три машины, боком загнанные на тротуар. А еще вон белая трансформаторная будка, и железные гаражи в одном углу двора, и сохнувшее белье на веревках — в другом, и мусорные баки, доверху набитые чем ни попало, и толстые, нахальные вороны, расхаживающие возле них... Тоска! Одна тоска. И сюда-то он, Алексей, муж ее, и приезжает — который уже год, чуть не каждый день? И поднимается по этим трем выщербленным ступенькам с торчащей из них ржавой арматурой? И открывает эту дверь в подъезд с наполовину выбитым стеклом? Давно уж, видно, выбитым, безнадежно! И скорее всего, теперь уж навсегда.

Нет, так сразу открывать эту дверь, Наталья Владимировна, нельзя... Надо постоять немного, перевести дух, собрать себя в кулак... Ну, вот, сердце заболело. А валидол, конечно, забыла, не взяла. Ах, растяпа ты, растяпа! Давно бы уж надо, милая моя, раз и навсегда его в сумку положить... Ага! Слава Богу, лавочка вон у подъезда пуста, ни одной старухи на ней нет. А, небось, всегда здесь сидят. Сидят, старые — всех видят, всех замечают! Кто к кому пришел, кто ушел, что в руках понес, и какой пришел — веселый, во хмелю, али нет, и в чем был одет, и как пришел: так, накоротке, или уж с ночевой, совсем... А может, они уже и поумирали все, старухи-то эти? Самое, казалось бы, время им на лавочках сидеть — двенадцатый час. И тепло, и солнышко светит, и тихо во дворе: ни мотоциклов, ни машин, ни людей — одно воронье. Сейчас бы тут им и сидеть — косточки свои старые греть. Да другим их переживать... Или все они теперь на углах, на паперти где стоят, на хлеб себе добывают? Теперь-то им уже, небось, не до сиденья, теперь-то им как бы вовсе не пропасть. В такое-то лихолетье... И кто бы из них года два назад мог подумать, что не все еще муки их по жизни кончились? Что еще и до такого доживут?

Но... Или идти, или не идти! Нечего рассиживаться. Вставай, Наташечка, поднимайся! Сама напросилась, теперь уже поздно поворачивать назад... На каком же это, значит, этаже? Да, на третьем. И лифта, конечно, нет. Ну, ничего, третий этаж — это все-таки не высоко. Да и сердце вроде

бы утихло. Смотри-ка! Полезно все же было так минутку на лавочке посидеть, расслабиться. И без валидола обошлось.

О, Господи, какая же грязь в подъезде! И отчего везде у нас такая грязь? Что мы за дикий народ такой? Какой там рынок, какая демократия... Когда люди перестанут мочиться у себя в подъезде — тогда и будет она, демократия! И кошками когда перестанет повсюду пахнуть! И разные слова перестанут на стенках писать, и стекла сами у себя бить. И замки на почтовых ящиках ломать...

А! А вот и она, наконец — эта дверь. И ничем не отличается от других таких же дверей. Разве что дерматином обита. Нет, и еще одна такая же, под дерматином, есть на этаже. Только у нашей он посвежее — недавно, наверное, обили... А где звонок? Что, нет звонка, придется стучать? Как же так — нет звонка... Да вот же он! Куда ты смотришь? Господи, совсем слепая стала. Да вот же она, беленькая кнопочка! Так разве разглядишь ее в такой темноте... Ну? Ну, Господи, благослови...

А... Так вот, значит, мы какие! Что ж, примерно такой она ее себе и представляла... Маленькая, худенькая, складная — фигурка подростка, даром что ей уже, наверное, лет тридцать пять, не меньше... Копна каштановых волос на голове, не очень-то, видно, и причесанных — некогда, небось, по парикмахерским ходить, а может, и с деньгами нелегко. Особенно теперь... Полногрудая, несмотря на рост свой и худобу... А глаза зеленые! И тени положены так, как надо, — удлинила немного глаза. И правильно делает, так ей идет... Все-таки готовилась, значит! Ждала. И не в халате встретила или в другом в чем домашнем: свитерок, юбка, белый воротничок из-под ворота, какая-то побрякушка серебряная на груди... И в туфлях, не в тапочках...

— Вы... Вы Светлана?

— Да, Наталья Владимировна. Здравствуйтесь. Это я и есть.

Нет, не надо иллюзий! Это, Наташечка, тебе не просто шлюха какая-нибудь. Если и были у тебя на этот счет какие сомнения, так ты уж лучше их отбрось, не обманывай себя... И лицо интеллигентное, хорошее лицо... А жизнь, видно, и ее не балует! Морщинки-то вон уже побежали кое-где под глазами. И под подбородком, на шее, одна уже видно... А смотрит настороженно... Бойтся все-таки! Кто его знает, что у меня на уме? А вдруг я сейчас вцеплюсь в нее? Нет, девочка, не вцеплюсь. Расплакаться — это да... Вот это я могу. Ты уж прости...

— Ну, проходите же, Наталья Владимировна. Что ж, так и будем стоять в передней, смотреть друг на друга?

— Подождите, Светлана. Дайте отдышаться... Куда мне сумку мою положить?

— А вот, повесьте на крючок на вешалку. Или здесь на телефонный столик положите... Куда пойдём? В комнату? Или на кухню?

— А куда прикажете... Мне все равно.

— Пойдемте лучше на кухню. Там, в комнате, Ксюша у меня болеет. Такая теплынь, а она, представляете, опять простудилась... Хотите чаю? Я к вашему приходу свежий чай заварила.

— Хочу. А к чаю у меня и пирог есть. С маком. Сама вчера пекла, у нас вчера гости были... Погодите, я только достану его из сумки... А можно мне на секунду заглянуть в комнату? С Ксюшей поздороваться. Ведь она, наверное, не спит?

— Нет, не спит... На диване сидит, книжки читает. С месяц уже, как научилась книжки читать. По складам, конечно... Но сама!

Так... А квартирка-то, Наталья Владимировна, бедненькая. Убогая, прямо скажем, квартирка... А, впрочем, откуда ей и быть-то другой? Откуда ей быть богатой? Сама, кажется, то ли корректор, то ли младший редактор в каком-то журнале — известно, какие это доходы. А сейчас вроде бы и вовсе не работает, дома с дочкой сидит... Нет, наверное, все-таки работает. Только работу, видно, на дом берет: вон, целая кипа гранок на столе, на скатерти, явно какая-то корректура... Ну, и Алексей, конечно, помогает, подбрасывает кое-что... Помогать-то он, конечно, помогает! Не может не помогать. Да ведь ты сама, Наташечка, знаешь, какой он Крез. От гонорара до гонорара Крез. А на зарплату теперь и сам-то не проживешь, не только что кому помогать... Нет, но кое-что, конечно, все-таки есть: палас вон дешевенький на полу, сервант с посудой, гардероб, книжные полки... Диван, детская кроватка в углу... Пара флакончиков духов на тумбочке. Похоже, французские. Цветы на подоконнике... Телевизор... Все? Все... Нет, вон еще стерео-проигрыватель в углу... И все-таки нищета. Интеллигентская, зеленая нищета! Как везде...

А девочка чудная! Беленькая девочка, чистенькая. С бантом на голове... О, как глазки-то таращит с дивана! Что, кроха, не видала еще никогда эту старую тетку? Кто, мол, такая? Зачем пришла?

— Здравствуй, Ксюша! Меня зовут Наталья Владимировна. А лучше тетя Наташа. Я тебе пирога принесла. С маком... Любишь с маком?

— Люблю!.. А книжку, тетя Наташа, принесла? Я теперь читать умею. Сама!

— Нет, Ксюшенька, не принесла. Я не знала, что ты у нас такая умная... Я в другой раз принесу. Обязательно принесу.

— Только с картинками принеси! У меня теперь, видишь, их сколько? Это мне все папа купил... А сказки ты умеешь рассказывать, тетя Наташа?

— Умею. По крайней мере, раньше умела.

— Расскажи!

— Обязательно расскажу, Ксюша! Только потом... мы сейчас с мамой на кухню пойдем, чай будем пить. А потом расскажу...

— А я сейчас в церкви была,— сообщила она, усаживаясь за покрытый клеенкой кухонный стол, на пододвинутую Светланой табуретку:— Богу помолилась, свечки поставила. За Алексея, за Костю своего... За Ксюшу... И за вас, Светлана, тоже... Тоже поставила. Добрые люди говорят, если и не поможет, то уж и повредить-то никак не повредит.

— Спасибо. И за Ксюшу спасибо... А я не знала, Наталья Владимировна, что вы верующая. Алексей никогда не говорил.

— Я и сама, признаться вам, не знала. В церкви, по крайней мере, сто лет не была... А сегодня вот что-то потянуло, зашла... Много чего мы еще с вами, милая, не знаем друг о друге! А пора бы, наверное, уже и знать...

Так! Начало, Наталья Владимировна, вроде бы неплохое. Вполне приемлемое начало... На шею, конечно, не вешается, но и волком не смотрит, не грубит. И вызова в глазах нет... Чай вон заварила, чашки хорошие поставила. Гостевые, наверное, чашки... Девочку показала! Даже улыбнулась, когда про сказки-то речь зашла... И про церковь, про свечки не фыркнула. Приняла как должное. А могла бы и фыркнуть: куда, дескать, суешься, кто тебя просил?

— Наверное, Светлана, думаете сейчас: а зачем она, собственно, пришла? Чего ей надо? Не было, не было, и вдруг, пожалуйста — явилась... Мы ведь даже по телефону — и то в первый раз сегодня с вами говорили... Так? Думаете, да?

— Думаю, Наталья Владимировна. И согласитесь, было бы странно, если бы не думала... Визит, как вы понимаете, весьма необычный. И чего-чего, а этого я, признаюсь, не ждала.

— Сколько вы с Алексеем знакомы, Светлана?

— Семь лет.

— Ну, вот, семь лет я к вам и шла. Шла, шла, и вот, как видите, наконец пришла... Сначала-то, когда поняла, что происходит, плакала, конечно! Ненавидела вас, себя жалела... О, как я себя жалела! За что, думала, за что? Чем я ему была плохая жена? А он ведь далеко не сахар, вы-то уж теперь, наверное, знаете. И угрюмый может быть месяцами, и напивался иногда, особенно в молодости, черт знает, до какого состояния. И другие бабы у него, я знаю, были... Правда, всерьез до вас, по-моему, никого не было... И собой он вечно был недоволен. Иногда даже и в депрессию впадал — надолго! Презирал себя. Приходилось, как умела, утешать... А! Сколько мы с ним вместе пережили чего — разве расскажешь. И сына вот вырастили. А когда я старая стала, обвисла, расплылась... Одним словом, когда меня жизнь совсем обезоружила — появились вы...

— Наталья Владимировна...

— Нет-нет, Светлана! Вы не поймите меня превратно. Я не жалуясь, не упрекаю сейчас. Я просто объясняю, как долго я сюда шла... А потом, когда я узнала, что родилась Ксюша — вот тогда что-то и начало меняться во мне...

— И вы решили прийти ко мне?

— И я решила прийти к вам. Не сразу, как вы понимаете, решила. Долго решала... Сколько уже Ксюше? Года четыре ведь, так?

— Нет, Наталья Владимировна. Уже больше. Скоро будет пять.

— Пять? Господи, как время-то летит... А как будто это было вчера...

— Может быть, помните? Ту осень, когда Алексея впервые выпустили за границу? Пять лет назад?

— Конечно, помню. Еще бы не помнить...

— Ну вот, в том сентябре она и родилась. Без него... Тогда дожди шли, холодно было. Противный был сентябрь! Он потом все расстраивался, что мы с ней без него из роддома домой приехали, что он не смог встретить нас... А правда, я тогда совсем было растерялась! Одна, с этим комочком на руках... Дом пустой, она плачет, а я не знаю, что с ней делать. И отойти от нее хоть на шаг боюсь, и в магазин надо сбегать, хоть что-нибудь поесть купить. И холодильник, как нарочно, тогда сломался... Хорошо, у меня самой-то молоко было, не пропало. Помню, все боялась, что оно у меня от одного страха пропадет...

— Долго кормили?

— Долго. Больше года. Пока она сама от груди не отказалась.

— А сейчас? Сейчас хорошо ест?

— Сейчас? Да вроде бы не на что жаловаться... Иногда капризничает, конечно. А вообще-то, что дам, то и ест. Или, вернее, что есть, то и ест.

— Бледненькая она все-таки у вас! Чего-то ей все-таки, мне кажется, не хватает... Может быть, гуляете мало, Светлана? Или это просто весенний авитаминоз? Сейчас уже морковь на рынках начала появляться. Давайте ей морковный сок, на терке. Очень помогает. У меня Костя, можно сказать, вырос на нем ...

— Да нет, Наталья Владимировна, не преувеличивайте. Всего ей хватает, все у нее есть. И гуляем мы с ней достаточно... А бледненькая потому, что болеет! Еще бы ей не быть бледненькой. Вторую неделю как дома сидит...

А все равно, не знает она, Наташечка, — не знает, как ей с тобой себя держать. Все равно топорщится, все равно напряжена. Как струна — того и гляди лопнет, собьется в крик... Вон, на морковку вдруг обиделась! Подумаешь, нашла на что. И губы вон сразу подобрала, и взгляд сразу куда-то вбок, и пальцы вон сами собой запрыгали, забарабанили по столу... Все ждет, наверное, объяснений, попреков, слез. Как же так — без них? Нет, девочка! Не бойся. Не будет никаких объяснений. И ничем я тебя сегодня не задену и не обижу, и посуду не буду бить — не за тем шла. Это время уже давно прошло, когда я могла бы тут в сердцах все разнести... Ты вот только меня пойми, дружок, ты меня не тронь! А у меня-то уже все отболело, все отгорело. Сама же говоришь — семь лет...

— А вы, Наталья Владимировна... Извините меня... Вы про морковку пришли мне сказать? Или просто так познакомиться, поговорить?

— Просто так, Светлана, пришла... Поговорить пришла. И может быть, если получится, что-нибудь решить... Решить, как нам дальше всем вместе быть.

— Вместе? Всем?

— Я предлагаю, Светлана — вместе. Собственно, за этим, я вам скажу, я сюда и пришла. Семь лет шла.

— Интересно знать, Наталья Владимировна... А как вы себе это представляете — вместе? Твердый график установить? И вывесить его и у вас, и у меня здесь на стене? А за нарушение — штраф? В бесспорном порядке?

— Как вместе, Светлана? А так... Вместе — значит, вместе. Без всяких графиков, без всяких там штрафов... Вместе, Светлана. Вместе! Одним словом, я предлагаю: переселяйтесь-ка вы с Ксюшей к нам. Насовсем.

— Что-о-о?!

— Не надо... Не надо делать такие глаза, Светлана. Ничего, если вдуматься, сверхъестественного я вам не предлагаю... Костя теперь своей жизнью живет. Недавно квартиру себе купил, зарабатывает много. Боюсь, даже слишком много. В общем, мы ему уже не нужны, хорошо еще, что хоть вспоминает про нас иногда... Вы, наверное, знаете, у нас четыре комнаты. Квартира кооперативная, наша, пай давно весь выплачен. Район прекрасный, зеленый — рядом парк, Москва-река, Новодевичий монастырь... Значит так: кабинет Алексея — раз, гостиная — два, моя комната — три, и еще одна, теперь свободная, в которой Костя вырос. Она большая, может быть, даже больше вашей этой. Светлая, окна на солнечную сторону, и тихая — мы же под самой крышей живем... Я теперь на пенсии, делать мне нечего, буду с Ксюшей сидеть, гулять с ней. Сказки ей буду рассказывать, книжки с ней читать. На кухне кастрюльками греметь... А вы на работу опять пойдете... Смотришь, так все вместе и переживем это лихое время! Ксюшу вырастим... И квартира ей потом останется, когда нас уже не будет. А это, сами понимаете, не малый по нынешним временам капитал. Имея такой тыл за спиной, и ей уже не страшно будет жить... А вашу эту квартиру сдадите кому-нибудь — тоже деньги! Можно и за доллары. Или вовсе ее продадите. Да на худой конец — и так пусть стоит. Есть же она не просит, пригодится когда-нибудь...

— А как... А как мы Алексея с вами поделим, Наталья Владимировна? Или и на это у вас тоже план есть?

— А никак, Светлана. Нам не надо его делить... Собственно говоря, мы его уже поделили. Семь лет назад. Вам свое, мне свое...

— Наталья Владимировна, я вас прошу, я вас умоляю... Уйдите! Уйдите, ради Бога, от греха! А то я могу такого вам сейчас наговорить... Все это какая-то насмешка! Чудовищная насмешка! Уж лучше бы вы всю мебель здесь переломали, всю посуду перебили... Никогда не думала, что вы на такое способны... Это же садизм! Изуверство! Господи, сколько же зла надо в себе носить, чтобы придумать такое...

— Нет, Светлана. Не садизм. И не изуверство. А просто вам тридцать пять, а мне пятьдесят пять. И кто-то из нас двоих должен же быть умнее...

— Уйдите, Наталья Владимировна! Прошу вас... ради Бога... Уйдите!

— Уйти-то я уйду, Светлана. За этим дело не станет. Это-то как раз мне легче всего сделать. Встать и уйти... Только обещайте мне одно: подумайте всерьез над моим предложением на досуге, а? С Алексеем поговорите. Уверю вас, не так это все дико, как может показаться на первый взгляд... Нет, что же это я? Как же я так уйду? Я так не могу уйти! Я же Ксюше сказку обещала, она ждет... А пирога, Светлана, вы ей так и не отнесли? Нехорошо. маленьких нельзя обманывать. Заговорились мы, забыли... Отнесли бы ей сейчас? А, Светлана? При мне. Как, кстати, пирог-то? Ничего? Не пересушила я его?

— Да нет, спасибо, прекрасный пирог...

— Ну, так и отнесите ей... А я вас здесь подожду...

— Сейчас... Подождите, Наталья Владимировна. Дайте мне хоть успокоиться немного... А может, ей все-таки потом пирога дать? На сладкое, после каши? Ей скоро кашу есть... Ой, что же это я? Час уже! Ее время...

— Погодите с кашей, Светлана. Успеется. Пусть лучше так пирожка съест. Так вкуснее, когда не вовремя... У вас здесь курят, Светлана?

— Да, конечно... Здесь на кухне можно. Здесь вытяжка хорошая... А вы разве курите, Наталья Владимировна? Я не знала.

— Иногда. Очень редко теперь. Когда слишком уж разволнуюсь... А раньше тоже смолила, как Алексей...

— По вас-то, Наталья Владимировна, не видно, что вы волнуетесь! Это меня всю колотит... А вашей выдержке можно только позавидовать. Я так, к сожалению, не умею, как вы.

— Нечему завидовать, дорогая моя. Слишком много за такую науку надо платить. Моя бы воля — и вовсе б не училась ей... Пришла бы, села, разревелась бы белугой. Душу бы отвела... Куда как хорошо... Ну, идите же, идите! Ксюшка-то, наверное, совсем уже обиделась на нас. Наговорили, наобещали! А она там, бедненькая, ждет...

Да... А хозяйка ты, милая моя, видать все-таки не очень... Кашей вон Ксюшу в обед кормишь! Ничего другого придумать не могла? Это ж не завтрак! Ей бы сейчас бульон куриный нужно крепкий, пюре бы картофельное, мяса бы кусок. Или бы рыбы потушить... Я уж не говорю про зелень! На вашем Преображенском-то рынке, небось, уже всего полно. И на это-то у вас с Алексеем пока должно хватать... А Ксюш-

ка болеет, бледненькая, дома сидит — на кашах да чае-то она у нас не так скоро выздоровеет! Надо будет Алексею сказать...

И на кухне, если приглядеться, не везде чисто. А ведь прибиралась, меня ждала... Пыль вон на подоконнике. И земля в горшке с фиалками сухая — забывает, видно, поливать. И мокрая тряпка на тумбе возле мойки валяется, не догадалась повесить ее на батарею. И тарелки в мойке лежат... Полотенце посудное на гвоздике не свежее. Листки в календаре неделю уже, наверное, никто не отрывал... И линолеум на полу в пятнах. А плита кофе залита... Нет, конечно, не скажешь, чтобы очень уж грязь. Бывает и хуже! Но в общем, дорогая ты моя Светлана, либо и вправду руки у тебя не доходят ни до чего, либо много еще чему тебе в жизни учиться. Много чему!

А может, она из этих, из нынешних? Как это — феминистка? Борец за равноправие полов? Нет, тоже не так... Слишком женщина, слишком одевается хорошо. И духи хорошие, и ногти в порядке, и за фигуркой своей, видать, очень следит... И умна! Бесспорно умна. Только измученная вся какая-то, нервная. Скрюченная внутри себя... Вот-вот взорвется, вот-вот вспыхнет, как порох... А с другой стороны, что бы вы хотели, Наталья Владимировна? Явилась к любовнице своего мужа, расселась тут, разговоры разговариваешь. На Ксюшку вон лапу протянула, мужика не отдаешь, сопротивляешься... Придумала какую-то небывальщину — чтобы вместе жить! Как же тут не взорваться? Конечно, взорвешься! Спасибо скажи, что еще купоросом тебе, милая моя, в физиономию не плеснули. Либо соляной кислотой.

Да даже если бы ты и не явилась, — думаешь, ей легко? Ей-то всего тридцать пять. Или уже тридцать пять... И молодая еще, и все вроде бы при ней, а вот другого чего все равно уже не найдешь. Или найдешь — так дрянь какую-нибудь, что-нибудь никому не нужное... А Алексея она любит! Любит — если уж решила просто так от него рожать. И, конечно, надеется, что когда-нибудь и у нее с ним жизнь наладится, и дом свой нормальный будет, и у Ксюшки будет отец — не приходящий, а как у всех... А тут ты, старая ведьма, под ногами мешаешься! Нет бы самой догадаться, исчезнуть, уйти с дороги. Ты-то уж свое пожила! Посторонись, дай пожить и другим. А ты вон что придумала — всем вместе жить... О ком заботишься? Об Алексее? О Ксюшке? Или все-таки о себе самой? О, Господи! Не знаю я, о ком забочусь. Честное слово, не знаю... Страшно мне! За всех за нас страшно. И за Алексея страшно,

и за Ксюшку, и за себя — за всех страшно! И чего такого уж непонятного я тебе, девочка, предлагаю? Предлагаю построить всем вместе блиндаж в три наката, поставить пулеметы в нем по углам и отстреливаться от жизни... Всем! Всем вместе отстреливаться... Пока мы с Алексеем не уйдем. А потом и ты состаришься... А Ксюшка, Бог даст, выживет за нашими спинами! На ноги встанет, свои коготки и зубки отрастит. А может быть, и жизнь к тому времени другая будет. Не может же так продолжаться вечно... А ты, девочка, все об одном думаешь: к кому он, Алексей, в спальню будет ходить. Да к тебе же и будет ходить! Ко мне-то он, милая моя, уже отходил. А скоро, боюсь, и к тебе перестанет ходить... В такой-то нервотрепке, в какой он живет — насколько его еще хватит? Скажи спасибо, что еще пока держится! И инфаркта пока еще нет. А много ли ему надо для инфаркта? Или для инсульта? Сколько их таких, его сверстников, давно уже на кладбище лежат. По смертности-то журналисты, говорят, впереди даже шахтеров... Нет, не только мне — и тебе бы, милая моя, лучше бы сейчас без иллюзий. Никому не время сейчас для иллюзий. Даже и тебе.

... Что? Звонок? А, это не дверь, это телефон... А чего это ты, Наташечка, вздрогнула? Испугалась — а вдруг Алексей придет? Нет, откуда ему прийти — посреди-то дня... Ну, а если бы и пришел? Ну, и что? Может, и лучше было бы, если бы он сейчас пришел, так, разом, все бы и выяснили наконец. Так, мол, и так, дорогие мои: вот вы, вот я, вот Ксюша... Ну, что? Может быть, хватит? Может быть, хватит друг друга терзать? Давайте, наконец, искать выход из положения. Так же больше нельзя... Я предлагаю вот что. А что предлагаете вы?

Нет, лучше уж пусть не приходит. Лучше сначала без него. Надо сначала нам с ней друг друга узнать, понять хоть немного друг друга... Что ни говори, а решение-то предлагается, как теперь, выражаются, нетрадиционное! Поначалу-то, наверное, и он покачнется, схватится за грудь: ты что, Тата, придумала? Ты в своем уме? А она, конечно, и вовсе бы тогда в истерику кинулась, в слезы, в крик... И получился бы, Алешенька, твой любимый Шекспир! И больше ничего... А ведь, похоже, там — по телефону — это сейчас он. Уж больно она тихо говорит. Трубку, наверное, ладошкой прикрывает, никаких слов не разберешь... А интонация выдает! Голос выдает. Таким голосом только со своими, с очень уж близкими говорят... Ну, так что будем делать, Наталья Владимировна? Будем и дальше на нее жать? Или для первого

раза хватит? Чаю попили, познакомились, обменялись, так сказать, мнениями. Пора и честь знать... Слава Богу, обошлось, кажется, без слез. Зря ты столько платочков загодя по карманам рассовала! Не понадобились твои платочки...

— Это Алексей. Это он звонил,— сказала Светлана, вернувшись и вновь усаживаясь напротив нее за стол. — Обещал вечером заехать... Я... Я ему сказала, что вы здесь.

— Удивился, наверно?

— Удивился — не то слово. Для него, по-моему, это тоже был шок... Я должна буду передать ему наш с вами разговор? Или ему лучше об этом не знать?

— О чем? О моем предложении?

— О вашем предложении. А вашем ужасном, бредовом предложении... Может быть, лучше не я, лучше вы потом сами все скажете ему?

— Как хотите, Светлана. Могу и сама сказать. Смотрите, как вам будет лучше... Конечно же, я ему скажу. Да и какая, в сущности, разница, кто из нас ему скажет? Это не важно. Важно, чтобы и вы, и он к этому серьезно отнеслись.

— Серьезно? Наталья Владимировна... Опять вы... Ну, сами подумайте, как я могу отнестись к этому серьезно? Какой там серьезно! Для меня это все лишь сон. Дурной, тяжкий сон... Я еще могу как-то смириться, что вы сейчас сидите здесь, у меня. Но чтобы нам с вами дальше вместе жить? Чтобы я каждый день, на каждом шагу видела вас? Чтобы мы вместе, втроем, сидели за столом? Чтобы я думала каждый раз, куда Алексей пойдет — к вам в комнату или ко мне? Чтобы в ванной ваш халат висел на одном крючке с моим? Мало мне было этих семи лет — все время думать о том, что он от меня возвращается к вам? Что вы, а не я для него дом, семья — все? А я так просто, для утехи. Хорошо, что я есть, а если не будет, то и Бог с ней — новую найдем... Что Ксюша... Кто такая для него Ксюша? Игрушка, прихоть. Придет, поиграет, книжку принесет — и хватит, и назад к вам... Мало мне этого всего было, по-вашему? Мало? А он еще, бывало, мне говорил, что на самом деле вы умнее его. Как вам только такое в голову могло прийти? Вам, именно вам?

— Правда говорил?

— Что?

— Что я умнее его?

— Говорил. Не раз говорил.

— Ну, что ж... Если у меня, по-вашему, такая должность на земле — быть умнее вас всех... Тогда... Тогда мне пора! Пора мне подыматься. Спасибо за чай, за все... Одно только,

уходя, скажу вам, Светлана: уверена, что это разговор наш с вами не последний. Подумайте об Алексее, о Ксюше подумайте. Особенно о ней... Кстати, если можно, я хотела бы все-таки зайти к ней на минутку? Можно, да? До свиданья сказать...

А ведь и правда ждет! Ждет, кроха. Не забыла... Ишь, как заерзала на диване, как глазки-то заблестели... Господи, а перепачкалась-то вся как! Страсть! И мордашка вся в крошках, и пижамку-то всю обсыпала. Ну, конечно, и пальчики до сих пор все еще облизывает... Значит, не зря, Ксюша, тетя Наташа старалась, пироги пекла? Угодила, значит? Ну, вот, а ты, Наташечка, боялась, что вытолкают тебя с твоими пирогами в шею. А оказалось, не вытолкали, оказалось, еще и мало принесла... Ну, ничего, Ксюшенька! Ничего. Бог даст, мы еще много с тобой пирогов напечем. И на санках еще вместе покатаемся, и на качелях будем качаться, и книжки будем вместе читать... И в школу я тебя еще отведу. Купим гладиолусов — и пойдем! И бант мы тебе завяжем. Не маленький, как этот — а большой, голубой. Или белый. И ранец тебе купим. И передничек я тебе поглажу... Ничего, Ксюша! Главное — не вешать нос. А то, что люди глупые, что они с первого раза не понимают ничего — так что ж тут нового? Было так всегда и будет всегда... А, кроха? Как ты считаешь? Так? Или не так?

— Сказку, тетя Наташа! Ты сказку обещала... Расскажи!

— Рассказать? Ну так и быть, Ксюшенька... Подвинься, я с тобой сяду... Только чур — короткую! Мне, Ксюшенька, спешить надо. Длинную, ты уж прости, в другой раз...

— Давай короткую! Только, тетя Наташа, не очень короткую... И не про меня! Про меня я уже все сказки знаю. Мне их всегда папа рассказывает... Он других не знает! А ты мне другую расскажи. Про других...

— Ну, вот, Ксюша. Слушай. Жили-были...

— Старик со старухой!

— У самого синего моря...

— Старик ловил неводом рыбу!

— Старуха пряла свою пряжу... Значит, ты эту знаешь? А говоришь, только про себя знаешь, про других не знаешь.

— Нет, тетя Наташа! Я много сказок знаю. Только я их из книжек знаю... А ты мне новую расскажи, которой в книжках нет...

— Ну, хорошо, слушай... Жил на свете один злой мальчик. И была у него собака — такая же противная, злая, как и он. И был еще у него кот, тоже злой. И был еще у него попу-

гай — дразнила. Все время в клетке на жердочке сидел, семечки щелкал, и всех, кто ни пройдет мимо — всех дразнил. А рядом с ними, в другом доме, жила девочка с голубым бантом. И у нее никого не было — ни собаки, ни кота, ни попугая. А был у нее только плюшевый мишка, глазки-пуговицы, которого она очень любила. И всегда, когда шла гулять, брала его с собой...

Уф-ф! Ну, вот и все. Кажется все... Дверь захлопнулась. И опять эта лестница под ногами, эти замызганные стены. И это грязное, с куском фанеры в углу окно на площадке между вторым и третьим этажом. И этот двор за окном... И эти тополя, и гаражи. и вороны на мусорных баках... Тоска! Одна тоска... И остались они, Наталья Владимировна, там, за захлопнувшейся у тебя за спиной дверью. Одни, без тебя. А вечером придет Алексей, и будут они сидеть с ней на кухне, и пить чай, и говорить, естественно, про тебя. И ждать, пока Ксюша не заснет... А потом... А! Какая разница, что будет потом. Все это теперь уже не имеет значения — что будет потом. Ровным счетом никакого значения. Это тогда имело значение, когда ты сама еще могла на себя без отвращения в зеркало смотреть. А теперь...

Но что это? Что это ты, Наташечка, в самом деле? Ну, вот, крепилась, крепилась — и пожалуйста! Слезы... Боже мой, да как сильно! Просто потоком, просто глаза даже не видят ничего... Что ж это такое? Господи, не дай Бог, увидит кто! Стоит седая старая баба между этажами и ревет... Ну, Наташечка, ну же! Возьми себя в руки, наконец... Чуяло сердце! С самого утра, видно, глаза были на мокром месте. Недаром и платков по карманам напихала. Понадобились, оказывается, платочки... Господи, какой комок в горле! И плечи трясутся — не остановить. Кажется, полжизни бы отдала сейчас за стакан воды... И краска, небось, поползла по щекам. Как же я теперь на улицу-то покажусь... А! Что же ты, дура, забыла? Есть же способ! У тебя же в сумочке синие очки... Так... Теперь только следы от краски подтереть на щеках. Где-то тут у меня и зеркальце было, и пудра... О, Господи! Не вижу ничего. Ничего не вижу! Да что же это такое, в самом-то деле? Прекрати, дура! Сейчас же прекрати... Куда ж ты суешься тогда, если начинаешь — и то с рева? А что же будет потом? Когда это все будет для тебя каждый день — обычный день с утра до вечера и с вечера до утра? И дней таких будет много — ох, много... Так что, как хочешь, Наташечка! Хоть кляп себе в рот заталкивай, а прекращай. Немедленно прекращай! И нечего тебе здесь больше меж этажами стоять. Так чего доброго

еще и до Алексея достоинься. А вот уж еще и этого тебе сегодня не перенести. Ни за что не перенести...

Ну, вот... Кажется, полегчало... Так! Темные очки на носу, щеки припудрены... Стоп! Волосы растрепались, поправить надо... Ну? Все в порядке, Наталья Владимировна? Кажется, все... А раз в порядке... А раз в порядке — тогда пошли!

ГЛАВА V

Конечно же, цветы произвели впечатление! Должное впечатление. Как он, Мамонов-младший, и предполагал.

Регина, секретарь и помощник его, сразу же захлопотала, заметалась по комнатам и кабинетам в поисках чего-нибудь подходящего, во что можно было бы их поставить. Но двух хороших, больших ваз нигде не нашлось, нашлась только одна: в нее-то она и воткнула красные пионы, еще и распушив их при этом, а потом торжественно отнесла ее к нему в кабинет. А под белые она где-то отыскала трехлитровую банку из-под огурцов и поставила их у себя рядом с компьютером и телефонами, решительно сдвинув всю эту технику подальше на край стола...

Удивительно, какая все же важная вещь в жизни — удачная деталь! Всего одна деталь, а сразу все по-другому... Прекрасный у него, у Мамонова-младшего, был кабинет, здорово он у него получился. Как же! Старался — сам старался. Недаром мать его полжизни проработала в музее. Родовое! Кое-что и ему, видно, удалось перенять у нее... И теперь, после ремонта, просто блеск был, а не кабинет! Никаких, упаси Боже, этих унылых столов для заседаний, ни пузатых сейфов по углам, ни всяких там географических карт или портретов по стенам — ничего. На кой черт это все кому нужно? Паркет мореного дуба, голубоватый китайский ковер на полу от самой двери, большой кожаный диван, покойные, тоже кожаные, кресла вокруг низенького столика... А столик, естественно, антиквариат! А на столике серебряная сигаретница, серебряная же зажигалка, три крохотные фарфоровые пепельницы — прикоснуться к ним и то удовольствие. Ну, конечно же, и большой письменный стол, его стол — это обязательно, это нужно. А с ним рядом столик с телефонной и всякой другой аппаратурой, к письменному же столу приставлен еще и другой стол, под орех, на двух — максимум на трех человек, не больше. А зачем больше?

Больше и не нужно. Не собрания же акционеров ему у себя в кабинете устраивать. Если какие серьезные гости — то, пожалуйста, вот диван, вот кресла, располагайтесь, как вам удобнее. Что желаете? Кофе, чай? Или виски? Или, может, коньяк? А если из своих кто пришел по делу — так давай, садись сюда поближе, за приставной стол: так и ты рядом, и я от тебя не далеко.

А в углу кабинета — старинные напольные часы с боем. Бьют не часто, через час, но зато важно так бьют, заслушаешься! Глухим басом, с хрипотцой... А на стенах — авангард. Но хороший авангард! Глаз, по крайней мере, не дерет. И не много его: две всего картины на стене напротив окон и еще одна у него над головой... И вот что удивительно: хороший-то авангард, оказывается, прекрасно подходит ко всему. И к старинным часам в углу подходит, и к антикварному столику у кресел, и к белым, волнистым шторам на окнах тоже подходит.

А все-таки как по-иному все заиграло, когда пионы тут встали! А? Красота! Блеск! Парадиз, одним словом, Константин Алексеич... Чистый, можно сказать, парадиз...

— Ты где это пропадаешь, Константин? Позвонили бы хоть, ваше степенство! — ворвался в кабинет его заместитель, вице-президент «Проминвеста», лишь только Мамонов-младший успел расположиться у себя за столом. — Барин! У нас же с тобой ланч на «Кропоткинской, 36» с австрийцами. В час тридцать... А сейчас уже четверть двенадцатого...

— Ну, и что?

— Что значит — что? А то, что еще бумаг тебе чертову прорву надо подписать! И другие еще дела есть...

— Ладно, не дергайся, Фарид. Успеем, подпишем. Время еще есть... Форс-мажорные обстоятельства, старик! Надо ж было хоть в себя немного прийти. Прежде чем с тобой дела начать обсуждать...

— Какие там обстоятельства! Знаем мы твои эти обстоятельства. Опять, небось у какой-нибудь бабы заночевал... Смотри, президент! Погубят тебя когда-нибудь твои бабы... Тоже, нашел — форс-мажорные обстоятельства! Когда нас с тобой объявят банкротами — думаешь, хоть одна такая тогда вспомнит про тебя? И про твои эти обстоятельства?

— Сплюнь, Фарид... Сплюнь через плечо, говорю! Это я насчет банкротства... И не каркай! Не объявят нас с тобой банкротами. Прежде чем ты и я обанкротимся — вся Москва по миру пойдет с протянутой рукой... Чего ты каркаешь?

Обанкротиться сегодня может только совсем уж идиот... У тебя что, дела плохо идут? Денег мало?

— Да нет, не жалуясь, шеф! Кое-что вроде бы пока есть...

— Ну, так что ты тут тогда раскаркался? И других пугаешь? А если страшно... Давай, если страшно, валяй — дорога известная! Где теперь на татар самый спрос? В Турции? На Кипре?

— Мне лично больше нравится Вена. Или, на худой конец, Стокгольм.

— А в Штаты? В Штаты боишься?

— Ничего я не боюсь, Костя! Чего ты пристал? Отстань, мне и здесь пока неплохо... А ругаюсь я потому, что действительно встревожился: что мне, одному с этим австрийцами разговаривать? Ты им нужен теперь, не я. Я свое дело сделал...

— Много их?

— Трое.

— Это те, нефтяники?

— Нефтяники. Точнее, переработчики. А еще точнее — посредники, консалтинговая фирма. Но за ними очень серьезные люди стоят... Да ты бы хоть справку про них прочел, лентяй! Вот же она у тебя на столе в папке лежит...

Нет, что ни говори, а повезло ему, Мамонову-младшему, с партнером... У, Чингиз-хан! Татарские твои глаза... Надо же, рожа до чего разбойничья! Попробуй, скажи кто про такого — кандидат физико-математических наук. И не поверит никто... Нет, правда, здорово повезло ему с партнером! С того самого первого дня, когда они с ним то ли сдуру, то ли с отчаяния, а может и по наитию откуда-то свыше решились с головой нырнуть в бизнес. И это еще было тогда, когда все вокруг смотрели на них, как на сумасшедших! Когда никто еще не верил, что это все всерьез, не просто новый какой выверт большевиков. И когда еще ни опыта у них с Фаридом не было, ни денег никаких в кармане — одни мозги.

Мозги да еще азарт! Да еще доверие друг к другу... Сговорились они тогда с ним, с Фаридом, подбили еще кое-кого у себя в отделе, в Вычислительном Центре, продали на сторону две компьютерных программы, которые сами же и придумали... Что называется, из рук в руки продали, живьем... А на рубли купили доллары у фарцовни! Прямо на улице купили. Смех! Вертели головой, оглядывались, прятались в какие-то подворотни: а вдруг застукают, а вдруг заме-

тут? Милиция заметет или КГБ. Или сама же эта шпана ножик к боку приставит, отнимут все, что у тебя есть... А доллары эти со своим человеком тут же, естественно, за кордон, а на них купили три простеньких компьютера, а эти три компьютера — тут же потом в свой родной совковый комиссионный магазин, а на вырученное опять купили доллары, а эти доллары, конечно, опять на другой же день за кордон... И пошло-поехало! Прямо по экспоненте! Да такой крутой, что только дух захватывало: каждая операция — на порядок выше, чем предыдущая. И сразу же нули, нули — длинный ряд нулей! Одни нули. А впереди нулей еще одна цифирка стоит. И значит эта цифирка — миллион! Пять миллионов! Десять! Сто! Ну, конечно, сначала-то в рублях...

А потом, после компьютеров, уже и все в дело пошло. Все, что ни подворачивалось под руку: вторсырье — так вторсырье, бумага — так бумага, мазут — так мазут, колготки — так колготки, свиная тушенка — давай свиную тушенку! А медный кабель чем плох? Давай и медный кабель, только оформить его надо по-умному, на него ж запрет... И, конечно, те же компьютеры, факсы, ксероксы, радиотелефоны — все! И уже не только на свои, на нажитые, но и банковский кредит образовался. Солидный кредит! И брокерское место на бирже купили, да не на одной, а сразу на трех. И филиалы в девяти областных городах открыли. И свои представительства за бугром: в Вене, Будапеште, Брюсселе. В Сеуле открыли! А сейчас и в Нью-Йорке вот-вот откроются... Но теперь уже и чистый экспорт — импорт не главное. Главное — инвестиции. Перспектива! Холдинг «Проминвест». Поле деятельности: Москва, Калуга, Тюмень, Бишкек, Сеул, Нью-Йорк, а далее... А далее везде! Спрут. Транснациональный гигант. И это просьба отметить, всего за четыре года. Да нет, даже меньше — за три.

Ну, а уж как это все удалось «обустроить» в нашем благословенном государстве — об этом лучше и не спрашивать... Какую только сволочь ни пришлось обхаживать! Кому только ни давать, кого только ни убажывать... Ох, сколько денег все это стоило и стоит! А сколько водки пришлось выпить, черт знает с кем — мама родная! А ничего — прорвались... А сделали это все два обыкновенных выпускника мехмата МГУ — младший научный сотрудник одного Вычислительного Центра Константин Алексеевич Мамонов, двадцати семи лет отроду, и его товарищ, его правая рука Фарид Ахмедович Сефиуллин, кандидат физматнаук, сотрудник того же самого Центра. А лет ему, Фариду Ахмедовичу,

тоже, между прочим, всего лишь тридцать. И тоже, кстати, ни жены, ни детей, тоже готов с утра до утра здесь и пить, и есть, и ночевать... И ночевал бы! Если бы от этого для дела был хоть какой-то прок.

Одна беда: никак его от студенческих замашек не удается отучить. А пора бы... Ну, что это такое, право — все в водолазке да водолазке. И джинсы! Как в общежитии, на Воробьевых горах... Жарко же уже, Фарид! Даже если это все и чистый хлопок — все равно жарко. Вон, уже и взмок! А всего-то только двенадцатый час... Нет, Фарид Ахмедович! Придется на Правлении вынести специальное решение: вице-президенту концерна Фариду Сефиуллину пошить за счет фирмы двубортный английский костюм и впредь ему в водолазках не ходить, а ходить в рубашках с галстуком и с булавкой. И с запонками! Ну, на худой конец, если уж так хочется, можно и с короткими рукавами. Но тоже чтоб под галстук! И подтяжки чтоб себе купил. Как у людей... Куда это годится, в самом деле? Флотская бляха на пузе! Да еще надраянная так, что смотреть невозможно. Зубным порошком, что ли, драил? Или кирпичем? Бизнесмен! Боцман ты, Фарид, боцман с портового буксира. Как был боцман, так и остался им... Казанская флотилия! Даром, что кандидат наук. И даром, что миллионами ворочаешь... А вот трубка, Фарид — это да, это уже класс! Это правильно. И табак хороший — запах какой, а? «Кэпстен», небось? Или «Три монахини»? Только держишь ты ее, трубку-то, в зубах все равно, как какой-нибудь пират. Тебе бы еще черную повязку на один глаз да старый носок на голову...

Стоп, Константин Алексеич! А вы-то, уважаемый президент, сегодня в чем? Куртка ваша, конечно, блеск. Но ведь тоже непорядок! Правда, есть, конечно, смягчающие обстоятельства... Но все-таки с этим тоже надо кончать! И на переговорах, и на бирже, и в банках теперь на таких, как ты, косятся. Время босяков прошло. Дескать, все люди как люди, а этот-то ухарь откуда выискался? Нет, денег, ему, братцы, не давать. Опасно ему давать! Мало ли чего можно ждать от таких-то молодцов... Подумаешь — миллионы! Да у кого этих миллионов теперь нет!

— Ну, хорошо... Папку эту я, Фарид, естественно, посмотрю. Прежде чем мы с тобой на ланч поедем... Как, кстати, поедем? Я сегодня, учти, безлошадный... На твоей? Или пешком пройдемся по Гоголевскому? Прогуляемся, а? Ах, благодать на улице, Фарид... Тепло, зелено, хорошо...

— Как это пешком, Костя? Ты что? Да туда идти от нас с полчаса, не меньше... Время дорого, шеф! И на моей тоже не поедет, не солидно. Вели «Мерседес» запрячь. На кой хрен мы его тогда держим?... Еще раз говорю тебе, Костя: с очень серьезными людьми встречаемся. Очень, понимаешь? Большими деньгами пахнет! Прошу тебя — серьезно отнись...

— Ладно! «Мерседес» так «Мерседес». Тебе виднее. Твоя клиентура... Хорошо, Фарид. Давай о делах.

— Сначала счета подпиши. И вот этот телекс. И вот тут два факса еще. А потом и о делах поговорим...

— Ты сам-то это все смотрел?

— Конечно, смотрел! Ты что, Костя? Когда это я тебе не глядя что подсовывал? Обижаешь, шеф!

— Прости, старик... Это я по глупости спросил. Не со зла... Так... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Президент К. Мамонов. Эка куда закорюка заехала!.. Хорошо. Все?

— Все.

— Ну? Так какие у нас с тобой на сегодня дела?

— Дела, значит, шеф, следующие... Во-первых, полпервого сюда приедет одна сволочь. Из префектуры. И надо тебе эту сволочь принять. Принять и обласкать... Нет-нет, Костя! Только уважение оказать. Паблик рилейшэнс. Остальное все уже сделано. Вернее, все уже договорено...

— Это насчет аренды?

— Вот именно. Насчет ее. Насчет аренды нашего особняка... Знаешь, сколько они, мерзавцы, сначала заломили? В двадцать раз больше прошлогоднего! Ты понимаешь? В двадцать раз! Инфляция, видите ли... А ты говоришь, я татарин, я разбойник. Вот где, Костя, разбойники! Что там мы с тобой... Э-эх! «Едут с товарами в ночь из Касимова муромским лесом купцы...» А их кистенем из-за сосны — хрясь! А товары их шась — и айда! Ищи ветра в поле...

— Ладно, Фарид, дорогой. Все это лирика... На чем в итоге сговорились?

— А сговорились в итоге на том, что арендная плата повышается в пять раз. А этим гадам из префектуры всем по телевизору и по видеомагнитофону. Естественно, только чтобы японские, других они не берут. А пахану их конверт из рук в руки. Этот уже всякой аппаратуры вдосталь наглотался. Ему живые доллары нужны.

— О'кей... А зачем тогда мне-то с этим твоим прохвостом встречаться? А, Фарид? Может, ну его к такой-то матери? Получил свое — и отвали.

— Надо, Костя! Надо, друг. Нам еще с ними, чую, долго придется жить... Ничего, не убудет тебя! Нальешь ему вискаря, побалакаешь с ним о том о сем... Да, по-моему, у него к тебе и еще какая-то просьба есть. Что-то насчет благотворительности... Нет, Костя, плохо ты их знаешь. Как бы не так! Получил свое — и отвали... Ты бы посмотрел на него. Клещ! Одно слово — клещ. До того уж крови напился, что, того и гляди, прямо лопнет у тебя на глазах. Посинел уже! А он все сосет, сосет, остановиться не может...

— А хрен с ним, Фарид! Мало ли мы с тобой на эту сволочь денег извели... Подожди, вот развернемся по-настоящему. Всех клещей тогда с шеи страхнем...

— Эту-то мелочь, конечно, страхнем... Да боюсь, Костя, новые тогда найдутся! Пострашнее этих... Не клещи уже будут. Вурдалаки!

— Не страшай, Фарид! Не страшай. Ты чего это сегодня раскудахтался? Кого страшашь? Меня? Или себя? Так оба мы с тобой уже пуганные. Чего нас-то еще страшать? Ведь все равно уже из дела не уйдем. Ни ты, ни я... По крайней мере, пока нас с тобой не поставят к стенке. Или толпа на куски не разорвет...

— Ну, уж дудки! Этого они от меня не дождутся. И от тебя, уверен, не дождутся... Если что-то сразу в самолет! И на Гавайские острова...

— Ладно, Фарид... Опять лирика. Так мы с тобой до вечера не кончим... Что еще?

— Еще? Хорошо. Чтобы уж разом покончить с неприятными делами... Еще рэкет, Костя! Все никак не отстанут, сукины дети. Опять приходили вчера. После тебя, ты уже ушел... Тихие приходили, ласковые...

— Ну, и что? Чего хотели?

— Давайте, говорят, дружить. У нас, говорят, тоже деньги есть, мы тоже в дело хотим...

— Пугали?

— Нет, говорю тебе — ласковые! И послали-то кого... Не громили, не качка какого-нибудь послали. А двух интеллигентных молодых людей. Один даже в очках... Смирно сидели. Чай-кофе пили, «Данхилл» курили — свои, заметь. От коньяка отказались...

— А конкретно — что предлагают?

— Ну, я же сказал — в дело просятся войти. Деньги предлагают. Деньги им надо отмыть... Видно, и им уже надоело пистолетом-то на хлеб себе добывать. И они в люди выходят, Костя! Им тоже респект теперь нужен...

— Много предлагают?

— А сколько, говорят, возьмете, столько и дадим... Сколько, значит, мы с тобой в состоянии освоить. А за ними, мол, дело не станет...

— Так... А что еще предлагают?

— А еще, говорят, для спокойствия хорошо бы нам охрану усилить. Чтоб уж стопроцентная гарантия была от всяких неожиданностей. И от других каких лихих людей... Одним словом, просят двоих-троих их ребят сюда в охрану взять.

— Контролерами, значит? Чтоб свой глаз в деле был?

— Ну, конечно! А зачем же еще им, по-твоему? Что им, зарплата охранника нужна? Или вон швейцара у нас тут у дверей?

— Ну, черти... Ну черти настырные! Я уж думал, они отстали от нас. Что мы им теперь уже не по зубам...

— Как же, жди, отстанут они, Костя! Ты думал, бронзовую дощечку у дверей приколотил — и все, и все дела? И уже обеспечил себе экстерриториальность? Конечно, они знают, что мы с тобой уже тоже не лопухи, что у нас тоже своя служба безопасности есть. Слава Аллаху, кое-чему все же и мы научились за эти годы... А все-таки в Москве ведь живете, ваше степенство! Не где-нибудь еще. Не на Гавайских островах...

— Дались тебе эти острова, Фарид! Еще, гляди, и, правда, туда смоешься... Ну? Ну, так и что? Что будем делать, Фарид?

— Первое слово твое, шеф. Я уж после тебя выскажусь... Мое дело тебе сказать. А ты мозгуй.

— Мое? Ну, тогда... Тогда, значит, так... По первой прикидке, Фарид, думаю, не стоит нам с тобой с ними ссориться. Ты прав — в Москве живем. Лучше бы миром. А на ножах схватиться всегда успеем... Я думаю, Фарид, деньги у них надо все-таки взять. Немного, но взять. Для пробы, так сказать. И вложить в одно из наших малых предприятий. Не самое прибыльное, конечно. Чтобы у них жадность не выграла. А, так сказать, с нормальной скоростью оборота, чтобы доход, конечно, был, но не так, чтобы — ах!.. А насчет охраны... А насчет охраны — хрен им! Никаким тут соглядатаям ихним не бывать. И на этом стоять твердо. А начнут, угрожать... Что ж! Придется тогда, старик, мобилизовать и наши резервы. Думаю, любую теперь осаду мы с тобой выдержим... Кишка у них тонка, чтобы нас с тобой достать! Да, уверен, они это и сами понимают. Так, на понт берут! А вдруг что-нибудь им и тут обломится?

— Ах, Костя! Ах, голова! Право слово, голова... Ты почти такая же голова, как Фарид Сефиуллин. Я тебе ведь то же самое хотел предложить... Но только чур! Обещай мне, если дело пойдет все-таки на скандал, что шляться по городу просто так, без охраны, ты больше не будешь. По крайней мере, пока мы их не скрутим... Обещаешь? А, шеф?

— Ладно! Для твоего спокойствия — дашь мне тогда газовый пистолет.

— Нет, Костя! Ты все-таки неисправимый фраер... Газовым пистолетом тогда, брат, не обойдешься! Это теперь для барышень в кринолинах — газовый-то пистолет... Нет, Костя, тогда уж не брыкайся. Тогда уж, как у людей: круглосуточная охрана, куда бы тебя ни понесло.

— А сам-то? А сам-то ты как, Фарид? Что-то я ни разу никакого Калашникова при тебе не видел.

— Я, Костя, прости, не ты. Я другое дело... Нет, серьезно, не обижайся! Я не хвастаюсь. Я просто констатирую... Я, Костя, как-никак бывший боцман. Краснознаменный Черноморский флот! Да к тому же еще и мастер спорта по вольной борьбе. Если надо, я с одной вот бляхой от трех-четыре человек могу отбиться. А то и больше... Э, да о чем мы с тобой говорим! Это ж все-таки не чечня! Не цветочный рынок делим. И не наркотики. И не кому рулеткой заведовать, кому московскими шлюхами торговать... Обойдется! Им тоже лишний шум не нужен. Найдем общий язык.

— Ну, хорошо, Фарид... Все печали, печали... А хорошие-то дела у нас с тобой сегодня есть? Или нет? Или все префектура да рэкет? Когда, кстати, этот твой прохвост из префектуры придет?

— Минут через пятнадцать — двадцать должен быть здесь.

— Ну, тогда давай в телеграфном стиле... Что там у нас еще?

— Еще два серьезных предложения, Костя. И оба, считаю, вполне заслуживают внимания.

— А именно?

— Первое: предлагают в Вологде лесопильный завод купить. А фактически, считай, вместе с ним и весь леспромхоз. Естественно, на паях с местными людьми.

— По твоему, стоящее дело?

— Более чем стоящее, шеф. Клондайк! Золотое дно... Конечно, нужна полная реконструкция завода. Они там, сволочи, черт знает, до какого состояния его довели. Лежит, счи-

тай, завод.... Алкаши несчастные! Все пропили. Всю Россию пропили, мать их так... А если по-умному, Костя.... Ну, не тебе мне говорить...

— Хорошо... Что у нас сегодня? Среда? Закажи на воскресенье на вечер билеты. Давай съездим, посмотрим... Сколько туда поездом — ночь? Или лучше полетим?

— Да нет, давай поездом. Туда, наверное, часов шесть-семь, вряд ли больше. Как раз к утру в понедельник и приедем...

— Хорошо. С этим решили... Что еще, Фарид?

— Еще некие «тюбетейки» из Ташкента хотят зафрахтовать наши самолеты. Все три. На два рейса... Урюк в Польшу перевезти.

— Оплата в рублях? Или в долларах?

— Они, конечно, хотели бы в рублях. Но, если нажать, можно и в долларах... Злотые, как знаешь, валюта теперь тоже конвертируемая.

— Хорошо. Когда им нужно?

— В октябре.

— А мы сами на октябрь ничего не планируем?

— Я поинтересовался. Вроде бы можно выкроить окно.

— Ну, тогда соглашайся... Только, если не в долларах, — курс рубля на день доставки товара в Польшу. День в день! Иначе пусть сразу платят зелеными... Идет? Что еще?

— Еще? Есть еще одно дело, Костя... Только, прошу, не улыбаться! Сначала вникни, а потом будешь улыбаться.

— А ты, старина, лучше без подходов. Я хоть и с похмелья, но кое-что все-таки еще соображаю.

— Как ты думаешь, Костя, сколько в Вене или в Стокгольме, в зоомагазине, стоит золотая рыбка? Вернее, малек золотой рыбки?

— Понятия не имею... А что?

— Полтора доллара, ваше степенство! Разумеется, при оптовой поставке.

— Ну, и что?

— А то, что у нас на Птичьем рынке этот малек стоит всего от силу десятку. Ну, может, сейчас уже пятнадцать.

— Следовательно?

— Следовательно, на каждой такой рыбке прибыль тысяча — полторы тысячи процентов! И я в свою последнюю поездку и в Вене, и в Стокгольме уже обо всем договорился. Транспортировка самолетами, в контейнерах с кислородной подкачкой. Доход от сделки с учетом всех возможных расходов — примерно миллион долларов живьем. Предла-

гаю тебе повернуть все это дело мимо нашего «Проминвеста». Как личную нашу с тобой операцию. Доход, естественно, пополам... Надо и о внуках подумать, Костя! По полмиллиону зелененьких наличными ни мне, ни тебе сейчас, ох, как не повредят...

— Не повредят, Фарид. Это ты верно — не повредят... Нет, ты все-таки гений, старик! Гений! Я всегда говорил, Фарид, что ты великий человек... Черт! Надо же — придумал. Золотые рыбки! И откуда только это в твоей татарской голове взялось?

— А я, Костя, всю жизнь, с малолетства, у себя на кухне аквариум держал... А тут иду по Вене, по Рингу, смотрю по сторонам, на витрины — и вдруг, понимаешь, осенило! Да вот же они, живые доллары, за окном в аквариуме плавают, хвостами шевелят... Ну, а остальное все уже, сам понимаешь, дело техники...

— И все-таки.... И все-таки, Фарид, прости. Что-то мне в твоей идее жмет. Определенно жмет... «Проминвест» ведь! К нефти подбираемся, к нефтепереработке, лесом вон занялись, «высокой технологией» торгуем, в оборонку лезем, в конверсию... В банковское дело встряли... И нате вам! Золотые рыбки! Я понимаю, если бы мы с тобой только начинали...

— Костя, извини, но ты сейчас городишь чушь. Форменную чушь! Ты действительно фраер... Сколько ты еще будешь ждать, пока и нефть, и лес, и твоя оборонка начнут давать настоящий доход? Годы надо работать, годы надо ждать. А тут максимум за две-три недели — миллион... Наш с тобой, личный миллион! И законный, учти, чистый миллион! Ты что, сдурел? Упускать такую возможность? Да после такого дела нам с тобой что на большевиков, что на демократов — на всех начхать! Хрен нас с тобой после этого кто достанет... Тебе нужны гарантии в жизни или нет? Личные гарантии? Или ты такой смелый, такой везучий, что ты и без них обойдешься?

— Хорошо! Хорошо, Фарид. Не шуми. Считай, старик, что уговорил... Ах ты, черт! Полпервого. Наверное, этот твой кровосос из префектуры уже ждет. Ладно! Если он там, за дверью — зови его... Но про этих твоих рыбок мы еще поговорим! После поговорим... А все-таки еще раз скажу тебе, Фарид: ты великий человек! Еще одна-две таких твоих гениальных идеи — и пора, старик, мне в отставку. Так что готовься — быть тебе скоро президентом концерна «Проминвест»... Нет, надо же! Золотые рыбки. Душераздирающее

зрелище! Дураков и слабонервных просят и близко не подходить...

Удовлетворенно хмыкнув, Фарид встал из-за стола и вышел, еще и подмигнув ему напоследок: мол, знай, брат, наших! Что бы ты без меня делал, лопух?

А действительно — что бы он без него делал? Без его, Фариды, энергии, изворотливости, хватки в делах, без его понимания людей? Без его этой грубоватой, но трогательной опеки над ним, интеллигентом, маменькиным сынком, за которым нужен глаз да глаз, а то, не дай Бог, еще выкинет что-нибудь эдакое, чистоплюй? Наконец, без его воистину собачьего чутья на деньги — где они лежат и как их оттуда без особого риска взять?

Да и не такой уж он, по правде говоря, разбойник, если, конечно, посмотреть на него непредвзятыми глазами... А что? Строен, крепок, мышцы по всему телу буграми, талия осиная, глаза жгучие, волосы, как смоль. И чего это девки на него, на Мамонова-младшего, всегда заглядываются, когда рядом с ними таких выдающихся статей мужик? Дуры они все! Сами не знают, чего им надо. Такой уж если трахнет — слезами от счастья изойдешь, подушку изгрызешь, криком будешь кричать: еще, еще! А им все сопли подавай... Ну, правда, если эту рожу с перебитым носом встретишь ночью где-нибудь в подворотне, да еще с челкой на глаз; да если еще и прищурится — мороз по коже, душа в пятки! Это уж точно. Да только он, девоньки, давно уже ни в каких подворотнях не обретается. Либо в своей «девятке» по Москве по делам колесит, либо на Таганке в Коммерческом клубе ужинает при свечах с хорошими людьми, либо в бильярд где играет... Нет, дуры вы, девки, все. Такой мужик пропадает, такой мужик! Давно бы уж пора прибрать какой-нибудь его к рукам... Прибрать? Легко сказать — прибрать. Черта с два такого приберешь! Слишком разборчив. Шлюх презирает или, может, подцепить чего боится, а стоящие сами на него почему-то не клюют... Или клюют? Только никто об этом не знает, и он никому об этом ничего не говорит? Нет, все-таки, видать, не клюют. Иначе он не торчал бы здесь или в Коммерческом клубе всякий раз до ночи. И хоть бы раз да появился с кем-нибудь на людях. А он всегда, куда ни придет, один да один...

Дверь в кабинет приоткрылась, и в нее просунулось тщательно распушенная, вся в мелких рассыпающихся завитушках голова Регины.

— Константин Алексеич! К вам гости. Приглашать?

— Гости? Или гость?

— Гости. Из префектуры. Двое.

— Ну, что ж. Приглашай... Да, Регина, постой! Прикрой-ка, дорогая, за собой дверь... Сразу, как войдут, давай, неси кофе. И коньяк тоже неси. У меня со временем, понимаешь, плохо. Чем быстрее они уйдут, тем лучше... Если через полчаса не уберутся, зайди, сделай милость, скажи, что меня в банке ждут. Ну, в общем, сама придумай, что по-убедительнее, не тебя учить.

— О-кей, шеф! Ровно в час, если не уйдут, включаю сигнал пожарной тревоги... Это, думаю, поубедительнее будет, чем банк?

Ага... Так... Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! Прошу садиться, благодарю за честь... Ну, этот-то ясно! Этот крови уже насосался. Этого Фарид правильно определил: клещ — он и есть клещ. Ишь, пухленький какой, щечки-то какие румяные! Галстучек, ботиночки итальянские, костюмчик легонький, без подкладки — все чин чинарем. Благодарный весь, улыбчивый, прямо лоснится от удовольствия... Как же! Их теперь время, они теперь власть. Старые-то попили-поели, попользовались — ату их всех! Вон! Теперь наш черед... У, морда бесстыжая... И как ни в чем ни бывало! Ведь знает, сукин кот, что я-то точно знаю, сколько он от нас уже взял. И еще возьмет... А ведь тоже, небось, демократ! Тоже, небось, до пупа себе рубаху на митингах рвал. Свобода, демократия, Сахаров, Солженицын! Долой большевиков! А у самого в глазах одно: где еще схватить, где еще что оторвать? Это? Давай это! И это тоже? И это давай! Все теперь наше! Все давай. Гуляй, братва! Грабь награбленное! Одна живем...

А вот барышня с ним какая-то странная... Правда, необычная какая-то барышня. Что-то уж больно не похожа на нынешних этих лахудр. Таких вроде бы в префектурах нынче не держат! Не должны держать... Там теперь другие барышни сидят, там на других спрос. На какую такую ни взглянь — оскал, как у волка! Да краска во весь рот, да взгляд, леденящий душу до самых до печенок, да когти ведьмины, длиннющие, из-под кружев. Так и чудится: как вцепится такая тебе в загривок, вонзится когтищами в шкуру, в мясо твое — ну, и конец тебе пришел! Пиши пропало. Лучше уж сразу лапки кверху: пощади, голубушка! Сдаюсь!.. И эффективные! Тьфу-ты, пропасть, какие эффективные. Черт знает, до чего они все теперь мобильные, до чего эффектив-

ные. Хуже мужиков... А эта какая-то другая! Нет, определенно другая. Чего-то, видимо, стесняется: платочек вон вытащила, сидит, комкает его в руках. Волосы — хорошие волосы! — поправляет, по сторонам оглядывается, озирается...

А если приглядеться — красивая барышня! Ну, может, и не красивая, а что-то в ней, что ни говори, все-таки есть... И с ногами все у барышни в порядке, и порода в лице есть, и кожа на скулах, видно, мягкая, шелковистая... Сколько ей, интересно? Двадцать три — двадцать пять? Да, вряд ли больше, чем двадцать пять... А голова вот неуложенная! Вернее, может, и уложенная, но уж только не в парикмахерской. Сама с собой, видно, управляется, на парикмахерскую-то денег, конечно, нет... И одета не очень. Так, блузочка да кофтеночка, да и то, наверное, «Москошвей». Клипсы дешевенькие, перстенок штампованный на пальце... Но серьезная барышня! Ишь, насупилась... Да не бойся ты, глупая! Никто тебя здесь обижать не будет. Ну? Ну, подними глаза, улыбнись! А, улыбнулась! Не такая уж ты, видно, и бука. Да и я, как понимаешь, не Карабас-Барабас. Ни детей, ни барышень не ем... А все равно лицо грустное! Невеселое что-то лицо. Между прочим, интересно знать, кто он тебе, этот прохвост, что тебя с собой привел? Начальник? Друг? Любовник? Или все сразу вместе? Нет, судя по его роже, не похоже что-то, чтобы этот хоть что-нибудь пропустил мимо себя. Небось, не мытьем, так катаньем, а чем-нибудь и тебе дожал! Вплоть до угрозы увольнения — такого и на это станет... Ишь, мерзавец, каким гоголем сидит. Хозяин! А ты и глаз на него не решаешься поднять...

— Ну вот, Александр Петрович, значит, и познакомились! Давно бы, наверное, пора. А то все через третьи руки да через третьих лиц... А вы, Ирина... Извините, не разобрал как ваше отчество? Ирина...

— Ирина Викторовна... А лучше, Константин Алексеич, просто Ирина. Я, знаете, все еще ужасно пугаюсь, когда меня по отчеству зовут...

— Ага. Ирина, значит, Викторовна. Виноват, Ирина... А Ирина Викторовна тоже у вас, Александр Петрович, в префектуре? Она, прошу понять мое любопытство, нам с какой стороны начальник? Это я к тому, что если у нас теперь все такие начальники — тогда я префектуре первый друг! Если какая надобность, то вы тогда уж больше сами, Александр Петрович, не затрудняйтесь — сразу и посылайте ее...

— Нет, Константин Алексеич! Не угадали... А вот и не угадали! — хихикнув, радостно заерзал в кресле господин из

префектуры. — А насчет посылать ее, а не самому приходить — ловлю на слове, Константин Алексеич! Вы и сами не знаете, как вы в точку попали. Мы ведь к вам пришли в общем-то из-за нее, по ее делам. То есть, конечно, по нашим общим делам — и моим, и ее, и, надеюсь, вашим. Но приоритет в этих делах, конечно, ее... Ирина Викторовна — известный у нас в районе энтузиаст по социальным, так сказать, делам. Подвижник! Истинный подвижник. Заведует интернатом для умственно отсталых и физически неполноценных детей... Благороднейшее дело, Константин Алексеич! И запущенное дело! Так запущено, что, я вам скажу, волосы дыбом встают, когда столкнешься с этим, так сказать, вплотную... А денег в префектуре нет! Обнищали мы, как церковные крысы. Вот и побираемся по людям. Прямо скажу, Константин Алексеич: денег мы с Ириной Викторовной пришли просить. Фирма ваша богатая. Известная фирма! Миллионами ворочаете... Или я уже отстал? Или уже к миллиардам подобрался? Так неужели не найдется ничего на святое дело? Несчастливым детишкам отстегнуть, судьбой обиженным? А, Константин Алексеич?

— Эх, Александр Петрович, Александр Петрович! Рады бы! Да налоги. Налоги душат, будь они прокляты! Это только слава такая, что у нас денег куры не клюют... А на самом деле, как какая копейка лишняя завелась — сразу государство хватить ее, и в бюджет...

— Ну, Константин Алексеич! Не прибедняйтесь. Уж кому-кому, а вам-то грех жаловаться на жизнь. Один ваш «мерседес» чего стоит! Тот, что у подъезда вашего стоит... Ах, классная машина! Зверь, а не машина. Я ведь, Константин Алексеич, кое-что в этом смысле. Сам автомобилист... А детям-инвалидам нужно помочь, Константин Алексеич. И общественность, и префектура вас просят — надо помочь. Мы вас всегда всем в районе в пример ставили: самый наш, можно сказать, цивилизованный, самый культурный бизнесмен... А добрые дела, Константин Алексеич, никогда не забываются! Ни здесь, ни, говорят, на небесах...

Дверь в кабинет тихо, без стука отворилась. Держа перед собой поднос, вошла Регина: на подносе дымились три чашки с кофе и стояли три пустых пузатых бокала, а рядом с ними — бутылка коньяку... С достоинством, лишь качнув слегка бедрами, она разлила коньяк по бокалам. Но в то же время, как заметил Костя, успела и другое — успела быстрым, цепким оценивающим взглядом окинуть и Ирину, не пропустив, надо думать ничего: ни потрескавшие-

гося уже лака на туфлях, ни подозрительного узелка на колготках, на коленке, торчавшей из-под юбки, ни круглых пластмассовых клипс, купленных, вероятно, по дешевке у кого-нибудь на улице с рук. И что примечательно: и Ирина тоже успела перехватить этот короткий, острый, как бритва, взгляд. И тоже все поняла. И тоже, — и столь же незаметно, — успела шевельнуть презрительно плечом... О, бабы есть бабы! Всего один взгляд — и все сразу ясно и той, и другой. Кто есть кто, и кто где стоит на лестнице жизни, и кто она тебе — друг или отныне и уж навсегда заклятый враг, какие бы улыбки и кто бы ни расточал вокруг себя...

— Константин Алексеич! Прошу извинить, но из мэрии только что звонили. Просили подтвердить, что в час пятнадцать вас там ждут.

— Хорошо, Регина. Спасибо, я не забуду. Позвони им, что я точно подъеду... Ну... Ну, а конкретно, Ирина Викторовна... то есть, Ирина... А конкретно, чем мы можем вам помочь? Что, собственно говоря, от нас нужно?

— Нужно? Нужно, Константин Алексеич, все. Ничего нет... Просто погибаем, откровенно сказать... За что ни схватиться — ничего нет! Ни денег педагогам нет, ни детям на еду, ни медикаментов, ни игрушек, ни одежды, ни постельного белья — ничего... Либо совсем ничего, либо одна рвань... Обыкновенная швабра, обыкновенное помойное ведро — и то проблема! Знаете, я уже с утра до вечера только и делаю, что реву... Куда ни ткнусь — везде отказ. Рынок, говорят! Повздыхают, посочувствуют — и, как говорится, с Богом, гражданочка, освободите помещение... Александр Петрович вон все утешает меня, говорит, что надо потерпеть, как-то пережить эти тяжелые времена... Когда-нибудь, говорит, все наладится...

— Не когда-нибудь, а скоро! Говорю тебе, Ирина, скоро наладится... Не надо, не впадай в панику. Крепись! Не может государство бросить вас на произвол судьбы. Не может! А пока...

— А пока, Константин Алексеич, хожу вот по добрым людям с протянутой рукой. Кто что подаст... Но люди ведь разные, вы же знаете... Один богатый человек... очень, говорят, богатый... даже целую лекцию мне тут на днях прочел. О пользе эвтаназии. Самое, говорит, правильное, самое милосердное — запереть всех ваших уродов на полчаса в газовую камеру. И людям, говорит, будет легче. И им самим...

Так... А что, Ирина Викторовна? А что, как он прав, а? Этот ваш богатый человек? Ваш этот несостоявшийся спонсор... Уроды, говорите? Бр-р-р... Видел я этих уродов. И не только в кино... О, Господи! Хуже нет, наверное, на свете зрелища, чем они. Одного-то такого увидишь — завывать хочется, как псу на луну! А тут их целый дом, целый интернат... И как же ты сама, милая барышня, выносишь их? Как сама-то от ужаса вены себе не вскрыешь, в петлю не полезешь? Ведь с утра до вечера они, только они. Вот про что у тебя в первую очередь надо бы спросить! А не про то, сколько тебе денег нужно и на что... Господи! Если Ты есть... Ну, зачем Ты попустил такому на Земле быть? Зачем? Июнь на дворе, пионы вон на столе стоят, барышня такая милая рядом сидит, кофе пьет. А где-то эти ее несчастные уроды по полу ползают, слюни пускают, глаза бессмысленные таращат. А то и вовсе без ручек, без ножек, как колоды, лежат... Поймешь этого мужика, что про газовую-то камеру говорил. Может, и умом только, не сердцем, а поймешь... Правда, граждане, а? Решился бы кто на такую операцию, да сразу, да всех — может, благое бы дело сделал для людей? И прежде всего для самих же этих несчастных... Но как и кто это может сделать? Прежде чем такое сделать — вас, милая барышня, надо пристрелить. А не пристрелишь тебя — и до них не доберешься. Грудью, небось, если что, ляжешь, зверем завоешь, закричишь: через мой труп!

Нет, придется все-таки тебе, Константин Мамонов, хочешь не хочешь, а помогать. По крайней мере, до окончательного, так сказать, «решения» вопроса. А каким оно будет, то окончательное «решение» — кому это дано сегодня знать? Поживем, посмотрим, куда оно все завернет. Может быть, все-таки и мимо нее, газовой-то камеры, как-нибудь пронесет...

— Понятно, Ирина Викторовна! То есть, виноват, Ирина... Считайте, что в принципе мы договорились. Постараемся, чем можем, вам помочь... А свидетель, что мы договорились — вон, Александр Петрович! Он-то уж, не беспокойтесь, не даст нам забыть, если что... Ну, вы понимаете, конечно, я все-таки должен оговорить это все на Правлении. Но, думаю, особых возражений не будет... Только хотелось бы, Ирина, чтобы вы предварительно еще раз к нам зашли. Можно уже и без Александра Петровича. Нам с вами надо будет все же более конкретно прикинуть, что вам нужно. И что мы можем. А можем, мы, естественно, далеко не все... Скажем, так. В будущую среду, во второй половине дня —

идет? Только не забудьте, оставьте ваши координаты Реги-
не. Она вас найдет... Хорошо?

— Хорошо! Боюсь... Боюсь даже поверить, Константин
Алексеич, что все так хорошо!

— А вы не бойтесь! Не так уж у вас все это плохо получа-
ется... Вон, мало того, что сами пришли — еще и артилле-
рию такой убойной силы, как Александр Петрович, с собой
притащили. Как же вам после этого отказать... И так? За
успех нашего общего дела? Да вы не отказывайтесь, Ирина.
Хоть пригубите немного! Разве без этого у нас когда что сто-
ящее делалось на Руси?

Ну, вот... Ну, вот и ладно! Вот и ушли. Полчаса у вас в
распоряжении, Константин Алексеич, все-таки есть. Можно и эту справку про австрийцев без помех посмотре-
ть... А впрочем, чего ее смотреть? Проект в общих чертах
известен. Люди, уверяет Фарид, солидные. Мы, со своей
стороны, согласны. А имена их, австрийцев, все равно не
запомнишь, все равно придется усваивать на ходу... Но
кабы дело было только в нашей согласии, господи! Кабы
только в нем... Дело, дорогие наши австрийские друзья, не
в нас. И вы сами прекрасно знаете, что не в нас. Дело в том,
чтобы взломать эту чудовищной толщины стену, которой
наши нефтепереработчики отгородились от всех, кто не
они. Кто не из их мафии... Монополизм, господи! Ужасаю-
щий, невероятный монополизм старых структур. Вам даже
и представить себе невозможно, какой монополизм... Нам-
то с вами легче легкого достигнуть согласия! И деньги
есть — и у вас, и у нас. И технология у вас есть. И людей мы
бы вам нашли. И проблемы перевода вашей доли в прибы-
лях не будет — при любых обстоятельствах нашли бы спо-
соб. А вот как эту стену проломить — вот в чем вопрос, гос-
пода! И этот вопрос, как вы понимаете, на «Кропоткин-
ской, 36» не решишь... Но мы работаем, господи. Работаем!
И, похоже, что не зря работаем. Есть надежды, есть сдвиги.
Подождите, дайте только срок... А золотые рыбки? Что ж,
что золотые рыбки. Не смейтесь, господи! Золотые
рыбки — это вам не нужно. А у нас пока еще волка ноги
кормят, Фарид прав. Придет еще, придет время, господи,
когда и мы тоже будем посмеиваться над золотыми рыба-
ми. Придет, не сомневайтесь... А потому придет, господи,
что теперь уже не большевикам, ни демократам, ни новому
какому генералу на белом коне без нас с Фаридом уже не
обойтись! Как бы они все там ни выкаблучивались, как бы
ни хапали, как бы ни пытались подмять под себя все —

впредь им уже без нас не обойтись... Все! Проехали! И назад, господа, дороги уже нет.

А девочка... А девочка, Константин Алексеич, славная! Милая девочка, ничего не скажешь. Только уж больно страшным делом занята. Бр-р-р, каким делом... Это вам, дорогой мой, не ваши эти шлюхи. Танцы-шманцы! По стакану — и скорей в койку давай. Чего зря время терять... Нет, а все-таки: кто он ей, этот клещ? Ясно теперь — не начальник. Тогда кто? Просто друг? Просто так, по доброте душевной помогает? Или все-таки любовник?.. Ох, ребятаки, натемнили вы тут! Благороднейшее дело, надо помочь, у префектуры ни копейки... Как бы не так! Держи карман. Об заклад бьюсь — любовник. И как любовник и помогает. Небось, выпросила, заплакала у него помочь. Такая сволочь разве за так что сделает? И пальцем не пошевелит! А покуражиться перед бабой, показать свою власть, показать какой он могучий — сделает. Вот она, небось, и зацепила его на этом... А самой тошно, а самой грустно! Тошно, небось, с таким подонком спать. Уверен, пять минут дела, а потом до утра рассказывает, какой он великий, какой он демократ. Тошно, да что поделаешь — приходится спать... Стоп, Константин Алексеич! А вам-то, честно говоря, что за дело, с кем эта барышня спит, а с кем нет? Вы-то тут причем? С кем надо, с тем и спит. Вам-то, дорогой, мой, соваться сюда уж никак ни к чему. Ваше дело простое: дать денег на интернат, на детей-инвалидов, и спасибо вам, и адью! Вас вон цветочница на углу на Арбате ждет не дождется... Это ваш размер! А грустные барышни, слава Богу, не про вас. Или, скажем так — пока не про вас...

Долго бы еще, наверное, он, Мамонов-младший, сидел так у себя в кабинете, уставившись в одну точку и перебирая в уме столь заинтересовавший его разговор с этим прилизанным господином из префектуры и его спутницей. Но... Но, прервав его раздумья, под окном кабинета вдруг раздались деликатный, приглушенный гудок их представительского «мерседеса»: дескать, карета, шеф, подана. Пора... Ну, что ж! Пора так пора. Что ты, Костя, право: чуть не всю жизнь свою собрался, сидя тут за столом, за пять минут решить... А там, между прочим, люди ждут! И не кого-нибудь — тебя ждут.

Часть вторая
«PLUS QUAM PERFECTUM»

ГЛАВА VI

Домой в этот вечер он, Мамонов-старший, вернулся поздно, за полночь, — Наталья Владимировна уже спала. Переодевшись в халат и пополоскав в ванной зубы, он — ох, день! Господи, надо же, чтоб такой день... — хотел было пройти в спальню и сразу лечь в постель. Но, только представив себе, как опять будет и час, и другой, и третий уговаривать себя заснуть, вытащил из холодильника бутылку водки, налил себе в половину тонкого стакана и, распечатав еще одну, наверное, уж третью за день, пачку сигарет, уселся на кухне, за покрытым клеенкой кухонным столом.

Одним, по крайней мере, эти полчаса-час ночью на кухне, когда он в одиночестве сидел так, курил и смотрел во двор, в окно, неизменно были хороши: были хороши они полной, абсолютной тишиной. Ну, может, вода пробежит откуда-то сверху по трубам, или там сбоку, у соседей, на минутку кто откроет кран, ну, может быть, еще далеко внизу, в подъезде, глухо стукнет когда входная дверь, пропуская кого-то, кто так же припозднился, как и он... А так — хорошо! Сиди, думай на свободе, перебирай свою жизнь — кто и чем помешает тебе?

Правда, как он стал с годами убеждаться, никакого реального проку от всех этих ночных его сидений и размышлений в общем-то не было: так только, мелькали в голове об-

рывки каких-то давних картин, чьи-то лица, какие-то тени от неясных, все время ускользающих, не ухватишь их, мыслей; признаться, всегда один лишь туман, да разные чужие голоса в ушах, да сожаления о чем-то, даже не поймешь, о чем. Да еще... Да еще тоска! Тоска «не от худа и не от добра», а так — от того, что повелел тебе Господь Бог жить на земле, а как и зачем, не объяснил. А может, и объяснил, да сам ты так никогда и не услышал Его...

Ну, хорошо — а что лучше? Лучше было бы сопеть, ворочаться, злиться, считать под одеялом в уме, сбиваясь, до сотни, до трехсот, до тысячи? Насильно сжимать веки, гнать, стиснув зубы, из головы все — всю дрянь, что за день накопилась в ней?.. Что? Снотворное, говорите? А ну его к черту! Лучше уж водка, чем снотворное. Все натуральный продукт... Впрочем, можно, наверное, попробовать и третий вариант. Как вчера. У отца-то там в папке много еще осталось чего... Но стакан мы все-таки возьмем! Никто нас с вами, Алексей Иванович, не поймет, если не возьмем, если перелить его обратно в бутылку. Святое дело! Раз налито — значит, так тому и быть... Ну, ваше здоровье, бывший ведущий обозреватель! Бывший? Да, Алексей Иванович, бывший. Бывший, чего уж там... Ух, зла, проклятая! Надо бы чем-то закусить. Что у нас тут есть? Печеньице? Ну, давай печеньице. А лучше всего, брат, сигарка, как всегда. Она-то лучше всего, что там ни говори...

Ну вот, вроде бы оно и полегчало... Теперь можно и в кабинет перебраться, и лампу настольную зажечь... А может, еще налить? А? Полстакана? Ну, что ж, ну, и нальем... А больше ни-ни! Больше, как отрубили... А то так и запить, Алексей Иванович, недолго. А тебе еще, по всему видать, много таких сидений предстоит... Теперь оно пойдет, повалится! Как лавина с горы. Посочувствуешь всем этим нашим мастодонтам, что теперь на лавочках сидят, семечки грызут, о былых заслугах своих вспоминают. Как же так? Был нужен, был нарасхват, был всюду на виду, а теперь он кто? Пенсионер. Обуза, балласт. Да еще и нищий пенсионер... Тебе-то еще ничего! Ты хоть перо в руках умеешь держать. Может, как-нибудь и приспособишься, приладишься к ней, к новой-то жизни. Рано тебе еще сдаваться! Живут же люди на вольных хлебах, с голоду не помирают... Нет, рано тебе еще, Алексей Иванович, сдаваться. Рано! Да и нельзя тебе сдаваться. У тебя, не забывая, дочери всего пять лет...

Так... А вот и она, папочка с тесемками... И готовальня «Рихтер», и цейссовский бинокль... И альбом с фотография-

ми... Потускнел альбомчик-то, потерялся! Не выдержал, значит, отечественный плюш испытания временем. Помню, был зеленый, а теперь уж даже и не скажешь какой...

Ну да, ну, конечно! Конечно же, на первом листе они — отец с матерью, еще без него, без Алексея. Только-только, наверное, поженились еще... Господи, какие же молодые! Невероятно... Какая же коса у мамы — до пояса, толстая, как жгут! А ресницы какие длинные — неужели свои были ресницы? Конечно, свои! Ты что, в самом деле? Тогда никаких этих глупостей не знали, тогда с чем родился на свет, с тем и живи... А отец-то какой худющий! Боже мой, какой худющий: щеки ввалились, кадык торчит... А глаза! Вот она где, смертельная-то тоска, Алексей Иванович. Что там все твои сегодняшние печали — чепуха одна, и больше ничего. Стыдись!.. А вот он у теодолита, загорелый, черный, как арап. И барханы сзади. Где-нибудь в Средней Азии, наверное, где же еще... А вот и я, наконец. Тьфу ты, пропасть, надо же, какой ангелочек! В матроске, в чулочках, головка эдак набок, ручки чинно так на коленках сложил. А глаза...

А глаза, брат, и у тебя тоже невеселые. Нет, определенно невеселые глаза... Что ж это значит — наследственное? Не успел еще толком на свет появиться — и уже загрустил? И так и прогрустил потом всю жизнь? Да, выходит, так. Выходит, прогрустил. А о чем? О чем, о чем... А черт его знает, о чем! Ни о чем. Так, суета сует да томление духа — это, кажется, еще царь Соломон говорил... Ведь не били же тебя, в цепи не ковали, в лагерях не сидел, на войне не воевал, с голоду не пух, руки-ноги целы — чего ж тебе еще? Отцу-то было отчего тосковать, у него все время, каждый день лагерь и смерть стояли за плечами — только оглянись. А тебе-то с чего? Вроде бы и не с чего. Как бабка Акулина твоя покойная сказала бы: «С жиру беситесь, мужики! Какого вам еще рожна надо? Живы — и слава те, Господи. Еще хуже нашего люди живут»...

Правда, подумаешь — цензура всю жизнь донимала! Подумаешь — полунищета! Подумаешь — за границу не пускали! Еще что? Ну, еще совсем уж пустяки: видишь ли, тебя ни разу не спросили, как Россией править — так или не так. Ну, спросили сейчас — ну, и что? Доволен? Услышали тебя? Хрен услышали... Ну, а еще что? Всю жизнь рыла звериные вокруг — что наверху, что внизу? Так они и сейчас вокруг, куда ж они денутся... Книжки нельзя было читать, какие хочешь? Ну, во-первых, можно было, если с умом. А во-вторых, много ль их было таких, какие надо было читать, а ты не мог? Как

выяснилось — немного. Можно сказать, всего-то ничего... Еще что? Прописка, надзор, телефон на подключке? КГБ, МВД? А что, в Швейцарии, к примеру, этого нет? Там не умеют к телефонам подключаться? Там своего КГБ нет? Другой разговор, что все это у нас всегда в каких-то самых дичайших, самых нечеловеческих формах. Так и шкура такая слоновья вряд ли еще у кого в мире есть, кроме как у нас. Поколение за поколением эту шкуру дубили. Притерпелись уже...

Нет, брат Алексей Иванович! Не от того у тебя с самого детства грусть в глазах. А от того, похоже, что вообще имел ты несчастье родиться на свет. От того, что, как и все, никогда не умел и до сих пор не умеешь радоваться не тому, что было или будет, а тому, что есть... Ну, вот, к примеру, эта фотография: мать герань поливает на подоконнике. Солнце в окно, занавески чистые, душистые, небось, недавно только выстиранные к празднику. И она такая спокойная, тихая! Улыбается чуть-чуть, думает там о чем-то о своем. И как это только отец ухитрился, щелкнул ее в такой момент... Вот чему надо было радоваться! Вот чему и сейчас надо радоваться, и завтра, и во веки веков — герань на подоконнике. И солнце. И мать ее поливает. Это жизнь. Это и есть она, жизнь! А не то, кто будет править Россией — эта сволочь или та... А вот еще Тата с Костькой в конверте на руках, у дверей роддома. И отец, уже с палкой, рядом. И мать. И я, как дурак, тут же стою, рот до ушей... О, Господи! Это-то куда ушло? Куда?!

Нет, господа! Врете. Врете вы все... Мы жили. И тогда мы жили! И еще как жили... Жили, жили, Алексей Иванович, — кто же спорит? Успокойся — жили. Хорошо жили! Только не забывай: пока вы жили, полстраны либо за колючей проволокой сидело, либо без паспортов, в крепостном состоянии, горе мыкало. А перед тем из-за усатого этого дьявола миллионов эдак сорок, а то и больше, ни за что ни про что головы сложили — либо от пули в затылок, либо на лесоповале, либо на войне. Да-да, и на войне! И война тоже, несомненно, его вина. Кабы не он, не тридцать седьмой год — хрен бы Гитлер тогда решился на такую авантюру. Так что и за это ему, усатому, отвечать на Страшном суде... Если он, конечно, будет когда-нибудь, тот Страшный суд...

Ах, Боже, Боже ты мой... Ничего-то я не понимаю! Ничего... Так как же: мы жили тогда или погибали? Да или нет? И как можно примирить в жизни, с одной стороны, герань, а с другой — колючую проволоку? Ведь и то — жизнь и то —

тоже жизнь. Моя жизнь! Скажи: герань, и забудь про колючую проволоку — вранье. Скажи про колючую проволоку и забудь про герань — тоже вранье. И разве я один сейчас так — не знаю: проклинать ли мне свое время, проклинать ли свою жизнь или молиться на нее? Минимум три поколения ушло в эту бездонную яму, в пропасть — миллионы людей, живших в страстях своих, и печалях, и радостях от самой колыбели и до гробовой доски... И что же, все они были всего лишь отрицательный исторический эксперимент? Навоз истории? Все они были на земле лишь за тем, чтобы доказать миру, как нехорошо начальству поступать так и как, напротив, хорошо поступать этак? Так? Я вас спрашиваю, господа — так, да?

* * *

«А знаешь, сын, мне, признаюсь, понравилось говорить с тобой так вот, вольно на бумаге, — начиналась другая толстая тетрадь, которую он, положив, наконец, на место альбом с фотографиями, вытащил из той же папки. — Так ты хоть выслушаешь меня, не убежишь, не дослушав, никуда: дескать, надоел ты, старик, со своими излияниями, извини, меня там поважнее твоего дела ждут. Это я, не думай, не в упрек тебе. А если и в упрек, то с сожалением, причем, заметь, не столько в свой, сколько в твой адрес. Что поделаешь — жизнь есть жизнь, молодость есть молодость! И все в этом мире вращается по кругу. Думаю, и ты доживешь до того времени, когда твой сын, а мой внук, будет так же вот отмахиваться от тебя, как от назойливой мухи. И ты тоже — сначала умом, а потом, может быть, и сердцем — простишь ему, как давно уже и я простил тебе.

Сказать тебе, о чем я, теперь уже глубокий старик с палкой, с седой бородой, больше всего думаю? Небось, решишь, что о близкой встрече моей с Богом? Нет, не об этом. Или о другом — о происхождении, о корнях той дьявольщины, что затащила нас всех в этот омут, в пучину, и либо вовсе погубила, либо напрочь исковеркала жизнь людей моего поколения, в том числе и мою? Да что мою! И твою тоже исковеркала. Ты же тоже вырос и живешь в сумасшедшем доме. И я лично не вижу никаких шансов на то, что, по крайней мере, твое поколение сумеет выбраться из него... Конечно, и об этом я думаю. Много думаю, не могу не думать! Но больше всего все-таки, скажу тебе, я думаю не о том.

А думаю я, сын, представь себе, чаще и дольше всего вот о чем: кто прав — тот, кто хочет, кто пытается, задыхаясь от благородства, спасти всех, или тот, кто спасает одного, наплевав на всех? Разумеется, спасает не себя (хотя и это тоже, между прочим, правомерно), а того кто рядом, кто поближе, до кого можно дотянуться рукой.

Скажешь, опять философствую? Конечно, философствую. Это всю жизнь было мое любимое занятие — философствовать, лежа на диване, если, конечно, этот диван у меня был. А сейчас он, слава Богу, у меня есть, и теперь уж, судя по всему, никому его у меня не отнять. И ты — ты же ведь тоже в некотором роде литератор! — должен, думаю, меня понять. Чем в конце концов уже больше, чем полтора столетия, занята вся эта твоя великая русская литература? Да даже еще раньше — начиная, скажем, с протопопы Аввакума? А занята она по существу тем же самым вопросом: кого спасти — всех или одного? Но одного — это, по-моему, только Пушкин у нас решил твердо сказать: да, одного. А остальные все шумели: всех, всех! Надо спасти всех! И Толстой шумел, и Достоевский шумел, и Лесков, и другие шумели: всех! Непременно, обязательно всех. Тотально всех! Всех, а не одного.

Два случая в моей жизни отчего-то особенно часто вспоминаются мне сейчас. Один — в тридцать четвертом году, второй — осенью сорок первого, когда меня призвали в Московское ополчение. Именно призвали — не слушай никого, кто тебе скажет иное: призвали по разнарядке, как и всех, хотя и броня у меня была, и возраст тоже был тогда уже непризывной.

Ты, сын, как ты знаешь, по происхождению со всех сторон потомственный мельник: и по отцу дед у тебя мельник (а я, не забывай, был хоть и не состоявшийся, но законный наследник его мельницы), и по матери дед у тебя тоже был мельник. Причем в большом, богатом селе под Данковым, на Дону, и мельница-то у него, говорили, была лучшая в том селе: я видел ее, вернее, ее развалины — уже много лет после войны мать твоя уговорила меня как-то съездить хоть под старость к ней на родину, попрощаться, посмотреть, что осталось от жилья их, от сада, от мельницы, от всего. Ничего, конечно, не осталось, одни лопухи... Господи, какая же это сволочь — большевики! Какая сволочь... Все развалили, все разрушили! Все. Хуже татар Мамаевых, ордынников поганых. Да добро бы хоть толк в этом был какой! Хоть бы смысл был... Шпана, шелупонь несчастная! Только бы раз-

валить, только бы уничтожить, только бы крови напиться — а там хоть трава не расти... Но это я так, я опять отвлекся. Что толку теперь сокрушаться? Прошло это все, и назад уже ничего никому не вернуть... А все-таки не я, сын, был всю жизнь сумасшедший! Нет, не я. Они.

Естественно, и другого деда твоего, Сергея Ефимыча, тоже раскулачили. И, тоже естественно, сослали в Котлас, как и всех, кто хоть немного был непохож на всю эту шпану, что разгулялась-размахнулась тогда по всей Руси. Правда, мать твоя и двое ее старших братьев, слава Богу, тогда под эту косу не попали: мать заканчивала в Москве медучилище, а братья после армии домой так и не вернулись, тоже оба осели в Москве. Один, Платон, пошел подручным вальцовщика на «Серп и молот», а Митя пристроился в какой-то артели, что-то там делал, кажется, ящики сколачивал, а больше, помню, по каким-то там торговым делам разными махинациями промышлял. Недаром он чуть не сразу же сел, да, на счастье его, быстро вышел — под какую-то очередную амнистию попал, как классово близкий элемент. Потом-то он, Митя, великим мастером стал по части где чего достать или прибрать к рукам, что плохо лежит. Большой был специалист по жизни! Ничего не скажешь — не чета мне, размазне.

А Сергей Ефимыч и бабка твоя Акулина Кондратьевна с тремя малолетними детьми — с Анютой, с Полей и совсем еще несмышленищем тогда Васяткой — так и отправились в телячьем вагоне напрямик под Котлас, в ссылку, на поселение. А вот как та станция называлась, где их тогда сгрузили, — не помню. Пока мать твоя была жива — помнил, а вот сейчас, когда пишу это все, — убей меня, забыл. Осинники, кажется... Нет, сын, забыл! А должен был бы, кажется, запомнить ее на всю жизнь. Многое она для меня значила и значит, эта станция. Не должен был бы я ее забывать...

А там, на этой станции, точнее, полустанке (одна избенка обходчика да разъезд, и больше нет ничего) выкинули их в поле, а вернее, свалили в болото, в грязь, гнусу на съедение, и сказали: живите, как знаете, да Бога молитесь, что хоть живы еще... Ну, дед Сергей был человек рукастый, сумел, приспособил чью-то брошенную баньку под жилье. Как-то прожили потом зиму, не замерзли, обустроились тем, что под руку подвернулось. Ничего, считай, не дали им взять из того, что было нажито: в чем были — в том и погнались, а тот топор дед каким-то образом исхитрился, сумел провезти с собой, не отобрали его у него. А уж как прокормил он семью в ту пер-

вую, самую страшную зиму там — об этом лучше и не спрашивать. Этого, сын, и я тебе не скажу, потому что и сам не могу себе представить, как. Сам-то я, наверное, просто лег бы тут же, у железнодорожной насыпи, и отдал бы поскорее Богу душу, чтобы зря не мучиться, даром, что тоже крестьянский сын... А он, дед Сергей, ничего! Как-то вот вывернулся — и себя, и своих спас.

А на следующую осень умер. Надорвался, значит. Жилы не выдержали. Там и похоронили его, у той баньки. До ближайшего-то погоста не нашлось никого, кому его нести. Да и то сказать: сколько их там было тогда таких...

И осталась бабка твоя Акулина Кондратьевна там в тайге, одна, да с тремя малолетними детьми на руках... Что ж! И Христа ради жила, и подворовывала, небось, где случится, и у чужих людей втихую батрачила за прокорм, и картошку, обливаясь слезами, сажала — одна-то, лопатой, поди, вскопай на четверых, да еще было бы чего сажать-то, да еще, Бог его знает, вырастет на этой земле что или нет. И грибы-ягоды в лесу собирала, и с себя, что успела прихватить, все выменяла либо продала... В общем, еще как-то почти два года продержалась. И сама жива осталась, и детей сохранила. А как лишь Ты про то, Господи, веши! И лишь Тебе судить про подвиг ее.

А писем от них за это время всего два только и пришло, ну может, три — точно не помню уже. Помню только: как мать твоя достанет эти листочки оттуда, из Котласа, с бабкиными каракулями — так и зальется слезами. И плачет, и плачет — не остановить. А я... А что я? Что я мог сделать, что я мог сказать ей? Зубами только мог скрежетать, да проклинать в душе это волчье племя — большевиков, да себя еще больше презирать, хоть и без всякой на то моей вины... Ну, утешал ее, конечно, как мог. Да что было толку от моих утешений? Мать ведь ее там погибает, и сестры, и брат, а отец так уж и погиб, и проститься с ним даже не пришлось.

А братья ее старшие когда к нам придут, да еще если подопьют немного — а как же без этого? — так и вовсе тогда вокруг не жизнь, а одна черная чернота. Только, бывало, и слышишь от них, от шурьев моих, а твоих дядьев, одно: «У, пададь! Ишак кавказский, гуталинщик, кишки бы, сволочь, выпустить тебе, кол бы осиновый тебе в глотку, мать твою и так, и эдак, разэдак твою растак...» Только, помню, и прошишь их: потише, ребята, в квартире-то еще восемь семей. Неровен час, всякие среди них люди есть...

И вот однажды сидели мы так все у нас на Таганке за столом, горевали, родню свою вспоминали. Да и выпили уже порядочно: Платон, помнится, даже и захмелел, прилег на диван, кажется, даже слегка уже и задремал. Зима, помню, была: январь, не то даже февраль тридцать четвертого года, снегу тогда, помню, навалило — ни пройти, ни проехать по Москве. Так это в Москве! А у них там, в тайге-то, как? Как она там, Акулина-то Кондратьевна? И детки ее малые? Живы ли они еще? Или уж и их на свете нет?

Ох, смышленные, сын, у тебя дядья были! Ох, смышленные... Я иногда думаю: хорошо бы ты в них пошел, не в меня, легче бы тебе тогда жилось. Вот уж им-то истинно было наплевать на все высокие материи! Да, боюсь, не в них ты, к сожалению, пошел — в меня. Тоже все в мировом масштабе... Ведь это он, Митя, стервец, фартовый парень, придумал тогда всю эту затею! Он придумал, не я. К стыду своему, сын, — не я.

— Иван! — толкнул он тогда вдруг меня в какой-то момент локтем за столом. — Ты куда в этом году в поле собираешься? Не знаешь еще?

— Не знаю, Митя. Куда пошлют, туда и поеду. А что?

— А в Котлас не можешь поехать?

— В Котлас? Не знаю, не думал... А зачем мне в Котлас? Чего я там не видел? Опять, как люди мучаются, смотреть? Хватит, Митя, насмотрелся. До того насмотрелся, что и смотреть-то больше не могу...

— Нет-нет, ты погодь, Иван! Ты меня послушай... Ты скажи, ты можешь так устроить, чтобы тебя в Котлас послали?

— Не знаю. Могу, наверное... Наверное, если поговорить кое с кем, то могу...

— А ты у нас как считаешься, Иван? Ты НКВД?

— Ну считай, что НКВД... Геодезисты моего профиля все сейчас под началом НКВД. Нас туда всех чохом перевели, мы вроде как вольнонаемные. Но начальство у нас — они.

— Значит, у тебя и ксива их есть?

— Чья?

— НКВД.

— На удостоверении написано: НКВД, Управление геодезии и картографии... Да тебе, Митяй, зачем? Что-то я тебя не пойму...

— Сейчас поймешь, не спеши... А рабочих, Иван, ты сам себе нанимаешь? На месте? Или из Москвы, кого дадут, того и везешь?

— Могу и сам. Или здесь, или на месте. Лучше на месте. Так дешевле обходится... Денег-то нам с гулькин нос дают. Экономят на всем.

— А сколько тебе полагается рабочих?

— Ну, двое. От силы трое.

— А повариха тебе полагается?

— Полагается. Но вообще-то это мое дело. Могу и без нее обходиться. А деньги ее кому-нибудь из рабочих доплачивать.

— Ага... А рабочим твоим какую-нибудь бумаженцию дают?

— Какую бумаженцию, Митяй?

— Ну, что он твой рабочий. Что он тоже НКВД.

— Справку, конечно, дают.

— С печатью?

— С печатью. Но если на месте, то еще и с печатью райисполкома. Для верности, так сказать.

— Так это же еще лучше, Иван! И поварихе такую справку дают?

— И ей... Да ты куда гнешь, Митяй? Тебе-то что — дают не дают?

— Иван, я вот тут, как перед Богом, перед тобой. И перед сестрой. И Платон вот тут... Крест святой, Иван... Давай наших вывезем оттуда, Иван? Давай, а?

— Митяй, ты что?! Ошалел? Как вывезем? Да за это же расстрел! Ну, может, не расстрел, так лет на десять точно загремишь.

— А может, и не загремишь, а, Иван? Где наша не пропадала! Давай, а, Иван? Что ж мы, так и будем сидеть, дожидаться, пока они там все перемерут?

— Давай, давай... Легко сказать — давай! Давай поедем, давай вывезем... А как вывезешь? Как? По тайге, что ли, пойдешь с малыми детьми? По железной дороге только и вывезешь... А там милиция, НКВД на каждом шагу. Настоящее НКВД, Митяй, — не я! Шаг вправо, шаг влево — считается побег... Вывезем! Как ты себе это представляешь? Как мы их вывезем? А?

— А так... Я уже, Иван, все обмозговал. Я не с бухты-бархты. Ты меня за дурака не держи... Кумекалка-то не у одного тебя есть. Мы тоже кое-что соображаем...

— Ну? Ну, и что ты накумекал?

— А вот смотри... Когда у вас сезон обычно начинается? В мае?

— В мае.

— Ну, вот... Сели мы, значит, с тобой в поезд. Москва—Котлас. Все чин-чином: билет с плацкартой, паспорта в кармане, ты инженер, я твой рабочий, в партии у тебя. Справку ты мне еще здесь сварганишь... Ты Мамонов, я Прокудин. Кому откуда знать, что ты мне зять? А я тебе шурин? А еще у тебя другая справка будет в кармане. Или там не месте выправишь. На Прокудину Акулину Кондратьевну, повариху твою. Плохо, правда, что с ней-то у нас одна фамилия... Да ничего, обойдется как-нибудь! Авось, Иван, обойдется... Проверять будут — заморочим, голову задурим! То да се, нанял, дескать, тут — всю семью в партию работать. Так, мол, гражданин начальник, надежнее. Так воровать да водку пить меньше будут...

— Митяй! Слышь, Митяй? Я поеду. Не ты, — неожиданно встрепенулся вдруг на диване Платон. Оказывается, он и не дремал, он слушал нас, только глаза немного от света прикрыл. — Ты еще для такого дела жидковат, Митяй. Я постарше. Мне веры больше...

— Не, Платон! Не. Ты сиди... Ты тут оставайся, у тебя семья. Да и Маша тоже вон одна останется... Ты их тут береги. В случае чего, не дай Господи, хоть один мужик в семье будет. Как-нибудь прокрутитесь тут без нас... А мне что? Я бобыль. Все мое при мне... А еще Гришку Фомичева возьмем, он нам брат двоюродный. Бедовый парень! С ним не пропадешь... Он поедет. Знаю, поедет! Не откажется. Ему тетка-то Акулина крестная. Она его всегда жалела.

— Ну, хорошо, Митя... Ну, допустим, приехали... Так ведь работать приехали, не гулять! А работать-то я с кем буду? Да еще неизвестно, в каком месте работать придется. Может, дадут участок черт знает где, может, за сотню верст от этих Осинников. А то и больше... Там ведь земля немерянная! От погоста до погоста неделю будешь идти — не дойдешь...

— Так мы же не сразу, Иван! Чудак-человек, мы же не так, чтобы приехали, сгребли наших в охапку — и тикать. Мы приедем, обживемся. Поглядим, прикинем там, что и как. Ну, и поработаем, конечно, знамо дело... Я-то, Иван, видал, что у таких, как ты, рабочие делают. Доводилось смотреть... Тебе что надо? Чтобы рейку кто тебе таскал? Так что, я или Гришка не сможем? Один таскает, а другой дело делает, обстановку выясняет...

— Ну, а потом?

— Ну, а потом, когда наладим все — ты оставайся, а мы привет! А начальству местному скажешь: вот пьянь-рвань,

сбежали, сукины дети, бросили меня тут одного. А дело государственное, не кончить нельзя! Так что давайте мне, граждане начальство, новую рабсилу. Да уж постарайтесь: не такую чтоб, как эта московская шпана. Ошибка, дескать, вышла, зря я их, выходит, в Москве нанял да сюда с собой вез... А еще лучше, граждане начальники, если подконвойных кого дадите. Эти-то уж точно не сбегут...

— Ладно, Митя... Ну, допустим — сбежали, уехали. В поезд сели. Котлас — Москва... А как ты себе представляешь: Акулина Кондратьевна, пусть и повариха моя, пусть и со справкой, все как полагается, — но с тремя детьми? Это-то, когда проверять начнут, как объяснишь?

— Ну, что ты... Ну, что ты заладил, Иван? Это как, то как... Откуда я, сидючи тут-то, знаю — как? Как-нибудь да объясним. Там на месте виднее будет, как... Малого-то и объяснять не надо. Он за мамкину юбку держится еще — куда она без него? А вот с девчонками, понятно, будет труднее... Да не может же быть, чтобы и с ними мы чего-нибудь там не придумали... Риск — благородное дело, Иван! В тюрьме так говорят: без риску фарта не бывает. А по-нашему, по-деревенскому: под лежачий камень вода не течет... Ну же, решайся, Иван! Решайся, а?

И что же ты думаешь, сын? Удалось! Представляешь? Удалось. Все, как по-писанному, удалось.

Но все ж таки и натерпелся я тогда страху там, я тебе скажу! До сих пор мороз по коже дерет, как вспомню... На каждом шагу заставы, на каждом шагу проверки, облавы, контроль — Бог ты мой! В кого ни плюнь — этот из органов, тот из органов... На вокзале облавы, на рынке облавы, в поездах — всю дорогу проверка документов: кто, откуда, зачем... А кругом слезы, голод, лохмотья, вздутые животы, проваленные рты — погибают люди! Да еще серые колонны под конвоем что ни день, да собаки по бокам их рвутся с поводков, хрипят, норовят клыками достать. А в колоннах все такие же горемыки, как Сергей Ефимыч, дед твой покойный, Царство ему небесное... Все они — соль земли! И у всех одно в глазах: за что? Господи, за что? Тайга, болота, гнус, смерть... Одна лишь она вокруг, сын — смерть. Лютая смерть: без покаяния, без причастия, без прощения, без креста на могиле! Даже и его не полагается тебе. Сдох — ну, и пес с тобой, туда тебе и дорога. Вона их еще сколько за тобой стоит, очереди своей ждут — никому их не счесть...

Конечно, сам понимаешь, нам здорово помогла моя ксива. Что ни говори — НКВД! Одно это слово, наверное, обеспечило половину успеха всему делу. Как кто возьмет мое удостоверение в руки или посмотрит на печать на справке у Митяя или у Гришки — так сразу другой разговор: этого не трожь, этот свой... Да, свой! Держи карман... Чтоб вы все сдохли! Тоже мне, нашлись свояки... Кажется, своими бы руками не побрезговал — задушил бы каждого вместе с вашим Паханом. Уж его-то, конечно, в первую бы очередь собственноручно задушил! И не верь ты, сын, никому, кто тебе сегодня талдычит другое: не было никогда никаких «За родину! За Сталина!» Даже на войне не было — это я тебе говорю, я-то окопов хлебнул, знаю, что кричат люди на войне. Не было этого! А был мат-перемат, да злоба на все, да страх лютый, животный за свою шкуру. Да тоска...

Нет, сын! Народ наш хоть и дурной, и шальный, и жестокий, и вороватый он, народ — все правда, все так! — но никогда он не был враг самому себе. Он только бессилен был перед этой чумой. Задурили ему большевики голову поначалу! Растерялся он, поверил было, что, может, и правда не брешут они, может, и правда справедливой жизни ищут. Ну, а уж после двадцать девятого-то года он уж доподлинно знал, что за сволочь свалилась на него. Знал, все знал, только уж ни рукой, ни ногой не в силах был пошевелить.

Но, наверное, даже больше, чем это мое удостоверение, помогло нам с Митяем и Гришкой то, что приехали мы в нашу в районную экспедицию в Котласе, так получилось, дня на три-четыре раньше, чем другие инженеры, то есть другие начальники партий. А раз раньше, то и рабочий участок я, естественно, мог выбрать себе сам. Ну, я и выбрал: не прямо эти Осинники, конечно, а чтобы не вызывать на всякий случай никаких лишних подозрений, квадрат километрах в тридцати от них и километрах в пятидесяти—шестидесяти от Котласа. Получился вроде как неправильный треугольник: в вершине его наша крохотная экспедиционная избушка, по углам Осинники эти и Котлас, а в основании железная дорога Котлас—Вологда—Москва.

А дальше уж все пошло, как Митяй там еще, в Москве, и загадал: я у теодолита, а он с рейкой, а Гришка Фомичев на чем попало в Котлас, с нужными людьми знакомиться, водку с кем надо пить, особенно на железной дороге, и первым делом, конечно, если повезет — с кем-нибудь из вагонных проводников. А через сутки или двое — наоборот: я, конечно, опять у теодолита, а Гришка с рейкой грязь месит или

триангуляционный знак сколачивает, а Митяй либо в Котласе, либо у матери гостит. Для него тридцать верст туда, тридцать обратно — что баран чихнул, даром что пешком да по таежным тропам. Быстро разобрался парень, что к чему! Правда, ружьишко у него с собой всегда было — мне оно в поле по штату полагалось, так что ни зверя, ни лихих людей он мог не опасаться. А он вообще, видать, сроду никогда и не опасался ничего. Отчаянный был парень! Жаль, мало пожил на земле — голову сложил в войну...

А бабка Акулина, рассказывал он нам потом, как поступался он в первый раз к ней в баньку, как увидела она его — так на месте чуть Богу душу и не отдала. Так и обмерла: Митя, сын! Да что ж ты, непутевый, наделал? Да как же ты, бедовая твоя голова, на такое решился? Да тебя ж, если прознают — в момент тут схватют! В момент загребнут... Митенька, Митенька, сынок... и плачет, рассказывал, и обнимает его, и посадить-то куда не знает — куда ж ты его посадишь, в баньке-то этой? Она ведь по-черному, банька-то, в ней и полену лишнему места не найдешь... И сестры к нему жмутся, трогают за рукав, робеют, щупают его — все не могут поверить никак, что это он. Один Васька ничего не понимает, глаза тарашит, палец сосет... А нищета в той баньке! А вонь! А худющие какие они все — страсть! А сала кусок тут же и умяли, зубами разорвали, что он им принес, а как сухарики изгрызли все в один присест, весь кулек — слезы одни... А пшена мешок? Что с ним делать, куда ж его девать, как спрятать его — мать-то и не знает: отвыкла уже! Кроме как сушеных грибов с того еще лета да картофельной шелухи — и корки в доме нет, какое уж там пшено... И босые, оборванные, грязные все — Господи Исусе! Хуже уж и не бывает. Хуже уж и не может, наверное, быть...

Вот так мы и прожили все там, в тайге, месяца полтора-два. Подкормил их Митяй, из одежонки им кое-что достал, чтоб не пугали народ, и справку Акулине Кондратьевне мы выправили с печатью, как положено, и знакомство Гришка с Митяем на железной дороге, какое нужное, свели, и билеты купили — все честь по чести, до Вологды. Почему, спросишь, до Вологды, а не прямо до Москвы? Потому что решили: так меньше будет подозрений, когда патруль пойдет в вагоне документы проверять. Дескать, вся партия из Котласа в Вологду перебирается, так начальство приказало, а инженер вперед уехал, а мы, дескать, вдогонку ему едем, рабочие мы, и повариху с собой вот возем, и малого с ней — не бросать же ее, у нее тоже ведь на весь сезон контракт. Ну, а из Вологды

уехать было тогда куда легче: там вроде уж как бы другое царство-государство было, НКВД уже не так торчало там на вех углах.

А потом настал и этот день... Привел Митяй в тот день, а вернее, уже в ночь — ночи там, на Севере-то, светлые в июне — всю свою оравы лесом, через тайгу к нам, в экспедиционную избушку. Долго шли, с трудом, все ноги себе сбивали. Да и Ваську, конечно, на руках чуть не всю дорогу пришлось нести... И тут-то, сын, я и познакомился, наконец, со своей тещей. Добрая старуха, скажу тебе, была! Ладно мы с ней потом жили — хорошая старуха. Да ты и сам, наверное, еще помнишь ее...

Переночевали они у нас. А рано утром Гришка подогнал по колдобинам-то нашим лесным подводу, — тоже за спирт наш казенный у хороших людей выпросил где-то на денек, — накидали мы в нее сена, спрятали девчонок в нем, чтобы зря не мозолили никому глаза, сели они, взрослые, все трое в нее да еще Васятка рядом с матерью — и с Богом! Все, Иван, не поминай лихом...

Так и стоят они сейчас у меня все перед глазами: Гришка — богатырь возжи держит, лошадь осаживает, Митяй — щуплый, приблатненный, в кепочке на глаза, в телогрейке, в прохарях рядом с ним сидит, ни дать ни взять из колонии только что освобожденный, и бабка Акулина с ними в платочке ситцевом, по-бабьи, по-деревенски подвязанном, пригорюнилась, и Васька, льняные волосенки, прижался к ней... И уехали они. И остался я, сын, в той избенке один.

И вот что я тебе скажу: молодцы они были, твои дядья, даром что полуграмотные — далеко вперед все рассудили! У меня, признаюсь, ума бы, наверное, не хватило на такое. И пили они тогда на железной дороге — знали зачем! С большим толком пили. А все затем пили, чтобы, когда поедут, девчонок в вагоне спрятать от всяких там проверяющих понадежнее. И не в деньгах было дело, не к тому, чтобы даром их провезти — нет. А в том, чтобы их, девчонок-то, и вообще в вагоне никто не видел до самой до Вологды.

Как началась посадка в вагон — а ты, небось, и сам еще с детства помнишь, как это у нас всегда бывает: мат крошечный, локти, мешки, рев, все лезут разом, кто покрепче, кто понахрапистее, чья возьмет, — как началась она, посадка, тут они сразу дружку-то своему, проводнику, три билета в зубы, а малому и так, без билета, положено, а про Анюту-то мигнули ему: мол, после рассчитаемся, за нами не пропадет. А Полю так просто, в толпе, замотали, так что и проводник

не заметил, как они впахнули ее в вагон. А там, в вагоне, — уж, конечно, сразу опрометью по лавкам, Митяй с Анютой в один конец, Гришка с теткой Акулиной и с Васяткой да с Полей — в другой. А почему разбились, почему не сразу вместе? А потому разбились, что рассчитали, чтобы Прокудин Дмитрий был отдельно, а Фомичев с Прокудиной Акулиной — отдельно: пока, мол, патруль, проверяя документы — а, небось человек сто пятьдесят в вагоне, не меньше, было, в три этажа лежали, — пока он от одного конца вагона до другого дойдет, разве он упомнит, какая фамилия у кого была? Ну, а если уж упомнит — ну, тогда уж вот они мы, вся партия, вся геодезия твоя! Тогда уж делать нечего, тогда и надо будет изворачиваться, все ему, патрулю, объяснять. А так — может и так сойдет, без объяснений...

А девчонок обеих сразу, как уселись — вниз под лавку, одна под Митяем, другая под Гришкой с Акулиной, да мешками, да сумками, да тряпьем разным их тут же, в сей же момент закидали-завалили, никому ничего под лавкой-то и не видать. А они тоже смышленные были девочки! Терпеливые. Все уже понимали. Погодки — одной одиннадцать, другой двенадцать было: так мышонками, тихо, там и пролежали, протряслись всю дорогу до самой Вологды — под лавками, сжавшись в комок. Только раз втихую ночью и выбрались-то оттуда в уборную, а потом сразу же обратно юрк — и опять молчок, и опять будто бы никто их и не видел нигде.

И ведь не раз потом до Вологды, и не один патруль их проверял! И кое-кого они, патрульные, с поезда-таки ссадили, увели с собой. Тогда, я говорил тебе, строго было, НКВД честно хлеб свой отрабатывало, везде себе дело искало. И находило... А все-таки, сын, прорвались! Прорвались наши. Правда, и тут чуть было все дело не сорвалось. Вернее, могло сорваться. Митяй потом рассказывал: сидело их на нижней лавке трое, да трое напротив, да на двух вторых полках тоже по трое сидело, свесив ноги в проход, да на третьих полках двое каких-то самых шустрых, самых удачливых улеглись. И надо же такому случиться! Только первый же патруль проверил в купе документы у той стороны, где Митяй сидел, и, повернувшись к ним спиной, стал проверять другую сторону, как старикашка какой-то замызганный, что сидел рядом с Митяем у окна, вдруг заерзал и, нагнувшись, стал ни с того ни с сего зачем-то мешок свой из-под лавки выдергивать. Тоже, нашел время! Ну, рассказывал Митяй, я ему, гаду, «перо», что в кармане держал, тихо так в

бок ткнул и прошептал, вернее, прошипел ему в ухо: «Сиди, падло! Не шевелись...» Старикашка только взглянул на него ошалелыми глазами, поперхнулся и сидит, молчит, не шелохнется. А потом уж и я, рассказывал Митяй, всю дорогу не спал, сторожил его. И ночью сторожил: мало ли чего он, старый пень, надумает? Даже в уборную за ним всякий раз вставал. Ну, ничего, обошлось! Больше уж он не ерзал, смиренно сидел, когда другие проверки потом были...

Вот и все, сын. Нужен тебе еще какой комментарий? Или и так все поймешь? Сам поймешь?

А в войну, Алеша, скажу тебе, что-то похожее уже было не с другими, не с моими близкими — было со мной... Ты не думай, я не собираюсь тебе войну описывать. Ни ополчение наше несчастное московское, что, по моему глубокому убеждению, сознательно погнали на убой: если, дескать, и не будет от них, от ополчения, никакого проку в деле — одна винтовка на двоих, чего от них ждать? — так хоть Москва очистится от всех этих недобитых профессоров и прочей всякой вшивой интеллигенции. Ишь, притаились там, гады, в своем подполье, сидят, зубы точат на советскую власть... Ни боев, а вернее, боини этой бессмысленной не буду касаться, где все оно, ополчение наше, так и полегло, лишь мясом одним своим человечьим даже и не остановив, не задержав, а только слегка помешав немцам в их напоре на Москву — где максимум на день, а где и всего-то на час.

Почему, спросишь, не буду описывать? А потому, сын, что, как я сам убедился, нет и не было до сих пор в мире пишущего человека, кто мог бы написать войну. Не штабную, а именно настоящую, окопную войну. Ни Лев Толстой, ни Ремарк, ни Хемингуэй, ни Виктор Некрасов, ни из других, нынешних, никто из них не мог и не может это написать. И не сможет никогда! Нет у человека слов, чтобы другой человек его понял, чтобы он, другой, почувствовал, содрогнулся так же, как и тот, кто в окопе днями и ночами сидел, или под бомбежкой, под артобстрелом погибал, или бежал, спотыкаясь и проклиная весь белый свет, в атаку... Не дано человеку от Бога таких слов! А раз так, то и пытаться нечего: все равно будет одно вранье, все равно будут лишь жалкие потуги, которые у того, кто сам сидел в окопе, не могут вызвать ничего, одну лишь зубную боль...

Трое нас, живых, оказалось тогда в том лесочке, недалеко от Гжатска, когда роту нашу выбили немцы из окопов и мы-то есть те, кто не остался там, в окопах-то, на веки вечные — разбежались кто куда мог... Трое, все рядовые: один

доцент из Бауманского училища — очкастый, нескладный такой недотепа; наборщик из какой-то московской типографии, парень лет тридцати — угрюмый, злой, сутулый, с длинными ручищами до колен, что твои две клешни; и я самый старей из них, они меня все по отчеству звали, видно, потому, что я уже и тогда наполовину был седой.

И еще на другие или на третьи сутки к нам прибился какой-то комиссар с тремя кубиками в петлицах, от кого-то из соседей — их тоже немцы расколошматили и тоже обошли. Дурной был какой-то комиссар! Думаю, не в себе уже был, тронулся уже умом, наверное. Но замашки свои комиссарские все сохранил. Все командовал, все орал на нас, если что не по-нему. Пистолетом грозил: «Смирно, так вашу так! Слушай мою команду! За неподчинение — расстрел!» Много все думал о себе, даром, что уже свихнутый был. А может, потому и орал, и грозил, что уже не понимал, где он и с кем...

Но недолго он нами покомандовал. Раз, когда мы где-то в овраге отлеживались, день пережидали, чтобы дальше ночью идти, он чего-то совсем уж разошелся, на доцента того безответного накинулся: «Я тебя, троцкист, мать твою, сволочь, как к своим придем — враз в Особый отдел сдам! Поговоришь ты у меня, шкура!» Ну, Мишка, наборщик, встал, лениво так встал, приподнял винтовку, прищурился — вроде как проверить чего в ней собрался: вроде как прицел, показалось, сбился или затвор заедать стал — да прямо в череп, промеж глаз ему и засадил. Только грохнуло на весь лес — и все, нет нашего крикуна... И даже хоронить его не стали: так, в овраге где-то там и до сих пор, наверное, кости его лежат. А может, и не лежат, может, и унесло их куда потом полой водой-то по весне.

А вот доцента мы с Мишкой похоронили, как и положено, честь по чести, по-человечьи. Когда он, невезучий, на mine подорвался... Только мы было в сумерках из лесу-то вышли, — уже неделю, не меньше, блуждали, — только он, первым, на поле то ступил... Как рванет! Обе ноги по пояс оторвало. И не мучился, наверное, ни минуты, бедняга. Видно, его-то она, проклятая, и ждала — не немца, а его... Поначалу-то, как рвануло, мы с Мишкой, понятно, обратно в кусты. Лежим, затаились — а вдруг теперь немец откуда-нибудь появится? Большак-то рядом... Полежали, подождали — нет, не появляется никто. Ну, а потом вырыли мы в кустах штыком ему ямку, вытащил Мишка у него из кармана, из гимнастерки, документы, сунул их к себе, сложили мы туда, в ямку, нашего доцента вместе с оторванными его но-

гами, закидали землей, поставили крест из двух березовых жердочек, поклонились товарищу нашему — и пошли. Пошли, понятно, обходя уж то поле стороной.

Почти месяц, сын, мы тогда шли. Почти месяц — посмотри по карте: там всего-то вроде ничего от Гжатска до Москвы. А пришли мы к своим тогда, когда уже и иней лежал на полях, и снежок уже не раз выпадал... Как шли, как ночевали, как питались? Как от немца хоронились? А вот так и шли: все больше по ночам, по звездам — я-то как-никак геодезист. А, бывало, перед дорогой какой большой, проезжей, по суткам — по двое в кустах лежали, все никак было невозможно через нее перескочить — немцы все шли и шли. А ночевали, понятно, без костров, я в шинель, а Мишка, в ватник завернувшись да ноги в кирзовых сапогах под себя поджав. На земле на голой ночевали, ну, разве что лапника с елок наломаешь или лист палый осенний в кучу под себя сгребешь. А уж обсушиться-то после какого дождя — об этом и не мечтай. На себе все сохло. А он, бывало, зарядит — день идет, два, все на тебе хоть выжимай, а делать нечего, терпи. Там, думаю, туберкулез-то у меня и начался, там-то я и стал кашлять. Да, иной раз так, что Мишка с ватником на меня сверху навалится, прикроет с головой: «Тише ты, Иван Николаич! Ты уж лучше в ватник хрипи, накличешь ты так на нас немцев — хана нам тогда с тобой...»

А питались картошкой. Ее тогда много по полям неубранной осталось. Накопаем с краю поля — и едим. Поначалу-то сдуру да от страха сырую ее ели. Да вскоре так нас от нее прохватило... Вот мучение! Так бы из кустов никогда и не вылезал, так бы и просидел там на карточках до самой смерти. И слабость такая — ужас! Сил никаких нет идти. Ноги не идут... Пришлось плюнуть на все, на страхи наши: заберемся поглубже в лес, найдем какую ямку, испечем ее, картошку-то, в золе и едим. Едим, а и у него, и у меня одна мысль в голове: а ну-ка заметит кто, дымок-то этот в лесу, а ну-ка из-за спины сейчас саданет или раздастся оно — «Хенде хох!» Ну, еще Мишка, отчаянный парень, решил раз, стрельнул — зайца подстрелил. Еще, конечно, грибы ели — и они еще попадались кое-где. Но без соли, скажу тебе, такая это все мерзость — что картошка, что заяц, что грибы! Вот не думал никогда, что так трудно человеку заставить себя есть, когда его с души воротит. А не есть нельзя! Тут же и ляжешь через день-другой, не дойдешь... А пили, конечно, что где придется: где из родничка, а где и из речки,

и где и из болотца лесного — выбирать, как понимаешь, не очень-то приходилось.

А в деревни мы не входили — нет. Стороной их обходили. Боялись. И сейчас думаю — правильно боялись. Там бы раз повезло, два повезло, а все-таки на немцев нарвались бы в конце-то концов. А то и из своих кто-нибудь бы нас им сдал. Всякое ведь могло быть.

— Миш! А придем, что своим, дома-то, скажем? — помню, спрашиваю я его как-то, когда мы с ним опять в кустах у дороги лежали, сумерек ждали. — Надо думать, Миш, допрашивать будут. Придется нам с тобой объясняться... Могут и под трибунал подвести. Это ведь у нас в момент...

Не сразу он, помню, ответил. Долго молча лежал. Смотрит своими серыми водянистыми глазами перед собой, молчит, травинку какую-то покусывают...

— А это, Иван Николаич, уж твое дело, что ты им там будешь объяснять, — сказал он, будто очнувшись наконец. — Я-то лично ни с кем там разговаривать не буду. Не намерен.

— Как не намерен, Миш? Куда ж ты денешься? Придется, хочешь не хочешь, объясняться. Мимо Особого отдела все равно не прошмыгнешь...

— А так, Иван Николаич. Не намерен — и все. Баста! Отслужил... Отслужил я свое, граждане-товарищи, господа хорошие. Войте дальше, если охота... Но — без меня! А я уж так как-нибудь проживу...

— Не пойму я что-то тебя, Миш... Ты что, дезертируешь, что ли, когда мы к своим придем? А коли вправду в бега уйдешь — куда ж ты спрячешься? Везде ж, Миш, найдут. А найдут — расстреляют. Всего-то и делов-то, Миш...

— Не найдут, Иван Николаич. И не расстреляют... Даже если и ты на меня покажешь — все едино не найдут.

— Я-то, Миш, не покажу... Соседи покажут. Или сам где оплошку какую сделаешь.

— Ты за меня не бойся, Иван Николаич! Я знаю, где схорониться. И документы новые знаю, как себе выправить. А нет — и без документов проживу... А ты что — ты осуждаешь? Может, еще и агитировать меня начнешь?

— Нет, Миша. Не начну. И не осуждаю... Хотя, признаюсь, и согласиться с тобой тоже вроде не могу... Война ведь, Миш! Немец прет...

— А хрен с ней, с войной! И с немцем тоже... Мне-то до всего до этого какое дело? Меня кто спросил, согласен я на эту войну или нет?

— Ну, об этом, Миш, теперь уже поздно говорить. Теперь уж деваться некуда — война... вот она — война! Теперь либо мы его, либо он нас.

— А по мне, Иван Николаич, — плевать, — тихо, помню, почти почему-то шепотом ответил он мне. И все время, помню, скалил зубы, по-хищному так скалил, будто клыки кому-то показывал, кому-то там впереди: мол, лучше не подходи, не трожь меня, предупреждаю — горло перегрызу. — Ну, придет немец, ну, захватит пол-России. Половину, заметь, да и то вряд ли! На большее-то у него сил нипочем не хватит... А что он даже с тем, что захватит, делать будет? Подавится, проклятый, таким-то куском. Ты что думаешь, он сможет такой кусок проглотить? Не сможет! Сам через месяц-другой пощады запросит. Ошибка, дескать, получилась, поторопился я... Сколько мы вон с тобой идем? Третью неделю уже? А всего-то идем от Гжатска до Москвы... Тикать им, немцам, надо, пока не поздно. Пока не передохли все в болотах-то наших. Да в снегах...

— Так, значит... Получается, значит, Миш, что? Получается, мы с тобой, коли Бог даст, перебрались через фронт — и кто куда? Ты в одну сторону, я в другую?

— Получается, Иван Николаич, что так. Получается, что прощаться будем, как к нашим-то придем... Да, ты, кстати, вот что... Ты давай, начинай уже малость к югу подворачивать. Нам бы с тобой хорошо где-нибудь на Калужскую дорогу выйти... А в Москву, Иван, я не ходок! Да и Москва-то — цела она, нет? Может, и там все давно уже за Волгу ушли? В общем, давай, Иван Николаич, подворачивай к тем местам, где нам с тобой прощаться надо будет... Понял меня?

— Понял, Миш... Одно, Миш, к сожалению, понял: как к нашим придем, так, значит, и расстанемся мы с тобой... Ну, что ж! Дай-то тебе, как говорится, Бог...

А вот как мы последние дни с ним шли, как через фронт перебирались, как я у своих в конце концов очутился — этого-то я почти уж и не помню, сын. Заболел я под конец, зверски заболел. Как на грех, все разом на меня свалилось: и простуда тяжкая, градусов, наверное, под сорок, и чахотка моя начинавшаяся, и кашель, душу разрывавший до печенок, и не просто, прости, понос, а самая что ни на есть настоящая дизентерия достала меня — с кровью, с резами, так, что ни встать, ни разогнуться, хоть тут на месте и ложись... Как я шел? Не знаю, как я шел. В беспамятстве я был всю дорогу: ничего уже не слышал, не видел, ничего не соображал. Да и не шел я — Мишка меня на себе по большей части

ташил. Где поддерживал — руку мою перекинет себе через плечо, а где на закорки взвалит, а где, когда я совсем уже обмякал, надо думать, и просто волоком волок по земле, за шиворот, что твой куль с дерьмом. Я тогда не тяжелый был, кости да кожа одни. А он здоровый, жилистый был парень. И, как я уже говорил тебе — злой.

Помню только: не раз, очнувшись, пытался я кончить эту муку... Такое безразличие тогда нашло на меня! Так мне на нее, на жизнь, стало наплевать... Ничего мне было не жалко. Даже и о вас с матерью, прости, не думал. Вообще ни о чем не думал. А если и была когда какая мысль в голове, то только об одном: лечь бы и не вставать, и гори ты оно все огнем...

— Миша, родной, — помню, просил я его, когда мы опять лежали с ним в какой-то воронке и когда я опять ненадолго пришел в себя. — Брось ты меня здесь заради Христа. Пропадешь ты со мной... Брось! Я тут сдохну. Не дойти мне, видать. И сам не дойду, и тебя погублю... Ты меня только положи здесь где-нибудь, где посуше. А сам иди... А еще лучше — пристрели меня...

— Молчи, Иван Николаич! Молчи. Не зли зря меня, — оскалился он, помню, в ответ. — Лежи знай... Недолго уж, видать, осталось. До передовой, считай, мы с тобой дошли. Может, проскочим, может, повезет... Слышишь, нет? Стрельбы-то вроде нет нигде. Тишина. Может, на наше с тобой счастье, здесь уже и не воюют? Может, война-то вся уже дальше ушла? А здесь одни только сторожа и у них, и у нас по окопам сидят?

Ну, а дальше уже, сын, не интересно. Или, может быть, и интересно — но это уже другой, отдельный рассказ. Как я очнулся ночью, прислоненный к стенке сарая у последней с краю избы — в какой-то деревеньке, уже у наших; как мотало меня потом по контрразведкам, по проверкам там разным, по госпиталям; как — в который уже раз — сжалилась надо мной судьба и оказался я в тылу, в артиллерийском училище, преподавателем геодезии; как и оттуда меня вскоре списали вчистую из-за туберкулеза и как я потом попал в другое гиблое место, под Вятку, на лесоразработки... Много чего потом было, сын! Не одному бы Льву Толстому хватило, чтобы написать... А обязан я этим всем в конечном счете лишь одному человеку — Мишке. Угрюмому, злому наборщику из какой-то московской типографии, в сущности — убийце, дезертиру, который так потом и исчез, и сгинул, неизвестно куда. А перед тем, как сгинуть, спас мне жизнь.

Ах, как долго потом снилось это все мне, сын! Как долго... Да и теперь тоже снится: уже и помирать скоро, а будто бы и не было в моей жизни ничего, кроме войны... Так только, мелькнет иногда во сне какое-то розоватое облачко, из детства или из юности, протянешь руку, попытаешься его поймать, силишься вспомнить, что же это такое знакомое, такое легкое, радостное оно значит — да тут же и разожмешь пальцы: нет, не ухватишь ничего, и не пытайся, все равно он сейчас уйдет, растворится без следа, зови ты его, не зови... А война всегда — вот она, война. И даже если и лиц никаких не видишь, и звуков никаких не слышишь во сне, а видишь, ощущаешь только какой-то неясный, нарастающий ужас, что-то такое, под чем опять ты погибаешь, опять падаешь в черную какую-то пропасть без края и без дна — то все равно уже знаешь: это опять она, война...

Знаешь, сын, кого я, старик уже, больше всего в жизни ненавижу? Думаешь, большевиков? Или немцов? Нет, шире бери: не их я ненавижу. А ненавижу я все без исключения великие идеи, что когда-нибудь возникали в мире, и всех без исключения так называемых великих людей. Я, конечно, не имею в виду тихого, доброго, безобидного мечтателя Христа или какого-нибудь столь же безобидного, свихнутого чудака, вроде Эйнштейна. Нет, я ненавижу великих другим величием: Томаса Мора, Петра Великого, Робеспьера, Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера, Мао — всех! Всех, кто додумался до какой-нибудь великой, тотальной идеи или плана, а еще больше тех, кто был настолько велик, что попытался еще и воплотить эти идеи и планы в жизнь. Ненавижу я, сын, всех, кто обладал и обладает властью над людьми, какими бы благородными словами и мотивами они ни прикрывались — всех, кто хочет и может заставить людей поступать по своей воле, а не так, как они умеют и как им хотелось бы жить самим.

Все они, эти великие люди — от Дьявола, а не от Бога. И мы, то есть маленькие люди, сами виноваты в том, что слушали и до сих пор еще слушаем их... А вот почему Господь Бог попустил им, великим, на земле быть — это уже вопрос не ко мне, не к тебе, не к людям вообще, а к Нему самому. И если люди когда-нибудь (но когда?) найдут (но найдут ли?) какой-то внятный, вразумительный ответ на этот вопрос — тогда-то и появится он, шанс, что жизнь на земле как-нибудь наконец обустроится сама собой и человек перестанет быть беспомощной игрушкой слепых сил. Но появится этот шанс, сын, не раньше, чем само понятие «великий человек» исчез-

нет из людского обихода. Ибо все зло в мире от них, от великих людей! Это они мешают нам, маленьким людям, как-то договориться между собой на тех условиях, при которых никто бы никого не обижал: ни ближних своих, ни соседа своего, ни себя самого. И это, наверное, единственный бесспорный вывод, что я извлек из своей жизни, а живу я на земле, по любому счету, уже, ты понимаешь, немало: как никак семьдесят второй год.

Но я заврался, сын, заврался, заболтался — пора и честь знать. Какое дело тебе, молодому, ликующему, полному надежд и сил, до всей этой чепухи? Пока по крайней мере — никакого. И ты, если даже и почувствуешь какие-то уколы совести — не обращай на это внимание. Всему свое время! Но если когда-нибудь в жизни ты и сам ощупью набредешь на какие-то схожие мысли и выводы, помни одно: не ты первый и не ты последний, сын. И до тебя тоже были люди, кто искал того же, что и ты».

* * *

И опять за окном уже рассвело... И опять желтоватое пятно света от маленькой лампы на письменном столе показалось ему жалким и неуместным, и он потушил ее. И опять, потянувшись и встав из-за стола, Мамонов-старший тут же, не раздеваясь, рухнул на свой продавленный во многих местах диван и, как и вчера, провалился, будто в яму, в тяжелый, мутный, с всхлипываниями и бормотанием, сон.

Спал он в последнее время все больше на животе, в рост, вмявшись всем телом в диван и обхватив руками подушку под головой. Говорят, что на спине обычно спит начальство, на левом боку спят поэты, а на правом — все остальное, так сказать, обычное человечество. На животе же, считается, спят те, кому хочется провалиться куда-нибудь, исчезнуть, убежать хоть во сне от самого себя — те, кому, как они думают, особенно в жизни не повезло.

ГЛАВА VII

Так жили мы тогда или погибали? Да или нет? И были ли мы тогда люди или, как утверждает теперь эта наглая, напористая молодежь, все мы были лишь скот бессловесный, загнанный в товарный вагон и везомый кем-то, недостижимым и безжалостным, на убой? А еще точнее, был ли я — я, Алек-

сей Мамонов, во плоти и крови, единственный и неповторимый — был ли я и тогда человек или на самом деле всего лишь раб, червь, тварь ничтожная, и вся моя жизнь прошла зря?

...Теперь у него, у Мамонова-старшего, было вдосталь времени, чтобы, сидя на лавочке где-нибудь в парке Новодевичьего монастыря или в пустынных Лужниках и медленно провожая взглядом редких прохожих, рассуждать самому с собой о всяких таких материях. Заявления об уходе из редакции он еще не подавал (а прямо попросить его уйти тоже пока еще никто не решался), но, по чести говоря, никому в его газете, азартно-бестолково начинавшей новую жизнь, он уже и не был нужен. По крайней мере, никаких заданий и просьб ни от кого оттуда к нему больше не поступало, да и на редколлегию его больше не приглашали, и даже телефон у него в доме — и тот теперь, бывало, что молчал чуть ли не по целым дням.

Надо было... Надо бы было, конечно, не дожидаясь ни толчка, ни, тем более, пинка ниоткуда, начать искать для себя что-то новое. Но не хотелось — Бог ты мой, как же не хотелось! — ничего искать. Не хотелось шевелиться, не хотелось никуда ходить, никого видеть, не хотелось никому ничего разяснять, оправдываться, вздыхать, ища сочувствия и поддержки от людей, которым, ты знал, в лучшем случае было не до тебя, а в худшем... А в худшем, кроме плохо скрытого злорадства, от них и вовсе не стоило ничего ждать. Дескать, что, голубь, дописался, довыступался? Поиграл в милосердие, в сострадание к людям, возомнил о себе, что ты и есть она, людская совесть? Демократии хотел, свободы? Рынка, видите ли, захотел, здравого смысла хотел? Так вот тебя твоя демократия, твоя свобода, твой рынок, твой хваленый здравый смысл! Этого ты хотел, за это ты ратовал? За это ты в газетах шумел? В парламенте с трибуны вещал, интервью всякие давал? За это? Ну, так и получай, что хотел.

Вот именно! Получай, Алексей Иваныч. Получай и не скули: Москва слезам не верит, много вас тут таких ходит, околачивается по коридорам... Бог подаст! И не думай, брат, что и дальше тебе так удастся: я, видите ли, как тот кот у Киплинга, сам по себе, я никому не подчиняюсь, никому не служу. Нет уж, коли хочешь жить, как люди живут, будь любезен, выбирай. Либо ты с правительством — и тогда стой, как положено, руки по швам, и что скажут, то и пиши. Либо ты с нами, с дураками, с истинными демократами — тогда продолжай шуметь, как и раньше, только чтоб погромче шумел, не стеснялся, глотку свою чтоб не жалел. А то и по-

сторониться придется, на твое место охотников-то тьма, и все куда как помоложе, чем ты. Ну, а если уж ты с большевиками — ну, так и валяй туда к ним, лезь на грузовик, маши — размахивай флагом, рви на себе рубаху до пупа: да на совесть, позлее рви, не увиливай — иначе и они не поверят тебе... И не думай, не мечтай, ни про что другое: как ты сам же еще недавно писал — «инога не дано». А так, как дерьмо в проруби, болтаться, чтоб ни к кому не пристать — это уж нет, это уж, братец, извини. В гробу мы видали таких фраеров... Кто не с нами — тот против нас! Даешь!

А все-таки... А все-таки славно было сидеть здесь вот так одному, не берегу Москва-реки, в виду зеленых Воробьевых гор. Сидеть и не торопиться никуда... Определенно славно! Солнце на воде, белые речные трамвайчики пробегают мимо... Какая-то старушка вон ползет, ковыляет вдоль гранитного парапета со своим пудельком на поводке... И как будто ничего и нет у тебя там, за спиной! Нет ни обозленной, взвинченной почти уже до безумия Москвы, ни разрухи, ни мечущихся людских толп, ни мыслей о близких твоих, о куске хлеба, ни этого ощущения надвигающейся гибели, охватившего сегодня, похоже, что уже всех... Благодать! Сидел бы так и сидел всю оставшуюся тебе жизнь: курил бы, смотрел бы на облака, на воду, на церквушку на горе, на высокий, заросший лесом берег на той стороне... И как этот крохотный пятачок тихой, неспешной жизни Москва до сих пор еще не подмяла под себя, а? Не разгрызла его железными зубами, не завалила, не замусорила его всяким хламом, не затопила чадом своим и вонью? Чудно!

А много ж его, Алексея Мамонова, поносила по земле жизнь... Много — от Бреста до Чукотки, от Норильска до Термеза... И уж в чем-чем, а в этом-то он был воистину счастливый человек... Что он не видел? Все видел! Везде был. И хижины видел и дворцы, и моря и горы, и вызженные пустыни, и снега, и льды, и северное сияние над головой — все видел, ни в чем его Господь Бог не обделил.

Велик, необъятен Божий мир! И все в нем прекрасно, все стройно и справедливо. А если и есть в нем что безобразное, то только одно — человек... Нет! И человек тоже не безобразен — не надо преувеличивать, Алексей Иванович. Человек — и ты сам это прекрасно знаешь — это ж не только насилие, беда и кровь. И не только уродливые, зачумленные города, и черные пыльные бури, и отравленные, черт знает чем, перегороженные поперек без всякого толку и смысла реки — то, о чем ты писал всю свою жизнь. Это ведь еще и церквушка

вон там на горе! И дворцы, и соборы в Кремле. И книги, и гравюрочки у тебя в кабинете. И Светлана, и Ксюшка твои... И люди вон на речном трамвайчике, радующиеся, несмотря ни на что, жизни. И эта старушка, что сгорбилась, пригорюнилась там, у парапета, со своим лохматым пудельком на поводке... Не безобразен он, человек — нет! Он жалок. И проклинать, осуждать его не имеет право никто. И ты, Алексей Мамонов, тоже не имеешь такого права! Ибо даже Христос во всей святости Своей — и Он вынужден был сказать: кто без греха, тот пусть первый и бросит камень... Все виноваты, утверждает отец. Все? Нет, отец: раз все, то, значит, не виноват никто. Или, если кто и виноват, то личную его вину никакими силами и никому никогда не выпутать, не отделить от вины других...

Нет, но как же завораживает и успокаивает человека вода, а? Завораживает, затягивает, не отпускает от себя... Прямо колдовство какое-то! Вода и еще, конечно, огонь. Но вода больше. Вода любая завораживает: море, озеро, река. Да даже и самый крохотный деревенский пруд, заросший тиной. Даже и он...

И первое большое, отчетливое воспоминание в жизни у него тоже было связано с водой. Весна сорок второго года, ледоход на Оке у Голутвина, вернее, почти уже конец ледохода. И он, Алеша, стоит на берегу и смотрит, как мимо несет вода, как плывут, стучаются друг о друга лбами, кувьркаются в воде льдины. И шуршит, и гудит у него в ушах, и не может он глаз оторвать от того, что видит, и даже вскрикивает, кажется, иногда от радости, хотя и не слышит своего голоса в гуле воды и грохоте мчащихся мимо льдин... А дядя Платон тащит его, маленького, за рукав, но ему не хочется уходить, и он упрямится, просит его еще немного подождать, посмотреть, как вон та самая большая льдина, что налезает на все другие, либо расколется, либо уйдет под воду из-за своей тяжести, а потом, может, и вынырнет еще где-нибудь впереди.

Но ждать больше нельзя. Им надо торопиться: торопиться в Москву, куда дядя Платон, сам сидя за баранкой, везет их с бабкой Акулиной в полуторке, в кабине, — везет, пряча его, Алешу, перед каждым контрольно-пропускным пунктом к себе под сиденье и еще накрывая его при этом сверху своей остро пахнувшей дымом, прожженной во многих местах телогрейкой. А прячет и накрывает потому, что нельзя, чтобы контроль заметил его в кабине. Детей пока еще в Москву не пускают, а мать, тоже мобилизованная как медсе-

стра в армию, упросила перед своим уходом на фронт дядю Платона (у него бронь) съездить в деревню за ним и за бабкой Акулиной и взять их к себе...

И потом, когда он уже подросток, когда окончил школу, стал студентом, затем поступил в газету, начал ездить по стране, видеть людей, писать, — всегда, если что-то хорошее, светлое было в жизни, всегда получалось как-то так, что рядом обязательно была вода. Большая ли, малая — но обязательно вода... Днестровский лиман, Черное море, Балтика, Селигер, Ильмень, остров Валаам, Волга, Белая, Чебаркуль, Обь, Енисей, Байкал, Лена, Колыма, Тихий океан. А на юге — Иссык-Куль, Балхаш, Аму-Дарья, Каракумский канал, Кара-Богаз-Гол... И еще бесчисленное множество всяких других рек и речек, и озер, и островов, и протоков, и камышовых плавней, и тихих, звездных вечеров где-нибудь у костра, у самой кромки воды.

А! Куда его только ни заносила она, жизнь! И сколько ж в ней было хорошего, теперь уж, как ни горюй, не возвратимого... Было? А что, собственно говоря, было в ней, в твоей жизни, такого уж хорошего, Алексей Мамонов? О, много чего было! Много было хорошего... Ну, во-первых, конечно, поездки, скитания, путешествия — по всей России, из конца в конец. Во-вторых... Во-вторых, конечно, женщины... Ну, а в-третьих, это тоже, бесспорно, сидение с ребятами, с мужиками, за столом со стаканом в руке — дома ли в Москве, или где-нибудь в маленькой провинциальной гостинице, или в баньке, или ночью в лесу, после рыбалки, под уху, под разговоры про то, про се...

И что, и это все, Алексей Иваныч? Это все, что ты сейчас можешь вспомнить? Нет, конечно, не все! Но это все же главное... Конечно, была и радость увидеть в первый раз свое имя в газете — А.Мамонов, жирным шрифтом, спецкорр... И книги хорошие тоже были. Книги тоже когда-то доставляли радость, не надо и это забывать... И когда сын, Костька, родился — тоже был праздник... И когда впервые выпустили за границу, в Германию, в Кёльн — тоже ликовал. Но поздно, ах, поздно выпустили! Тогда выпустили, когда уже душою одеревенел, когда уж и жизнь, считай, прошла... И еще когда в парламент избрали, когда честно, в открытую выиграл у своих соперников — тоже была радость... Много чего разного в жизни было! Но осталось, запомнилось, конечно, все-таки больше всего это: путешествия — раз, женщины — два, да сидение с ребятами где-нибудь со стаканом за столом — три.

Нет, грех ему, Алексею Мамонову, жаловаться на жизнь. Грех! Вряд ли кому еще столько в жизни удалось повидать... И девки тоже его любили! Смолоду любили... А за что? А Бог его знает, за что. Вроде и не такой уж он был удалец, и красотой особой не отличался, и не кудряв был, и никаких подков руками не сгибал, и на гитаре не играл, и подвигов никаких безумных вроде бы не совершал... А вот любили! Любили — сейчас это уж можно и самому себе сказать. И через левое плечо плевать не надо, и по дереву не надо стучать — теперь-то это все уже не сглазишь, не спугнешь. Что было — то было... А за что любили? А за то, может быть, любили, что и он их всегда жалел, что он сам-то их всех любил даже больше, чем они его. Что он нежадный был, неоглядчивый, и давал, похоже что, всегда больше, чем брал от них... Понятно, что не про деньги и не про подарки, и даже не про время речь! А прежде всего про то, что двое отдают от себя друг другу, когда они вдвоем и никого, кроме них, в этот момент на свете больше нет... О, девки это чувствуют! Все они чувствуют...

А все-таки ты индюк, Алексей Иваныч! Право слово, индюк. Ишь, расфуфырился, хвост распустил! Известно, сам себя не похвалишь — кто же тебя, сироту, похвалит?.. Но ведь и это же тоже не так! Хвалили, благодарили. Было и это! И еще как благодарили: со стоном, со слезами, с потерей сознания, с откинутой навзничь на подушку головой... И слова тоже иногда были! Были и слова. Но чаще всего все же только губами да руками благодарили, без слов. Стесняются они слов! И правильно, наверное, стесняются: губы и руки — они не лгут, а слова лгут, и если можно, то лучше уж чтоб без них, без слов. А он, надо отдать все же ему должное, никогда и не требовал, и не просил у них никаких слов.

А первой из них всегда — и даже теперь уже, под старость — вспоминалась та девочка, с которой они в 1956 году вместе ехали на уборку, на целину. Две недели ехали, в товарном вагоне, через полстраны, от Москвы до станции Кескелен, под Алма-Атой. Тоже из университета была, только с другого факультета — с географического и, кажется, на курс моложе его... Милая была девочка! Мягкая, теплая, улыбчивая. И что ни скажешь ей — всему верила, всему удивлялась: ахала, вздыхала, тарасила на него глаза, прижималась к нему... Сколько дней, сколько ночей они с ней просидели в раздвинутых дверях вагона, на полу, обнявшись и свесив босые ноги наружу, под ветерок! А особенно, помнится, дух захватывало, и тревожно так, и весело делалось на душе,

когда поезд переезжал мосты. И большие мосты: через Оку, Волгу, Урал, через Сыр-Дарью, под гулками фермами, по дрожащим на весу рельсам, сквозь мельканье железных ограждающих сетей. А внизу, далеко под ногами — так далеко, что даже страшно было и смотреть, — вода... И малые мосты: стук так, стук вагонными колесами по стыкам, и вдруг внезапный грохот, и эхо, и гул в ушах, а потом вдруг опять сразу тихо — и скрипит, качается вагон, и телеграфные столбы опять бегут мимо, и ветерок из степи опять треплет волосы, опять тянет, холодит по босым ногам...

А под конец она, несмотря на косые взгляды некоторых, и вовсе перебралась к нему на второй этаж, на вагонные нары, и так и лежала, так и спала там рядом с ним. Ну, конечно, обнимались, целовались, доводили себя до иступления. Но чтобы дальше, чтобы чего серьезного — ни-ни. И правильно, что удержались тогда: рядом же вповалку, плечо к плечу, лежали, спали, ворочались во сне ребята и девчонки из их же отряда. Какая уж тут любовь! Надо ж было и совесть знать... Но ничего, они потом свое взяли... И в овечьей кошаре, где они все там потом жили, если, конечно, они с ней исхитрялись в этой кошаре остаться вдвоем, и на току, и в степи под солнцем ли, под звездными ночными — не было, кажется, скирды, не было копешки самой малой, куда бы их не валила с ног страсть. На них в отряде уж и внимание-то перестали обращать, надоело: с этими все ясно, этих уже друг от друга не оторвешь — ни в карты их не проси, ни песни петь, ни за водкой на станцию, на Узун-Агач, не пошлешь. Что поделаешь — любовь!

А другое воспоминание, из той же поры, но годом-двумя позже: Ильмень — суровый, темный, дышащий холодом, несмотря на то, что был уже июнь. И облупленные, осыпающиеся стены Юрьева монастыря, последний раз побеленные, наверное, лет сто назад, и песок, и две длинные высохшие лодки у края воды, перевернутые кверху днищем, и солнце над головой, и облака, и ласточки в небе — и другая девушка, Лина, рядом с ним, скинувшая туфли и вытянувшаяся прямо на песке в рост. А ветерок шевелит ее юбку и треплет волосы у нее по лицу, а она, закинув руки за голову, щурится на солнце, улыбается ему, Алексею, что-то тихонечко напевает, что-то отвечает ему невпопад... И такая нега, истома, такая лень в них обоих! Так не хочется ни ей, ни ему вставать, так не хочется никуда идти... А тишина вокруг! Бог ты мой — какая тишина... Полное безмолвие: только свист ласточек над ними, мечущихся, взмывающих, падающих вниз...

Какие там четверик на восьмерике, восьмерик на четверике! Абсиды, закомары, левый неф, правый неф... А, пусть их там, в соборе, стоят, разинув рты, вертят головой, слушают этого зануду-экскурсовода, пытаются что-то там запомнить, что-то даже и записать. Что ты там такого важного запомнишь? Да ничего не запомнишь — все выветрится у тебя из головы на следующий же день... А песок запомнишь! И Ильмень, и солнце, и ласточек запомнишь! И ее, Лину, запомнишь. И эту лень, это безмолвие вокруг, и уж конечно, и это тоже запомнишь — этот слепой, темный жар в крови, гулко, до звона нарастающий у тебя в ушах. Между прочим, потому еще жар, что и ты, и она — вы-то оба уж точно знаете: вечером, когда палаточный городок уснет, она, как и вчера, и позавчера, и третьего дня назад, протиснется к тебе в палатку, задернет полог... И провались они тогда все — и четверики, и восьмерики — в тартарары!

Эх! Хорошо тогда гуляли! Без оглядки гуляли, лихо, что и говорить... Без удержу, без сожалений, не задумываясь ни о чем... И не от тоски тогда гуляли! А от того, что сил не было куда девать. Жизнь из души рвалась, выплескивалась через край, весь мир, каждого встречного хотелось обнять... А обнимешь — все равно мало было. Все равно давай еще!

Постой, постой... Как же она звучала, эта песенка, которую тогда все пели? Дай Бог памяти... «Пароход, пароход»... Ах ты, черт, забыл! Вот голова дырявая, надо же — забыл. Старый ты стал, Алексей Иваныч! Все забываешь. Все уже забыл... Нет, как же — вспомнил! Вспомнил. Не мог он этого забыть... «Пароход белый, беленький, дым над черной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой...» А почему это-то вдруг всплыло, это-то вдруг вспомнилось, а? А потому, наверное, вспомнилось, что на таком вот пароходе, а вернее, теплоходе, он однажды чуть было даже и вовсе не уплыл неизвестно куда — в другую жизнь... В совсем иную жизнь...

Это было, точно совершенно, в начале августа 1962 года. Его тогда, как самого легкого на подъем из репортеров, послали в Игарку, на Енисей, на пожар. О, то был страшный, страшнейший пожар! Загорелась лесная биржа в Игарке. Месяц, а то и больше горела — полыхала и сгорела, конечно, вся дотла. Нешуточное было дело! Считай, годовой запас экспортного леса в стране сгорел тогда. А многие иностранные суда уже пришли за грузом, уже стояли на Енисее на якоре, ждали, когда русские там, на берегу, управятся с огнем... Ох, и намаялся он тогда, дыма наглотался! Ох, на-

глотался... И ложился, и вставал весь в саже, как кочегар. И во рту сажа, и в ушах сажа, и даже запаухой — и там сажа, а помыться где в баньке — где помоешься, кому тогда там до баньки было? Отстань, парень: видишь, что делается? Тебя нам только не хватало! Мало нам всего этого — еще и ты тут на нашу голову свалился. Корреспондент, мать твою так... Убырался бы ты отсюда, мил-человек, поскорее да по-хорошему, а?

Игарку настолько густо заволокло тогда дымом, что даже маленькие местные самолетики — и те не могли уже садиться здесь. Пришлось ему оттуда выбираться на рейсовом теплоходе, Енисеем. А шел тот «пароход белый, беленький» вверх до Красноярска тогда не спеша: помнится, никак не меньше четырех, а то, может, и пяти дней.

Ну, отмылся он тогда, наконец, на этом теплоходе, от сажи, отлежался, отоспался у себя в каюте... А на другой день, так уж получилось — загудел. Основательно загудел, в полный размах. Деньги-то были! И у него были, и у собутыльников его были: один, помнится, был радист с Диксона, а другой — механик из поселка с жутковатым названием Усть-Караул. Тоже где-то там, за Полярным кругом, имеет, так сказать, место быть...

И откуда они у нас, в России, образуются, эти собутыльники? А ниоткуда! Из ничего образуются, из воздуха. Из материализованной пустоты. Было бы желание, а уж выпить-то тебе партнер мгновенно найдется. И искать не надо: первый же встречный — он тебе партнер и есть. А уж когда по одной да по другой взяли — ну, прямо с родственником каким повстречался. Говори, что желаешь и про что желаешь: такая тут приязнь, такое доверие сразу делается — будто пуд соли вместе съели, а не то что увидели друг друга в первый и, вероятнее всего, в последний в жизни раз...

В отпуск они, радист и механик тот, тогда ехали, тоже на материк. А сел он к ним в ресторане теплохода поначалу просто потому, что сесть больше некуда было, все столики были заняты. Поздоровался, сел и... И началось!

Водку не пили. Нет, не тот она, проклятая, продукт, чтобы под такую гульбу да в таком шикарном месте ее пить. Красное дерево кругом, люстры, светильники, медные поручни, скатерти хрустящие на столах... Коньяк пили. Ну, а где коньяк, там, понятно, и шампанское. Но шампанское, конечно, — это уж чистый кураж. Это так, это больше для баловства. Там, на Севере, у понимающих-то людей оно всегда считалось за ни за что, все равно что какой-нибудь

там нарзан... Господи, и как же это все тогда дешево было! Как дешево! Сказать-то кому сейчас, люди добрые, и не поверит никто.

Но, видно, даже и по северным стандартам широко они тогда размахнулись. Публика их сразу заметила, сразу уважала. Перемигивались, оглядывались на них, но не с осуждением оглядывались — с одобрением: серьезные, похоже что, люди гуляют. Деловые! Беседуют, рассуждают, глотку не дерут. Но и не прячутся — все на виду. А коньяк так и мелькает, так и мелькает за столом! Бутылка за бутылкой — только поспевай подносить... Что же! Да на такого верзилу, как этот механик на Усть-Караула — на него одного ведро нужно. И приятель его конопатый, радист, тоже даром что невысокий: плечи-то поперек себя ширьше, косая сажень, одно слово. Да и интеллигент этот, что с ним сидит, тоже не так уж и хлипкок, тоже, видать, может, когда надо, на грудь взять. Таким по бутылке-другой коньяку на брата — это только так, для разбега! Каждый из них, небось, и по четверти усидит — не поморщится. Только дальше багроветь будет да пот со лба вытирать...

И официантка их — пышнотелая такая, русая, с белой наколкой на волосах — сразу, видно, поняла тогда, с кем имеет дело. Не успеешь и глазом моргнуть, а она уже тут как тут, уже готово дело, уже несет все, что просил. И другая официантка все время косилась, поглядывала на них из-за плеча. И буфетчица за стойкой — тоже не худенькая, кровь с молоком, но только заметно помоложе их обеих — не спускала с них глаз, улыбалась им всякий раз, когда перехватывала чей-нибудь их взгляд. А особенно охотно она улыбалась почему-то именно ему, Алексею, — может быть, сначала просто потому, что он тоже был за столом моложе всех: и механику, и радисту явно уже перевалило хорошо за тридцать, для нее-то они, наверное, были уже почти что старики. А с ним, с Алексеем, они, как оказалось потом, были ровесники. Тоже была молодая, даром что уже занимала здесь, на теплоходе, такой важный пост, и весь персонал обращался к ней исключительно по отчеству: Антонина Ивановна, вы. Как уж они там между собой сговорились, обе эти официантки и буфетчица, как поделили их, кому кого — не в их, мужиков, тогдашнем состоянии было то углядеть. А после уж и не интересно было ничего узнавать, ничего спрашивать. Поделили — и все! Да так удачно, так складно поделили, что каждый из них запомнил потом, наверное, этот «пароход белый, беленький» на всю свою остатную жизнь.

— Вам хорошо, мальчики? Ничего вам больше не нужно? А то мы закрываемся, — склонилась, как сейчас помнится, к ним эта их пышнотелая русоволосая официантка, когда ресторан начал уже пустеть.

— Как закрываемся?! Да ты что, красавица? Да мы только начали сидеть! Нет, мы отсюда не уйдем... Давай, неси еще!

— Не хотите, значит, ребята, уходить? Хорошо у нас?

— Да ни за что не хотим! Да мы тут до утра гулять будем... Садись сама лучше к нам!

— Мы тоже, ребята, устали. Нам тоже хочется отдохнуть...

— А ты садись к нам! Уважь! Ты лучше с нами отдохни...

— Приглашаете, значит? Так, что ли? Всех троих?

— Да ты что? Конечно, приглашаем! Всех! И тебя приглашаем, и подружку твою... И буфетчицу тоже зови! Чего ей там за стойкой торчать? Шла бы к нам! А то стоит, зубы скалит... И ее зови! Во, смотри, сколько у нас всего...

— Нет, мальчики. Нам так нельзя, когда народ... Нет, мы вот что... Мы сейчас закроемся, шторы задернем. И свет потушим, только тут, в углу, оставим. И радио включим... Вино ваше, закуска наша. Какую только хотите... Идет, мальчики?

— Идет! Красота! — взревели они все трое в один голос. И покатилося-понеслось...

Проснувшись на другое утро, он, Алексей, даже не сразу и понял, где он и что с ним... Какая-то узкая, как гроб, каюта. Иллюминатор прямо у виска. Вода бежит мимо... Взбитые подушки, духота, скомканная простыня в ногах... И чья-то голова у него на плече, чья-то голая рука поперек его груди... А потом проснулась и она, Тоня. Проснулась, потянулась, улыбнулась ему и, придавив его грудь, прошептала ему в ухо:

— Ох, сладкий ты мой... Еще!

Ну, было, конечно, и еще... И в следующую ночь было, и в следующую за ней потом — в общем, такое было чувство, что он из этой каюты так до самого Красноярска больше и не выходил. Уж больно они друг другу, что называется, подошли. Так подошли, что если не она — так он, если не он — так она, а до самого до конца только и было, что оно: еще! Сладкий ты мой, сладкая ты моя — еще! Еще, еще...

— Алешенька, а вот... А вот если я у тебя спрошу... Робею я только, ты не сердись... — как-то, поглаживая его по щетинистой, влажной от пота щеке, спросила она, когда они, дове-

денные друг другом до изнеможения, лежали просто так, обнявшись, рядом, задыхаясь от жары. — Ты-то сам кто?

— Я? Да как тебе сказать... Писатель, журналист... А ты думала кто?

— Книжки, значит, пишешь?

— Нет, хорошая моя. Больше статейками разными про-бавляюсь. Книжку я только думаю написать...

— А чего же не напишешь?

— А времени нет. Деньги надо зарабатывать. Все мотаюсь туда-сюда. Сегодня здесь, завтра там....

— А ты не мотайся. Ты сядь, где сидишь. Сядь и напиши.

— Напиши... Легко сказать: сядь, напиши... Про что написать-то?

— А про что хочешь. Лучше про любовь напиши... Напишешь — глядишь, и мне подаришь. И я прочту... Я про любовь люблю читать...

— Правда, любишь?

— Правда люблю.

— Смотри ты... А меня любишь?

— Люблю, Алешенька... Ох, как люблю! Сладкий ты мой... Век бы весь пролежала так с тобой. И не надо мне больше ничего, только чтоб ты со мной был...

— А я, Тоня, тоже, знаешь... Я тоже, бывает, думаю... Найти бы мне такую... Такую, как ты! Скажем, чтоб пивом в палатке торговала. Или бы в магазине управлялась. Или бы вот буфетчицей, как ты... И чтоб у нее своя изба была. А в избе чтоб верхотура имелась, чердак то есть. И я бы с драными локтями на том чердаке сидел, и чтоб письменный стол передо мной был... И я бы там, с драными-то локтями да еще непременно чтоб босой.... Я бы там книжку про любовь писал. С утра бы до вечера писал. А она бы мне чего-нибудь поесть туда носила. Ну, и выпить иногда, если будет чего. А потом бы ночью... Ну, вот как с тобой. До печенок чтоб про-няло... А утром опять писать... А потом бы книжка вышла! И заплатили бы мне кучу денег. Большую кучу денег! И за все добро да за заботу я бы ей отплатил. От души бы отплатил...

— Ты, Алешенька... Ты, Алешенька, это что — серьезно?

— Да куда уж серьезнее... Никогда, понимаешь, не написать мне ничего, если и дальше буду так мотаться...

— И про чердак серьезно?

— И про чердак. А что?

— Так у меня ж такой чердак есть, Алешенька! У меня-то свой дом в Красноярске, в слободке. И мужа у меня нет, и детей нет. Только мать старая одна. Мы с ней вдвоем и

живем... И локтей у тебя драных не будет! Зачем же тебе драные локти? Уж как-нибудь одежду-то хорошую я тебе справляю... Ты только пиши! Пиши да меня люби...

А что? А чем черт не шутит? — подумалось тогда ему... И может, и не такой уж это был тогда бред! Может, и получилось бы оно все так, как они тогда с ней размечталась. По крайней мере, хоть на время. Если бы...

Ох, уж эти «если бы»! Если бы не мать ее, старая ведьма, что с порога приняла его как еще одного ханыгу, которого дочь незнамо там где подцепила: тоже, нашелся, дармоед... Если бы не такая стойкая вонь, не тараканы в доме по всем углам, несмотря на всякие там вышитые салфеточки и кисейные занавески: еще, бывало, и с потолка срывались прямо на голову тебе, дьявол бы их побрал... Если бы не работа ее, по крайней мере, летом: полтора суток дома, а потом неделю, а то и больше в рейсе, а ты сиди, смотри, как дурак, на эту Бабу-Ягу, на мать ее, жди, когда она тебя к столу позовет... Если бы не соседи, чуть не со всей улицы, что на следующий же день зачастили к ней в дом за солью да за спичками, да за керосином, а на самом деле, все за одним: посмотреть, кого это Тонька привела?

Много их, этих «если бы», признаться, было. Слишком много... Нет, не вышел чердак! Не вышел из него поэт с драными локтями... Только две, не то три ночи они с ней и проспали у нее на чердаке. А как она ушла в рейс — он без нее и суток не продержался. Схватил свой рюкзачок в охапку — и прощай, и на самолет, в Москву.

... И с Татой, женой его — тоже ведь можно сказать, что их свела вода. Есть такая река на Таймыре, недалеко от Норильска протекает — Пяси́на. Суровая река, мощная. И рыбы в ней тогда, в середине-то 60-х, еще было — страсть! Одни слова-то какие, только подумать: таймень, муксун, нельма, сиг... Боже мой, какие слова! Музыка! И что осталось от них теперь, от этих слов? И сколько им вообще еще быть и жить, этим словам, если оно все и дальше так пойдет?

Кто-то из их общих друзей взял тогда и ее, Тату, на ту рыбалку... Конечно, дело это больше мужское, но ведь интересно же! А она всегда была любопытная, всегда ей все было интересно. А тут в тундру, да на моторках, да в накомарниках, да ночи нет — июль, круглые сутки солнце стоит в небе, да еще костер горит, да уха булькает, да ребята под гитару песенки разные поют, струны перебирают — как же ей, молоденькой девчонке, недавно только-только из института, удержаться, не поехать, если зовут? Да и зачем было удержи-

ваться? Ворчать некому, папа — мама в Москве живут, а она здесь, а компания — все свои, все молодые, веселые, все друг с другом переспавшие, друг друга перелюбившие, все с местной полупрофессиональной, полуплюбительской телестудии... Да и не часто такое случается, чтобы в две моторке, с палатками, с выпивкой вверх по Пясине, в тундру: ну, раз, ну, другой за лето от силы — и все. Это ж даже не промысел, хотя и сетью ловили. Это так — скорее чтобы только еще какой праздник был.

Да что говорить! Плохо у них там, в Норильске, с праздниками было. Зимой — какие зимой праздники? А летом... Сколько оно, лето-то, стоит там, в Норильске? В июне еще и пурга может быть, а с конца августа — уже опять снежок да ледок, а там уж и зима, и полярная ночь, и ветры, и вьюги, и заряды снежные сшибают тебя с ног, и по улице, бывает, только держась за канаты и можно идти, а иначе пропадешь, в двух шагах от дома пропадешь. И еще насидишься дома-то зимой, еще наглоташься табачного дыма всласть в четырех стенах, еще и любовь, и карты, и книги, и водка опостылят так, что хоть вешайся... Еще и наплачешься по травке-то по зеленой, по цветочкам в саду, по маменькиным пышкам да ватрушкам, да по вареньям ягодным... А здесь — какие цветочки, какие ягодки? Круглый год лук зеленый в горшках и ящиках у каждого на подоконнике вместо цветов! Да чахлый овес на газоне летом на том месте, что считается городским бульваром — вместо деревьев-то да всяких там кустарников. А больше ничего! Больше ничего и не растет. Только и есть радости, что жарки в тундре, когда придет их срок... Ах, какие же они красивые, жарки — красные, оранжевые, огненные... Да только за них одних, за жарки, всех комаров стерпишь! И гнус стерпишь, и палатки сырые, и болота чавкающие, и холод, что даже и летом пробирает тебя там поутору, в тундре, до костей.

И закутило, и закружило их с ней после той поездки на моторках по Пясине. Так закружило... Остановись, колесо! Дай хоть оглядеться немного, понять: и куда же это нас несет? А куда несет? Туда же и несет, брат, куда и всех до вас несло, от Адама и Евы. А может, еще и раньше: говорят же ведь, что до Евы была Лилит... Любовь, одним словом! Достала она и его наконец...

Достала! И плевать, что у нее там уже любовник был — плюгавый, манерный такой парень, режиссер местного театра, лет на десять постарше ее. Противный, надо сказать, был режиссер! По виду — ни дать, ни взять несостоявшийся

педераст. Надутый, надушенный, всегда в бабочке, и все глаза закатывал да голоском своим козлиным все ни к селу, ни к городу подвывал. Но все утверждали — поэт. Большой поэт! Тоже мне — поэт... Да какой там поэт? Сморчок, и больше ничего. Запудрил всем мозги своими многозначительным мычанием, а вдумаешься, вслушаешься — кроме кривлянья да щеконадувательства в них и не было ничего, в этих его виршах. Одна пустота! Только от вечной ночи за окном да вечной мерзлоты под окнами их и можно было признать за стихи... Но удивительно то, что и она, Тата, поддалась тогда на эту пустышку! От безлюдья кругом да от тоски, наверное, и поддалась... Подалась да вовремя опомнилась! Во всяком случае, после той поездки на моторках этого плюгавого поэтишку как ветром сдуло, будто и не было его совсем. Ни бабочки его, ни подвыванья, ни этих вечно заведенных кверху глаз...

А странная все-таки, чудная какая-то любовь у них была там, в ее этой крохотной комнатушке, на первом этаже... Она-то, Тата, надо думать, уж привыкла: как-никак, третье уже лето в Норильске жила. А для него это все было в диковину: как это так? Проснешься, на часах три или четыре ночи, а за окном играют в волейбол. Да так азартно играют! Прыгают, кричат, бьют через сетку, судья свистит в свисток, болельщики на скамейках сидят, подбадривают, переживают за своих... А рядом она руки опять к тебе тянет, опять зовет к себе... Ах, какие волосы у нее тогда были! Какие волосы — утонешь в них, не выплывешь... А самое главное — и не хотелось выплывать... Мало ли что оно там, за окном! Солнце не солнце, волейбол не волейбол... А пошли вы все, весь мир, куда подальше! Не до вас.

Но сердце сердцем... А голова-то у него всегда работала. Даже и тогда работала... Вот и ласковая ты, Татонька, и нежная, и прильнешь иной раз так, что кажется: вся она сейчас, без остатка уйдет в тебя и будет так и дальше жить в тебе... А все-таки и тогда уже в ней это чувствовалось: потверже, пожалуй, человек будет, чем ты, Алексей Мамонов! Такую не согнешь, не переделаешь, такую можно только сломать... А кто его знает, как оно там дальше будет? А вдруг, не дай Бог, придется ее когда-нибудь ломать?

Особенно настораживало его — и не просто настораживало, а, по-честному говоря, даже пугало-то, помнится, почти маниакальное упорство, та настойчивость, с которой она билась тогда с городскими властями за одну свою идею. Очень, надо сказать, необычную по тем временам идею.

Нет, он, конечно, сочувствовал ей, восхищался ею! Даже, было, пытался помочь ей, чем мог — по крайней мере, в те месяца полтора, что он тогда жил в Норильске. Все-таки и он тоже уже был тогда не просто так, не первый встречный с улицы: корреспондент центральной московской газеты, приехал писать про большое дело — про Талнах, про новый рудник, который тогда только-только начинали осваивать. Понятно, что двери к любому норильскому начальству он тогда открывал только одним способом — ногой. Но....

Но уж больно необычную вещь она, скромный редактор местной телестудии, девчонка, недавняя выпускница истфака МГУ, тогда, в 1964 году, затеяла: создать городской исторический музей. А уж если называть вещи своими именами — то музей жертвам сталинского террора в Норильске и на всей таймырской земле. Какая ж еще история в Норильске была? Не было больше никакой другой истории. Не было! Конечно, насчет самого террора с ней никто не спорил — все всё знали, все всё понимали. Всего каких-нибудь восемь—десять лет назад население Норильска делилось примерно в такой пропорции: пять тысяч вольнонаемных, в основном охрана, и триста тысяч заключенных. И так оно и было всегда, с самого основания города, года за три еще перед войной. Одна железная дорога Норильск—Дудинка, девяносто километров всего, чего стоила! Что ни метр ее, то, небось, два-три трупа, а то и больше, под насыпью лежат. Да рядом в тундре, в болотах, еще могила на могиле — кто их когда считал? А она, Тата, еще и дальше глядела. Уже не девяносто, а тысяча двести километров было железной дороги через тундру от Салехарда до Игарки — это тоже ведь рядом с Таймыром! Там-то какие сотни тысяч, какие миллионы лежат? И ведь ни один поезд никогда не проехал по той дороге, по железным тем рельсам. Этих-то несчастных, получается, и вовсе в пустую тот убийца усатый сгубил...

Все, Наташечка, так! Все так, конечно... Но музей?! Тогда, в 1964 году?! Господи, сумасшедшая какая-то девка! Право слово, сумасшедшая... И страшало ее тогда местное начальство, и в КГБ грозились сдать, и душевнобольной не раз обещались объявить. А она все не отстает, все за свое колотится! Но, к чести тогдашних норильских властей, так и не сделали они ей в итоге ничего плохого. Люди-то, когда можно, когда обстоятельства позволяют — они ведь тоже не звери, у них ведь тоже у всех совесть есть... И жалко эту свя-тую дуру, и страшно за нее, и за себя им, начальству, тоже

страшно, да, авось, до Москвы далеко! Авось, оно и так само собой как-нибудь на нет сойдет...

Так и улетел он, Алексей, тогда в Москву в полном душевном раздрае. С одной стороны, вроде бы и знал, и чувствовал, что это наконец — его, не чужое чье, а именно его. А с другой — а ну-ка, Татонька, не по нему ты ноша? А ну-ка придется потом давать задний ход? Но письма они друг другу сразу стали писать. И даже по телефону иногда разговаривали... А месяца через полтора-два после его отъезда оттуда пришло от нее то самое письмо, которое и решило все: «Алеша, родной мой! Теперь уже сомнений быть не может никаких. Я на третьем месяце... Как скажешь — так и сделаю: да—да, нет—нет. А если у тебя, не дай Бог, какие сомнения, то клянись тебе, как перед иконой: никакой поэт тут не при чем».

А вот насчет опасений его этих, что рядом с ним дальше всю жизнь будет какая-нибудь Софья Ковалевская или Александра Коллонтай — вот это все оказалось напрасно. Поженились они, родила она, Тата, Костьку — и все, и как рукой сняло... Милый человек, хорошая жена, заботливая, внимательная мать, домоседка, вечно в хлопотах, вечно в делах... В общем, как и все: с работы в магазин, а оттуда с полными сумками да еще бегом в детский сад за Костькой, а потом к плите, а потом стирка, а потом в телевизор глянула одним глазком — и все, ваших нет, и с ног долой, только бы до кровати как-нибудь доползти.

И работу она себе нашла подходящую, по сердцу работу: поступила хранителем в Этнографический музей... Э-эх! Да неужели никто никогда так и не напишет об этих тихих, никому незаметных бабах, на ком держались и держатся все наши музеи, все библиотеки, вся память наша о самих себе? Вот уж где подлинно святые люди обретаются! Что там ваши все монастыри... А нищета какая зеленая — мать ты моя, какая нищета! А штукатурка обвалившаяся, а крысы, а разошедшиеся полы, а ведра по углам, когда дождь, когда крыша, сто лет нечиненная, течет? А зарплата их? Стыд, позор, какая зарплата! Всенародный позор... И нигде, ни откуда ни малейшего просвета. Одна только и радость, что в обед вместе с бабами чайку попить, покалякать о своих бабьих делах... Но если где пейзажик какой интересный или шкатулочка затейливая вдруг обнаружатся, или образок старинный, или какая-нибудь там прялка олонеккая, от царя Гороха оставшаяся, или рукописное Евангелие от раскольников — глотку любому перегрызут, никому не отда-

дут! Будто и не чужое, и не казенное это все, будто каждой из них лично оно все и принадлежит. Ни за что никому не отдадут, хоть ты тут на месте их всех и казни.

Нет, характер у нее, у Таты, как был крепким, так крепким и остался... Только на другое это все пошло. Пошло на него, Алексея, да на Костьку, да на дом. А что от них оставалось, то ушло на ее эту этнографию, на книги, на прялки да на иконки, словом, на весь этот Богом спасаемый ветхозаветный хлам. Ну, а уж то немногое, что и на это не ушло, то пошло на себя... Хотя... Хотя, как сказать, немногое? Пусть, может, и немногое, но ей, очевидно, и этого хватало, несмотря на все ее хлопоты и заботы. И в чем — в чем, а, скажем, в расхристанном халате, натянутом на одно плечо, или в спущенных чулках, или в растрепанных, нечесанных волосах — нет, уж в этом-то он ее упрекнуть никогда не мог. Всегда в порядке, всегда подтянутая, каблучки стучат, сумочка через плечо, голова уложена, губы чуть подкрашены... Всегда на нее встречные оборачивались. И в тридцать оборачивались, и в сорок. Долго она так держалась! Изо всех сил держалась. Но... Но, как ни печально это сознавать, в конце концов уже и это не помогло... К сожалению, нет, не помогло...

А! Быт, Татонька. Что поделаешь — быт проклятый заел... Все приелось, все стало скучно, обычно, все превратилось, понимаешь ли, в каждый день. Длинный, тягучий каждый день... А как она, Тата, легка была поначалу на ласку! Как тянулась к нему, не стеснялась ничего — ни себя, ни его. Разбудил он ее, разморозил — он разморозил, не поэт... А потом, незаметно как, опять отчего-то сжалась вся изнутри, опять заморозилась. И откуда-то вдруг появилось, а потом стало разрастаться, разрастаться это отвратительное ощущение обязанности — добровольно-принудительной обязанности и для нее, и для него. Вот в чем все дело, Тата! Вдохновение исчезло, обязанность вместо него появилась. И обязанность — не возраст — нет! — она и погубила все... Да еще, наверное, это невысказанное ни разу, но все время, после недолгих безумств молодости, стоявшее между ними чувство какой-то неловкости: вот это вроде бы можно, это пристойно, а вот это — вот это нет...

А все-таки... А все-таки и на том, друг мой, спасибо: лет двадцать мы с тобой, Татонька, были счастливы. Это, дорогая моя, срок — и еще какой срок! Много ли их, таких, кто может похвалиться тем же? А мы с тобой двадцать лет, что называется, душа в душу прожили. И ты, если я чего понимаю, никуда на сторону не заглядывала, и я тоже все эти годы, счи-

тай, безгрешен был. Ну, скажем так: почти безгрешен... Конечно, святостью тебя, Алексей Мамонов, Господь Бог еще, видно, с рождения обделил. Но в общем-то все тогдашние твои грехи, если не судить их совсем уж строго, были даже и не грехи, а так, пустяки какие-то... Не о чем даже всерьез и говорить! Что-то вроде допинга для бегуна, причем для бегуна на длинные дистанции. Чтобы только раньше времени с круга не сойти...

А без нее... А без нее, без Таты, Алексей Иванович, как, интересно знать: смог бы ты эту дистанцию пробежать? Этот свой марафон длиною в жизнь? Смог бы или нет? О, это вопрос... Это большой вопрос... Нет, положи руку на сердце... Сломался бы, наверное, где-нибудь на бегу, не выдержал бы. Расплющила бы тебя в конце концов советская власть, как тот желтенький одуванчик под бетонной плитой...

Ведь все время нарывался! Все время по краю ходил. И как только шею себе не сломал — одному Богу известно... А по натуре ведь вроде бы всегда смирный, безобидный был человек! Смущался, мучался от неловкости, слова всякие подбирал, если надо было сказать какому-нибудь подлецу, что он подлец. А первое время, когда еще только начинал всерьез писать, даже, помнится, робел, сомневался, упрекал себя за наглость: что ж это я, один в России такой умный? Один такой понимающий? А остальные, что же — дураки? Все, как один, дураки?

А началось все, помнится, с одного его личного открытия, лет тридцать, а то и больше назад. Открытие, которое вдруг стукнуло, оглушило его тогда как обухом по голове... Сколько шуму в те годы было везде обо всех этих великих стройках, о всех этих гигантских плотинах через Волгу, Енисей, Ангару, Днепр! Преобразование природы! Основа могущества страны! Самая дешевая в мире электроэнергия! И только где-то, в какой-то, сейчас уже забылось, газетке, попался ему однажды ехидный такой вопросик: а вы все подсчитали, господа хорошие? А сколько стоят те десятки миллионов гектаров чернозема и другой земли, что эти плотины погубят на веки вечные? Может, не самая дешевая, а самая дорогая в мире получится тогда электроэнергия, а? А если сюда добавить и рыбу, и протухшую стоячую воду, и погубленные, ушедшие на дно леса, и переселение людей — да мало ли еще что? В какую копеечку оно тогда все выйдет? Так, может, и не стоило огород городить?.. Ну, а когда дошло до него все это, до печенок, что называется,

дошло — бросился и он, молодой тогда журналист Алексей Мамонов, со всем отчаянием и безрассудством молодости, напрямую в бой: разобрать все эти плотины, пока не поздно, к чертовой матери! Ошибка граждане! Страшная ошибка! Караул!

Разумеется, результат от этого его истошного крика мог быть тогда только один: главному редактору — на вид за ротозейство, а ему, Алексею Мамонову, по молодости лет, на первый случай строгий выговор в личное дело... Да еще сослали его тогда на год, не меньше, в отдел писем. Чтобы, так сказать, поостыл...

Остыть-то он тогда, конечно, остыл... Но, как показала вскоре жизнь — ненадолго! И пинали его потом, и ругали, и за штаны держали, и в ЦК сколько раз вызывали, и в диссиденты в конце концов зачислили, а он все про свое да про свое. Во все ввязывался, до всего ему дело было... И в залыгинской кампании против плотины на Нижней Оби участвовал — кстати, единственный, кажется, за все эти десятилетия случай, когда здравый смысл вопреки всему победил. Хороши бы мы были, между прочим, сейчас, если бы вся тюменская нефть под воду ушла! А так бы оно и было, если бы этот чертов «Гидропроект» тогда добился своего, перегородил бы Обь плотиной... И за Байкал воевал... И про Каракумский канал писал: что ж вы, сукины дети, делаете, куда смотрите? Дальше собственного носа не можете заглянуть? Аму-Дарью-то, воду ее, считай, уже всю разобрали! Да все, что вы там на хлопке возьмете, — все потом в Приаралье да на высохшем до дна Арале потеряете, да на заболоченных, засоленных из-за этого канала землях в других местах... И про «черные бури» в Калмыкии и Ставрополье тоже писал... И про задымленные, страшные, как дурной сон, города: Днепродзержинск, Челябинск, Магнитогорск, Братск — про вечную мглу, гарь, «лисьи хвосты» над ними... И про развороченную тракторами, залитую нефтью тундру писал, и про затонувшие во весь свой исполинский рост таежные леса в водохранилищах, и про молевой сплав по рекам, устлавший везде их дно в несколько рядов топляком... И про безумные планы поворота северных рек — тоже кричал, надрывался. Да что планы! Ведь всерьез уже взялись, всерьез стали рыть, кабы не «перестройка». Господи, сколько же миллиардов зазря ухлопали... Дикари, воистину дикари! Хоть все и в очках, все с портфелями, с дипломами, да со званиями, да со степенями, каких только хочешь наук... А Чернобыль? И чернобыльская трагедия

мимо него не прошла... И Новая Земля, и Семипалатинский полигон... Тридцать лет писал. Про все писал — про все!

А спроси его сейчас: как это, брат, тебе удавалось? Как это рот-то тебе не заткнули еще тогда, когда у тебя только-только голосок прорезывался? А черт его знает как... Вот так и удавалось! Ну, конечно, что ни статья, так обязательно в начале: «как сказал Н.С.Хрущев» или «как нас учит тов. Л.И.Брежнев». А они оба много о чем говорили и многому чему учили! Ну, а дальше уж давай, шпарь, как там у тебя из души рвется. Конечно, прочтет какое-нибудь суконное рыло со Старой площади, поморщится, как от зубной боли: «Ах, не наш человек! Не наш...» Но что поделаешь? Глотай как глотается. Правила игры-то соблюдены...

Одно, надо думать, их только и успокаивало: а, все это ерунда, комариный писк! Все это так — толпе на потребу да в развлечение... Мало ли о чем нынче в газетах ни шумят? Истинные-то дела делаются не там. Не там, не теми и не так... Мораль, видите ли ему, Мамонову, подавай! Человечность, сострадание к людям, здравый смысл... Да кому какое дело сегодня до всей этой чепухи? Развел, понимаешь ли, сопли. Тоже, защитничек нашелся... Демагогия! Работать надо, товарищ Мамонов. Работать! Дело делать! И не вопите, не скулите зря, не будоражьте общественность, не отнимайте время у серьезных людей. Есть высший государственный интерес, есть ответственность за дело, за державу, за страну — а вы тут только путаетесь под ногами, проблемы разные придумываете... Нет, Алексей Иванович! Вы жестоко ошибаетесь. Жестоко! Народ вас не поймет. Это все евреи придумали. Да еще, извините, бездельники, вроде вас... Лучше бы вы направили свои силы, свой талант — а он у вас есть, безусловно, есть! — на что-нибудь полезное, нужное стране. Сколько дела вокруг! Полезного дела! Оглянитесь, раскройте глаза. Дух захватывает — какие перспективы... А вы все по помойкам копаетесь, по мусорным ямам. Фактики разные выискиваете... Задумайтесь, Алексей Иванович! По-хорошему советуем — задумайтесь. Как бы вам потом самому не пожалеть... Спихватитесь — ан оно уж поздно будет! Жизнь-то, сами понимаете, коротка...

И ничем ты их таких, бывало, не прошибешь — ничем, хоть ты тресни... Просто, бывало, столбенел он, Алексей, от этой спеси, от этой ничем, никакими пушками непробиваемой их уверенности в себе. Форменным образом столбенел! И язык отнимался, и голова сразу делалась пустой, гулкой,

как пивной котел, и руки-ноги опускались в бессилии: ну, что еще тебе, сволочь ты этакая, сказать? Что? Да тебе хоть кол на голове теши — разве ты услышишь еще кого, кроме себя?

Но, к сожалению, дело было отнюдь не только в том, что каждый раз перед тобой сидел не человек, а шкура, сволочь, озабоченная только тем, чтобы и дальше в этом кресле усидеть. Нет, не только в этом. Это было бы слишком просто, чтобы этим все объяснить... Другое нельзя не учитывать. Была — ох, была! — в них какая-то своя вера, своя мысль, которую люди вроде него, Алексея, так не смогли никогда ни прочувствовать до конца, ни тем более принять. И не только у них, у этой сволочи — у многих, если не у большинства, эта мысль жила. Пусть где-то в подсознании, в спинном мозгу, но жила. Да и сейчас, похоже, что живет. А скорее всего, и дальше тоже будет жить — и тогда, когда, наверное, и нас уже не будет никого.

Был, помнится, у него однажды разговор с одним таким большим боярином... Очень большой был боярин! Из самого верхнего, можно сказать, синклита: секретарь ЦК и, кажется, уже тогда кандидат в члены Политбюро. Долго он тогда пробивался к нему на прием, пока не пробился... И до сих пор еще звучит в ушах этот их разговор! А сколько уж лет тому назад это было, сколько уж лет прошло...

Помнится, было это в период «разрядки», в самом начале 70-х годов. Какой-то крупный западный предприниматель обратился тогда к нему, к Алексею, за помощью: помогите, наконец, убедить ваше начальство, что это ж уму не постижимая глупость — и дальше забивать ваши реки топляком. Это же не топляк — это чистое золото! Это же первоклассный, первостатейный лес! Пусть только дадут нам концессию, а кредиты, и технология, и все работы по очистке ваших рек — это уж не ваша забота. Мы все это берем на себя. А вы только будете стричь купоны да дело помаленьку осваивать. Пригодится же вам еще! Вам ведь, по всему виду, еще не одно десятилетие, а, может, и не одно столетие лес валить да лесом торговать.

Долго слушал тогда его этот боярин у себя в кабинете на Старой площади, сонно поглядывая на него из-под опущенных, набрякших старческой слезою век. Слушал, молчал, жевал губами. Но не перебивал.

— Все? Кончил? — спросил он его наконец.

— Да, вроде, кончил, ваше, так сказать, высокопревосходительство. Вроде мне и нечего больше сказать.

— Так вот... Слушай, что я тебе скажу...

— Слушаю! Весь внимание... Сами понимаете, вопрос архиважный. Надеюсь, хоть немного да убедил...

— Так вот... Знаешь, что, парень, я тебе скажу? Мой тебе совет — не мельтеши... Не жили мы, понимаешь, никогда хорошо. И не хера привыкать! Понял меня, нет? Не хера привыкать! А то отвыкать потом больно будет... Все, парень, понял? Так? Иди!

А в диссиденты они его все-таки зря тогда зачислили... Телефон на прослушивание подключили, все письма — и что на работу приходили, и что он дома получал — просматривали. Бывало, и следили за ним, и топтунов к нему приставляли, особенно если он с какими иностранцами встречался. А за границу так до седых волос и не пустили. Невъездной — и баста! Все намекали, что уж если ему куда отсюда ехать — так уж насовсем...

Дураки! Одно слово — дураки... Какой он был диссидент?! Да если бы они таких, как он, слушали — и сегодня целы бы были! И сегодня держава бы стояла. И они бы все при деле да при своей колбасе и дачах были. И жизнь, может, кругом для людей другой, хоть чуть-чуть сносной бы была... Сами виноваты. Думать надо было головой, а не задницей! Пошевтели бы мозгами загодя — может, и не дошло бы до всего до этого. И их бы всех тогда, может, тоже — за ихнюю же дурость — не смело бы этой всесокрушающей волной. Ведь только исключительно по собственной дурости они Россию проморгали. Прохлопали, сукины дети, Россию! А заодно и их самих вышвырнуло вон, на свалку. Как и тех, кто был когда-то до них...

Господи, четыре революции, включая нынешнюю, — и всего-то меньше, чем за девяносто лет! Чуть ли не за одну человеческую жизнь... А если считать еще и коллективизацию — то пять. А если считать еще и побоище тридцать седьмого-тридцать восьмого года — то шесть! А еще три страшных войны, не говоря уже про всякую мелочь, вроде японской там или финской, или афганской. А еще минимум пять или шесть голодовок, да не в отдельных местах, а на всю страну. Да всякие там разруха, вши, эпидемии, землетрясения, Чернобыль... И все эти бесконечные призывы — поднапрягись, удвой усилия, подтяни животы... Боже мой, какая еще страна в мире выдержала что-нибудь подобное? Какая? Воистину прав был Чаадаев: видно, от Бога судьба наша такая — служить всему миру примером того, как не

надо. Как не надо думать, как не надо делать, как не надо жить...

А диссидентов, между прочим, он и сам не любил. Да-да, господа хорошие! Не любил — пусть это не удивляет вас. Не любил — и оказался прав. А не любил за то, что всегда чуял: за каждым святым у них всегда толпится целая свора алчных, безжалостных проходимцев, которые только кричат, что они за людей, что им ничего другого не надо. Врут они все! И тогда они ввали, и тогда уже он их разглядел. А святой — что ж святой? Либо сам помрет, как Сахаров, либо отеснят его, святого дурака, куда-нибудь в угол: посторонись, дескать, юродивый, ты свое дело сделал, теперь наша очередь пришла. Все это вам, господа, еще Федор Михайлович Достоевский написал. Все! «Бесы» надо читать... Ах, доказательства, говорите? Да вот они вам ваши доказательства! Кругом одни доказательства. Один этот полоумный грузинский фюрер — один он чего стоит. А был диссидент — куда уж больше! Даже в тюрьме, как утверждают, сидел. А другие все — чем они лучше? Чем они-то лучше, если уж на то пошло? А большевики? Нет, правда, а большевики? Кто они-то поначалу были, по-вашему? Разве не диссиденты? Самые классические диссиденты. Только повод тогда был малость иной.

Нет, мы еще посмотрим, еще поглядим, что у вас, у новых-то, получится! Какой там рай вы сумеете устроить для людей... Ох, сомневаюсь! Ох, сомневаюсь, господа. По крайней мере, если судить по началу — очень много шансов за то, что опять это будет никакой не рай, а все тот же ад, только, конечно, в других несколько декорациях. А может быть, даже будет еще и хуже того, прежнего. И опять будет сумасшедший дом... Все тот же он — наш родной, российский сумасшедший дом...

И все это они с Татой пережили! Вдвоем, вместе пережили... И надо признать: если бы не Тата, если бы не прочный, так сказать, тыл у него, у Алексея, за спиной — не прожить бы ему свою жизнь более или менее по-человечьи. Сломался бы, наверное, спился, под забором бы где-нибудь сдох. Или бы вены себе вскрыл в конце концов, только уж, конечно, сделал бы это поудачнее, надо думать, чем покойный отец. Или... Или бы учудил какую-нибудь несусветную глупость с отчаяния! Сколько ж можно было без толку колотиться лбом от эту стену... Такое бы учудил! Учудил бы — и загремел. И либо в тюрьме кончил бы свои дни, либо где-нибудь в Нью-Йорке, без языка, с протянутой рукой. Да и

то, если бы очень повезло... Так что, положи руку на сердце — поклон, низкий поклон тебе, Татонька. Считаю, спасла ты меня!

А впрочем... А впрочем, это тоже еще неизвестно, кто кого спас... Поэтишка-то тот дрянной все-таки в твоей, Татонька, жизни был. Об этом тоже не надо забывать. И тоска была, и ночи норильские долгие, беспросветные были... И кто знает, как бы она, твоя жизнь, сложилась, если бы этот твой несостоявшийся гений и дальше потащил тебя за собой? Тоже, небось, вляпалась бы в какую-нибудь трясину, в безысходную грязь. И читала бы ты сегодня, дорогая моя, у себя на кухне разным дуракам эти его якобы стихи, и плакала, и пила бы, и дралась бы с ним в кровь, и проклинала бы на чем свет стоит и его, и себя, а заодно и весь крещеный мир...

А насчет Светланы... А насчет нее, Наталья Владимировна, как говорится, Бог нас с тобой рассудит. На это ведь тоже можно по-разному посмотреть... Нет-нет, я тебя не виню! Ни в чем не виню, Боже упаси. Это уж совсем была бы наглость с моей стороны — тебя винить. Ты-то уж здесь совсем ни при чем... Ну, какая твоя вина, что когда она, Светлана, появилась, тебе было почти пятьдесят, а ей тридцать? И какая твоя вина, что и я, и она — мы оба тогда потеряли голову? Что она ухватилась тогда за меня мертвой хваткой, как утопающий за протянутую руку? Что я тоже до седых волос еще остался мужик и, может быть, даже больше мужик, чем был когда-то и с другими, и с тобой? И какая твоя вина, наконец, что Ксюшка, не спросясь никого, взяла и родилась?

Грех, говорите? Конечно, грех. Кто же спорит. Знаем, читали — по Евангелию, грех. Большой грех! Грех прелюбодеяния — так, кажется, это называется? Но тут-то уж Христос, по-моему, все-таки переборщил. Сильно переборщил! Это людям даже потруднее, чем подставлять левую щеку, когда тебя бьют наотмашь по правой. И потруднее, чем возлюбить врагов своих... Да, честно говоря, и надо ли? Ну, были бы мы с тобой, Татонька, два несчастных старика, давно — что уж тут притворяться? — опостылевшие друг другу, но по привычке живущие рядом. Да еще был бы и третий несчастный человек. А так, что ни говори, счет обратный: трое счастливых и один несчастный. А может... А может, на самом-то деле и вовсе несчастных нет никого...

Нет, но как же... Как же все-таки хорошо здесь на набережной, а? И куда они все подевались, люди, куда попрята-

лись? Во всем парке — ни души. Будто приказ какой вышел по Москве: всем исчезнуть! Исчезнуть и не мешать ему, Алексею Мамонову, сидеть вот так на лавочке, смотреть на Москва-реку и рассуждать самому с собой про всю свою нескладную жизнь... Да и без всяких там приказов — не до парков, не до лавочек сейчас, похоже, людям на Москве. Либо носятся повсюду, как угорелые, либо, будто пыльным мешком пришибленные, по домам сидят, хлопают глазами, не понимая, что же такое случилось, что происходит вокруг, и куда ж теперь это все повернет?

Ах, если бы знать, дорогие вы мои — куда? Если бы знать... Что оно сыпется все, рушится, валится куда-то — это-то все видно! Это-то мы все с вами ощущаем, на себе, шкурой ощущаем... Но куда? Куда?! И некому сегодня ответить на этот вопрос. Во всей Москве, во всей России некому — никто не знает, куда... Разница лишь в том, что одни еще во что-то верят, на что-то надеются, а другие уже и не верят ни во что. Не верят и ждут, когда же он наконец придет — тот, давно еще, до рождения их обещанный им Судный День. Тот День, которым их в младенчестве бабки старые пугали. И в который, по беспечности своей, они не верили никогда...

* * *

Прошел июнь. За ним прошел и июль, и наступил август, а жара в Москве все не сходила. От стойкого зноя листья даже и в парках, и на бульварах начали уже на глазах сворачиваться и желтеть, а на улицах и площадях они уже давно, еще в июне—июле, побурели, а то и вовсе облетели все, обнажив скрюченные, страшные ветви задыхающихся или уже задохшихся в городском чаду лип и упорных, но тоже, как оказалось, не двужильных, тоже, видимо, обреченных скоро умереть тополей.

И уже никакой дождь, никакая гроза не могли привести Москву в божеский вид. Заплеванная, замызганная, заваленная мусором, серая вся, пыльная, облупившаяся донельзя, заросшая везде бурьяном, везде в ямах, в кучах искореженного, брошенного бетона и битого кирпича, жадно, как рыба на песке, хватяющая раскаленный воздух беззубым ртом — она, Москва, тоже, казалось, что шла к своему концу, махнув в бессилии на все рукой: а, пусть оно все идет как идет... Все в Божьей воле. И ни в чем не волен человек.

Что ж, конец — значит, конец! Когда-нибудь он должен же быть, конец. А может... А может, все-таки еще и не конец! Может, и еще проживем. Может, оно еще все как-нибудь там и образуется, наладится, только бы сил хватило перетерпеть. А что-что, а уж терпеть-то русскому человеку, как известно, сам Бог велел. И что-что, а это-то он всегда умел.

ГЛАВА VIII

У каждого, как известно, свое от жизни лекарство. У кого любовь, у кого водка, у кого работа. Да мало ли у кого что? И собака, и кошка с котятами — это тоже ведь для многих лекарство. Причем, может, как раз то единственное, что только и позволяет им еще как-то жить...

У нее же, у Таты Мамоновой, самым главным в жизни лекарством всегда были: соломенный веник — раз, мокрая тряпка — два и большой эмалированный таз с водой — три. Потом, с годами уже, прибавились, конечно, и пылесос, и полотер, и щетка на длинной ручке, которой можно было доставать до самого верха книжных стеллажей. Но главным всегда были все-таки они: веник, тряпка и старый, давно уже обколовшийся по краям таз... Нет, как же! Еще и чайник с длинным изогнутым носиком: им очень уж удобно было поливать цветы, особенно эти кусачие, колючие кактусы, из которых у них с Алексеем за жизнь образовался на подоконнике целый кактусовый лес. Про него-то, про чайник, разве можно забывать? Тоже, считай, главный медицинский инструмент в доме. И неизвестно еще, что главнее: этот чайник или аптечка в углу на кухне, или какой-нибудь там аппарат для измерения давления — тот, который она зачем-то купила, да так потом и забросила, чтобы не расстраиваться лишний раз зря по всяким пустякам.

И откуда это все у нее? Откуда именно этот, а не другой какой способ лечения от жизни? Бог его знает, откуда... Уж, во всяком случае, это-то никак не наследственное, не гены. Это, безусловно, благоприобретенное, только вот когда приобретенное — и самой ей, наверное, не сказать.

Покойные родители ее — земля им обоим пухом — честно сказать, были довольно-таки бестолковые люди. Добрые, но бестолковые. Вечно чего-то суетились, нервничали, сбегались-разбегались, ссорились по мелочам... А чего ссорились? И сами, наверно, не знали толком чего. Куда им друг от друга было деться? Даже работали — и то

всю жизнь вместе, в одном и том же КБ. Отец инженером-конструктором, мать чертежницей...

И вечно им все чего-то в жизни не хватало, вечно их от чего-то трясло! То вдруг, помнится, всполошились: дачу надо строить, участок дают. А денег нет... А зачем, спросить бы их, строить? Да отец не то что строить, в земле копать, сады там разные сажать — гвоздя в стенку всю жизнь сам не мог вколотить! А тут вагонка, шифер, олифа, трубы, пьяная мастеровщина, бесконечные подношения всякой сволочи, — да куда им было строить? Ну, конечно, и не вышло ничего путного из этой затеи. Так, стоит там какой-то сараюшка, место занимает. Удивительно, как он до сих пор-то там стоит, не развалился! А ведь года три-четыре тогда, не меньше, их из-за этого сарая лихорадка колотила... А то вдруг у них на работе какой-нибудь скандал — опять какая-то очередная склока, опять чего-то там не поделили. И опять они с матерью будут всю ночь ворочаться, не спать — да не одну ночь, а отец будет вскакивать, зажигать свет, будет курить, кашлять, бегать по комнате, воду пить. И мать тоже: нет бы его успокоить — еще и сама от себя своими причитаниями керосину подплеснет в огонь. А из-за чего? А не из-за чего! Опять все кончится, как всегда, какими-то сущими пустяками. Стоило ли и переживать... А то вдруг мать, видишь ли, не так на кого-то там посмотрела! А то он, отец, черт знает где там до ночи шляется! А он и не шляется вовсе, он в преферанс у кого-то играет. Всего-то, как говорится, и делов...

А дома... А дома вечно все всегда вверх дном: юбки, расшвыренные по стульям, носки на подоконнике, грязная посуда в мойке, пыль по углам... И жили всегда, будто на вокзале, все время в ожидании: вот, придет он сейчас, наконец-то, поезд, и куда-то их всех отсюда увезет. Да куда увезет-то, спросить бы их обоих тогда? Куда? Никуда он не увезет... Да и вообще: не придет никогда, тот поезд-то ваш долгожданный. Не придет — не ходят они, эти поезда. И ни в одном расписании их не было и нет...

Нет, веник, тряпка, таз с водой — это у нее не от них, не от родителей... Сколько она себя помнила, тогда лишь в их доме устанавливалась более или менее сносная, спокойная, опрятная жизнь, когда к ним из Тулы приезжала погостить, а заодно показаться врачам тетя Оля, мамина сестра — одинокая бездетная женщина, потерявшая мужа в войну и страдавшая тяжелой астмой. Вот когда и ссоры в доме прекращались сами собой, и отец уже не вскакивал, не курил по ночам из-за всяких там служебных обид и неурядиц, и юбки

больше не валялись нигде по стульям, и посуда всегда была перемыта, и зачехленные совсем уж было фиалки на окне вдруг распускались вовсю. И другой цветок на подоконнике — Ванька-мокрый, как его почему-то тогда называли — тоже вдруг оживал, покрывался весь красно-лиловыми, двухярусными колокольчиками с длинными усами и лепестками, растопыренными раструбом вниз.

А все потому, наверное, успокаивалось в доме, что тетя Оля говорила всегда тихо, ни с кем не спорила, ни на кого не кричала, никуда не торопилась... Вся складная, ловкая, уютная такая была... И все, бывало, чему-то улыбалась про себя — а уж чему ей-то было улыбаться, при ее-то жизни? Ползала, бывало, по квартире, как муха по стеклу: чего-то все прибиралась, чего-то починая, пыль везде, где увидит, смахивала, ложки-вилки зубным порошком чистила, чтоб блестели, цветы поливала... Заметит, бывало: занавески на окнах уже пожелтели от табака, уже грязные стали, — а Пасха на носу, — дождется, когда все на работу уйдут, снимет их, не спрашивая никого, выстирает, высушит, прогладит, и, пожалуйста, и все в доме к празднику, как у людей! Чисто, хорошо... Да еще полы суконной тряпкой натрет — медленно, не спеша, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, отдышаться от своей астмы.

— День длинный, Татонька! — бывало, говорила она. — На все время хватит. Пока-то еще они все, наши-то, с работы придут... На-ка, кстати, егоза, тебе тряпку, помоги мне, пройдишь по шкафам по полкам. Там пыль-то, небось, с самого Рождества копилась. Нехорошо... А я пока тесто поставлю. Будем мы с тобой сегодня кулич печь. Маме-то твоей все некогда, у них там аврал, работу надо сдавать... А я и цукаты, и изюм, и шафран с собой привезла — вот будет у нас с тобой праздник!

И ведь действительно был потом праздник! Настоящий праздник... Уж какой отец ни был там партиец, а и он, когда утром в Пасхальное воскресенье появлялись на столе пахучий, облитой сверху сахаром кулич и белая пирамидка пасхи с выложенным на ней марципановыми зернышками ХВ, и глубокая тарелка с крашенными луком и зеленкой из аптечки яйцами, а то и большая, на тонкой ножке ваза со свежим, только-только пошедшим в рост овсом, обложенным по краям этими яйцами, — уж какой он, отец, ни был идейный, а и он тоже начинал весь светиться: добрым становился весь тогда, умиротворенным, ни на кого не раздражался, не кричал. И сидели они потом все вместе за покрытым скатертью

столом все утро, и говорили тихо, и двигались все медленно, осторожно, боясь, верно, ненароком спугнуть эти столь недолгие минуты счастья и согласия и во всем доме, и у каждого в душе.

И никогда — никогда! — отец, обычно не очень разборчивый в словах и выражениях, не позволял себе ее, тетю Олю, хоть чем-нибудь задеть. И всегда радовался, когда она приезжала, всегда просил ее не уезжать так скоро, побыть, погостить у них еще. «Ты, свояченица, у нас, скажу тебе, как сестра милосердия на фронте, — говорил он каждый раз, прощаясь с ней. — Моя бы воля, вручил бы я тебе, дорогая ты моя, медаль за заслуги. С бантом! А того бы лучше — Георгиевский крест...»

Так что уж если и искать какие наследственные корни ее этой, так сказать, самотерапии, то только где-то далеко. Или сбоку... Да и то проросли они в ней, эти корни, не скоро. Очень не скоро! Смолоду-то и она, Тата, тоже, признаться, была большая неряха. Все некогда, все бежать ей куда-то надо было! Какая уж там пыль, какие тарелки — кабы важного чего в жизни не пропустить. До того догонялась тогда за важным, за интересной жизнью, что опомнилась лишь вона где — в Норильске... Между прочим, сама поехала, никто ее не заставлял. Как говорится, были и другие варианты... И кабы не Алексей, неизвестно еще, как бы и там оно все получилось. Как бы и там оно все тогда пошло...

Музей? Глупости: никакого музея ей там, в Норильске, создать, конечно, никто бы так и не дал. Более того: вероятно, лопнуло бы в конце концов терпение у тамошнего начальства, вlepили бы ей годика эдак два-три за наглость, чтобы в чувство пришла, и валяй, ковыляй потом, Татонька, по жизни на перебитых-то ногах... А если бы и сама все-таки догадалась, бросила бы свою эту затею, так на другом бы на чем заспотькалась: на мужиках, на гулянках, на водке, на бесконечных абортах... Да мало ли еще на чем...

И самое страшное было тогда — отнюдь не этот доморощенный поэт, к которому он, Алексей, тогда ее ревновал. Нет, не он! Несостоявшийся педераст — так он его тогда, помнится, называл... Между прочим, похоже, что верно называл... Больно уж сладок был! Слова попросту не скажет — все с кривляньями, с ужимками какими-то. И обязательно всегда, чтобы раздевалась она у него на виду: еще нарочно все лампы, какие только есть в комнате, зажжет. И обязательно, чтоб медленно раздевалась... А руки всегда у него были потные, холодные... И все не по его, все не так! То ему,

видите ли, радио за стеной мешает, и он поэтому не может ничего, пока оно там не умолкнет. То ты ему сама помоги, а то у него слишком тяжелый был день. А то духи твои ему сегодня не нравятся, или посмотрела на него не так, или что-то не так ему сказала, или — вот ужас-то! — про стихи забыла его спросить, а он как раз сегодня что-то там совсем уж гениальное и написал. А раз так, раз ты такая недогадливая, то и не надейся, и не претендуй ни на что, пока не поймешь сама, как ты перед ним виновата. Пока не замолишь чем-нибудь свой грех... Так и будет весь вечер молча лежать на диване, вздыхать, нос от тебя к стенке воротить...

Нет, самое страшное было тогда не он, не поэт. С ним-то она уже и сама собиралась оборвать, еще до того, как появился Алексей. Только все повода подходящего не было, чтобы оборвать... Самое страшное было — она. Она сама. А вернее, то темное, тяжелое, безудержное, что начало тогда откуда-то разрастаться в ней. И с чем бороться она уже и не могла. Не хотела и не могла... К черту сопли, к черту всю эту заумь! К черту все эти стихи. Я баба! Просто баба. Хочу, чтобы рядом со мной был мужик, настоящий мужик, чтобы он хотел меня, обнимал бы, тискал, чтобы он трахал меня без всяких этих дурацких стихов. Ну, а если уж нельзя без водки, нельзя без грязи, без сопения этого мужицкого, без перегара изо рта, без пяти-, шестипудовой туши на тебе... Значит, так оно и должно быть, раз нельзя без этого! И было. И это тоже было... Не раз было. Норильск — город большой. И было бы желание, а охотников трахнуть молодую, недурную собой девку без предрассудков и там найдется всегда хоть пруд пруди. И отвязаться от своего зануды, от своего этого рифмоплета, наврать ему что-нибудь, чтоб отстал, тоже ведь при желании никаких особых трудов не представляло...

И еще немного — и пошла бы и я, Алешенька, по рукам. Как пить дать — пошла бы. Больно уж и меня тогда потянуло, как ты выражаешься, на дым да на гульбу. Ночи ли норильские были слишком темные, пурга ли доводила до умоисступления, себя ли, молодую, было слишком жалко — а и стакан, и мужик в койке уже и мне все больше и больше становились тогда нужны... Никаких уже книжек читать не могла. Все обрыдло! Все было ложь, все было не о том. Не обо мне... А тут, где-то рядом, идет она, жизнь! Настоящая жизнь. И идет, Татонька, неизвестно по какой твоей вине, без тебя.

Так что, если бы не Алексей, — не скоро, надо думать, взялась бы она в жизни за веник да за таз... Да и тогда, когда

он, Алексей, только что появился — разве о доме, о пыли на полках, о неполитых цветах на подоконнике она тогда думала? Нет, все о том же и думала: вот она, жизнь, которая идет где-то там, где ее нет, и вот какие люди там живут, и вот о чем они думают, чего добиваются, чего хотят от жизни... «Не хрипотой, не грыжею, не вашей подлой хворостью...» Им, оказывается, вот до чего дело, вот что им нужно! Чтобы Обь плотиной всякие дураки не смели перегородить, чтобы землю не поганили повсюду почем зря, чтобы жизнь вокруг разумной была... И не на публику это все делалось, нет! Не за тем, чтобы покрасоваться, перья лишний раз перед собою и перед другими распустить... Просто живет этим человек — и все. И как живет! С каким азартом, с какой страстью, бухаясь каждый раз с размаху головой о повсюду запертые двери — и ради чего? А так, не ради чего. Просто даже и не думая, ради чего. Просто не так все вокруг, не по-человечески, а раз так — то разве можно про это все молчать?

А здесь, а в Норильске что? А... Все, видишь ли, на гитарах играют... Все никак не перестанут! Да песни про тайгу поют, да рыбу ловят, да водку пьют, да трахаются от скуки с кем ни попадя, кто только под руку ни подвернется... Госка! Поэт тут какой-то, в конец изжеманившийся, искривлявшийся, так что, небось, уже и самому себе противен стал... А не он — так другие какие-то пьяные мужики, на которых утром и смотреть-то тошно, и слова-то не знаешь сказать с ними о чем. Одна только мысль в голове: и когда ты, животное, отсюда уберешься, когда закроешь за собой дверь? И чего я, дура беспутная, в тебе нашла? Куда глаза-то мои глядели вчера?

А он, Алексей, ох, хорош тогда был! Необыкновенно хорош... Высокий, ладный, сухощавый, с голубыми глазами, с ресницами в аршин. И еще с белокуроми, жесткими, как солома, волосами, вечно падавшими ему на лоб... А глаза! Теплые, живые, и все время вроде как с сочувствием смотрит на тебя: ну, что, воробышек, нахохлился? Обижают? Надоели тебе все эти рыла, скука заела? А ты плюнь, иди ко мне — со мной не пропадешь. Со мной не страшно будет, я тебя никому обижать не дам... И руки — Господи, ни у кого таких рук не было! Ни у кого. Чуть обнимет, притянет к себе — сама так всем телом и прильнешь к нему, будто и правда тебя крылом накрыли и спрятали от всех, и никому тебя ниоткуда больше не достать.

А если уж не понравится что или угрозу какую почувствует — накупится, нахмурится, стиснет зубы. Только желва-

ки на скулах играют, катаются туда-сюда... Стиснет — и молчит, считает до двадцати. Это чтобы глупость какую не ляпнуть, не взорваться, пережить первую обиду или гнев. А потом, если уж ответит — то одним-двумя словами, но так, будто припечатает, насмерть припечатает. И возразить-то ему ничего не найдешь, хоть ты расшибись...

Недаром этот поэт, когда он, Алексей, в первый раз появился, сразу же скис и сразу слинял куда-то, будто его и не было совсем... Правда, попробовал, было, поначалу хорохориться: «Ах, Велемир Хлебников! Ах, Поль Элюар... Ах, «земля голубая, как апельсин...» А Алексей, помнится, молчал, молчал, сопел, пока он так распинался. А потом тихо так, будто даже и не обращаясь ни к кому, обронил:

— А! Дерьмо.

— Дерьмо?! Как, то есть, дерьмо? — опешил тогда ее этот поэт. Даже рот, помнится, разинул от неожиданности. — Как вы сказали? Дерьмо? Я не ослышался?

— Да, нет. Не ослышались. Я именно это и сказал: дерьмо...

— Поль Элюар — дерьмо?! Вы хоть понимаете, про кого вы это говорите? Вы, интеллигентный вроде бы человек?

— Не сомневайтесь — понимаю. Чего ж тут не понимать... «Земля голубая, как апельсин»? Здорово, признаюсь, шибает! Прямо по ноздрям... Много ж он, видать, этот ваш Поль Элюар мучился, чтобы такое изобрести. Тут, пожалуй, «потом созидания» посильнее пахнет, чем даже у Демьяна Бедного...

— Нет, вы кокетничаете! Вы... Вы даже не кокетничаете — вы хулиганите! Демьян Бедный и Поль Элюар... Это эпатаж, чистый эпатаж! Вы не можете быть таким ретроградом. В Москве таких, как вы, давно уже не осталось. Я знаю, что не осталось! Вы нарочно хотите оскорбить меня... Тата! Зачем, скажи, здесь этот человек? Я тебе этого никогда не прощу...

И ушел. И не простил... И слава Богу, что ушел! И слава Богу, что не простил.

А как переживала, как боялась она тогда, когда послала ему, Алексею, то письмо, которое, по сути дела, определило все... Боялась, что лишь хмыкнет, пожмет там у себя, в Москве, плечами: это еще, дескать, что? Мало ли у него их было — таких, как она? В каждом городе, небось, было. А городов этих на карте — не счесть! И у такого бродяги, как он? Да еще такого веселого, щедрого, обаятельного? Да к тому же еще и, простите, такого мужика? Это вам уж никак не поэт! И не какой-нибудь там ухарь-шофер с карьера, с тя-

желого самосвала. Передовик труда... Мне-то уж можете поверить, я-то это все прошла... Но что ему от того, что где-то там, в Норильске, еще одна дура повесилась ему на шею? Ах, забеременела, говорите? Ну, мало ли что бывает! С этим-то теперь просто, это как зуб выдернуть — не страшнее того...

А когда получила телеграмму от него: «приезжай немедленно», — Боже мой, как она плакала тогда! Как плакала... Все видно, разом прорвалось: и ночи темные, норильские, и поэт, и вся эта бездарная затея ее с музеем, и пьянь, и те, другие мужики, что у нее в койке перебивались, и молодость уходящая, и жалость, и ненависть к себе самой, нескладехе, не нужной на этом свете никому... За все, наверное, в тот вечер выплакалась. За все! Так наревелась, как не ревела никогда в жизни — ни до, ни после той телеграммы. А и до, и после нее, признаться, тоже не мало было о чем реветь.

А получив ту телеграмму, проследовала она, Татонька, непутевая маменькина дочка, из своего уже занесенного снегом Норильска напрямик в Москву, в Большой Харитоньевский переулок, в ЗАГС, в белом длинном подвенечном платье, только, слава Богу, без этих глупостей, без фаты. А оттуда в ресторан «Центральный», он же когда-то «Астория», он же когда-то «Люкс». И была свадьба, и было человек пятьдесят гостей, и играл оркестр, и сияли люстры, и сидела она дура-дурой рядом со своим ненаглядным Алешенькой, и кричали им: «Горько!», и пили за них, и осыпали их цветами, и дарили их всем, кто на что горазд. Столько им, надо сказать, тогда надарили, что кое-что, к примеру, из хрусталя стоит у них еще и по сей день, спустя двадцать восемь лет, в целости и сохранности в шкафу...

А тетя Оля, милый человек, сразу тогда сообразила: сразу, еще в ресторане, взяла всю эту гору свертков и коробок с подарками под свою опеку. Чтобы в таком гвалте и суматохе что-нибудь потом, не дай Бог, ненароком не забыть, не растерять... А на другой день, помнится, они с ней чуть не до обеда сидели на полу, разбирали эти подарки, радовались им, иной раз даже уже и не в силах вспомнить, от кого это, а от кого то. Так и стоит у нее сейчас эта картинка перед глазами: солнце в окно сквозь занавески, а они с тетей Олей, поджав под себя ноги, сидят посреди комнаты на ковре, а вокруг них чего только нет! Серебро, фарфор, хрустальные вазы, какие-то ларцы, кашемировая шаль, два пушистых пледа, кофеварка, постельное белье... И совсем уже нелепая, но по тем временам страшно дорогая вещь — тяжелый, как полевая радиостанция, выкрашенный в серую защитную

краску шашлычный агрегат. Это Сергей Бушмарин, старый друг Алешкин, с ребятами тогда отчудили: только про шашлык им с Алексеем как раз тогда и было думать! И полгода не прошло, как Костыка появился на свет...

Нет, если Бога не гневить, не требовать от судьбы чего-то совсем уж невозможного... Милосердной к ней в общем-то оказалась она, жизнь! От многих бабьих несчастий убергла ее судьба. По крайней мере, пока она и была-то бабой в полном смысле этого слова. Бабой, а не старухой... И слез в жизни было, что называется, в меру, и трудов, и болезней, и неприятностей не больше, чем у всех. И муж был не пьяница, не босяк. И сын получился — загляденье! Хороший парень получился. Этот, похоже, что уже не сломается, этот все свое от жизни возьмет... И жили они с Алексеем не скучно. Вот уж чего-чего, а скуки в их жизни не было никогда! Никогда не было. О чем-то говорили с ним все время, куда-то ходили вместе, людей разных видели, книжки разные читали, куда-то ездили с ним — на Волгу, на юг, на Соловки, в Пушкинские горы... И не бедствовали всерьез никогда. Нет! По крайней мере, в доме все всегда было. И никакой копейкой нечестной ни разу не попользовались. Все, что нажито, — все своим горбом, все его, Алексея, бессонными ночами... Вон он сколько всего за жизнь написал! С ума сойти, сколько написал...

Да и ей, Тате, тоже удалось вроде бы кое-что в жизни сделать. Немало и она в свой этот Этнографический музей натаскала всякой всячины, всякого добра. Еще не раз ей люди спасибо за это скажут... А не скажут — ну, и ладно! Не за тем ведь старалась. Нравилось таскать — вот и старалась. А скажут не скажут — что за беда? Главное, что это все и после нее будет жить. Может статься, что тот же Костыка и детей, и внуков своих еще туда когда-нибудь поведет... Нет — грех! Тяжкий грех тебе, Наташенька, жаловаться на жизнь. Надо ж и совесть тоже знать.

Ну, а то, что, как теперь говорят, в рабстве всю жизнь прожила... Может, и так! Может, и в рабстве. Что ж, как все тогда жили, так и она жила. Да и так ли уж оно ощущалось, это рабство? В повседневной-то жизни? Нет, ощущалось, конечно... Но ощущалось все больше, как бы это выразиться, не напрямую, а скорее по касательной... Так, раздражает что-то, а как оно называется, рабство или нерабство — кто ж будет голову ломать? Скажем, туфли тебе надо починить, а всюду, куда ни ткнишь — неизвестно почему закрыто, или водопроводчика в дом позвать, а он, пьянь, кобенится, не идет, или лекарство

какое достать, или очередную ненужную бумагу где выправить — намаешься! А то колготки, будь они прокляты, опять поехали, а в магазинах их, как на грех, опять днем с огнем не сыщешь... Ну, еще, бывала, и эта трескотня по телевизору так надоедала — сил никаких нет: так бы и двинула по нему, по этому ящику, чем ни под руку попало, чтоб они все там, черт бы их побрал, заткнулись наконец...

Но и тогда, когда накатит что-нибудь такое... Но и тогда — а веник, а тряпка, а таз с водой, а чайник с длинным носиком, а кактусы на подоконнике, дорогая моя, на что? А безделушки всякие у тебя на полках — вятские свистульки, Гжель, дымковские расфуфыренные купчихи под зонтиком, прочая разная дребедень? А книги, что опять, как попало, навалены на столе, на стульях, на диване — везде? Никак не приучишь их, мужиков своих, к порядку, как ни бейся: прочел — и бросил где придется... Плюнешь тогда на всю эту политику, на магазины, на транспорт, на хамство в очередях — и ползаешь, как тетя Оля покойная, Царство ей Небесное, по квартире с тряпкой или с пылесосом в руках... Недаром ей, Тате, бабы в музее всегда завидовали! Они-то там через одну все были либо одинокие, либо разведенные — кто ж еще в такое место да на такую зарплату пойдет? Счастливая ты, Наталья, говорили. У тебя все есть: и муж, и сын, и квартира у тебя есть, и денег тебе хватает. А у нас... А у нас что?

Но одно все-таки, надо признать, всегда ощущала и она. Об одном и ей никак не удавалось забыть. И тут уж не спасало ничто: ни веник, ни тряпка, ни кактусы на окне... Нет, не трезвон, не газеты, и не тошнотные эти лозунги по всем стенам, на всех площадях, и не десяток выживших из ума маразматиков на Мавзолее. Это-то все ерунда...

Страх! И больше, конечно, не за себя, а за Алексея страх. Про себя-то она, как Костыка родился, и думать, и вспоминать, честно говоря, давно забыла — про свои эти детские попытки еще там, в Норильске, как-то уговорить, урезонить, обдурить советскую власть. Дура, нашла с кем тягаться... А вот за Алексея — да, все время, всю жизнь тряслась! Во что еще он, неугомонный, ввяжется, что еще такое затеет, за что ему могут и по шапке дать? А то и срок припать? Страх — постоянный, противный, липкий страх. Будто все время где-то там, под ложечкой, пустота: сосет, сосет, грызет что-то изнутри, как при гастрите или при язве, только уж нет на свете такой хлебной корочки, чтобы кинуть туда, этому зверю в пасть, заставить его хотя бы ненадолго, да за-

молчать... Причем по нарастающей страх! Поначалу-то все хиханьки да хаханьки казалось. Еще хрущевская «оттепель» не забылась. А потом чем дальше, тем угрюмей, тем безысходней все пошло. Вот-вот, ждали, вернутся старые времена, вот-вот опять сажать начнут...

И не то, чтобы он, Алексей, очень уж интересовался этой проклятой политикой. Даже, пожалуй, наоборот: всегда, а тогда особенно, как-то сторонился ее, будто боялся замараться, инстинктивно боялся. Потому, наверное, и в начальство никогда не лез, и с диссидентами не очень якшался. Хотя и не избегал их, нет — все-таки они были, что ни говори, довольно любопытный народ. Но в принципе они все для него всегда были одно и то же — что те, что эти. Только на тот момент с разным знаком. Да еще одни уже дорвавшиеся, сытые, а другие лишь жаждавшие дорваться. А что у тех и других был разный лексикон — для него это всегда было дело второстепенное, он на это не смотрел... И в депутаты-то он, Алексей, потом попал не столько по своей охоте, сколько из благодарности к людям. Сами они нашли его, сами и выдвинули. Как у Гоголя — почти что кулаком в шею: иди, не упирайся, чертов сын! Уважь громаду: видишь, верят люди тебе.

Но уж больно дело у него в руках всегда было взрывчатое! Дело его было страшно. Каждый раз, как бомба с фитилем: что ни статья, что ни проблема — так судьбы тысяч, а то и многих тысяч людей. Да и к самой верхней власти это все тоже всегда имело самое что ни на есть прямое отношение... Так что в деле его, Алексея, и не хочешь — всегда была политика. Всегда было, как у сапера на войне: без права на ошибку. А то рванет — и враз конец! Ну, в лучшем случае не конец, в лучшем случае руки-ноги оторвет, останешься калеккой на всю жизнь... И как, бывало, она, Тата, гордилась этим его умением ходить по острию бритвы! Но и как, бывало, ночи не спала, страшилась за него...

Конечно, Алексей всегда был профессионал. Высокий профессионал... Но ведь дурак же! Боже мой, какой дурак... Все вроде сумеет предусмотреть, везде соломки догадается подстелить, так что вроде и не придерешься ни к чему. А потом — раз! Какую-нибудь очередную глупость сморозит на публике — и валяй потом, склеивай побитые черепки... А попробуй их, черепки-то, потом склей...

Что его, дурака блаженного, дернуло, к примеру, тогда, в августе 1968 года, когда ввели войска в Чехословакию, встать на собрании и уйти? На собрании у них в газете, когда

все единодушно голосовали в поддержку этой акции... Все руки вверх, а он встал и молча, на виду у притихшего сразу зала, мимо президиума — к дверям. Председательствовавший — тот поначалу тоже, было, оторопел. Но потом, опомнившись, когда Алексей уже взялся за ручку двери, все-таки сообразил, остановил его:

— Алексей Иваныч! Вы куда? Вы что — против?

— Прошу извинить меня. Не могу. Мне сейчас из Новосибирска должны звонить, — обернулся к нему Алексей и, не вступая уже больше ни в какие объяснения, закрыл за собой дверь.

Как это ему тогда сошло — и сейчас еще, столько лет спустя, удивляешься, как сошло... Нет, без последствий, конечно, это не оставили, не могли оставить: и выговор ему в парткоме вlepили, и печатать почти перестали (а если и удавалось что тиснуть, то только под псевдонимом), и в известный кабинетик без таблички на втором этаже редакции вызывали. Собственно, с тех пор он и стал числиться в диссидентах. Ну, не в диссидентах, скажем так — в полудиссидентах... Но в общем-то в тот раз это ему все-таки сошло. Из газеты, по крайней мере, не выгнали: дружки-приятели замотали. Да и шеф, честно сказать, хоть и мурло был, откровенное мурло, но его, Алексея, видно, по-своему любил и совсем уж в лепешку раздавить его не дал. Спасибо ему, кстати, старику! Один Бог, наверное, знает, чего это ему стоило тогда.

А вот в другой раз не сошло... И если бы не эта его, Алексея, природная сопротивляемость, его это свойство гнуться, но не ломаться — может быть, и рухнул бы он тогда. Как дубы в лесу рушатся: враз, в один момент, с грохотом — и уж навсегда.

А! Будь проклята она, эта афганская война... Трижды будь проклята! Собственно, с нее-то все и началось... И как это они, сборище этих несчастных дебилов там, наверху, сами не чуяли тогда, что это и было началом конца? Их же собственного конца? Инстинкт-то самосохранения должен же был им хоть что-то подсказать... Или уж в такой маразм впали, что к тому времени даже и этот инстинкт у них атрофировался? Вообще уже не соображали ничего?

Недаром тогда, в тот Богом проклятый день в самом конце декабря 1979 года, она в первый и, хотелось бы надеяться, в последний раз в жизни видела у Алексея слезы на глазах. Господи, как же это дико, когда мужик плачет! Да еще твой собственный мужик... А он тогда так разрыдался...

Сидел, сидел за столом на кухне, слушал радио... И вдруг разрыдался, затрясся весь, замычал, замотал головой: «Идиоты! Кретины! Что ж они делают... Что они делают, мать их так... Тата, что они делают?! Ведь это конец! Понимаешь — конец? Ведь нам оттуда не вылезти никогда...»

А в редакции у них тогда, консультантом в военном отделе, служил один отставной генерал: боевой генерал, всю войну прошел, да и после войны еще долго был на довольно высоких и командных, и штабных должностях. Понимающий был генерал! И Алексей с этим генералом дружил: выпивали иногда вместе, беседовали о разных материях, даже, помнится, в доме он у них, генерал, несколько раз бывал... Между прочим, поймешь, почему дамы раньше так ценили истинно военную косточку. Старик-старик, а выправка, а седые усы щеточкой, а ежик на голове, а к-ручке как приложится — куда там молодым! Так и ждешь, что вытащит сейчас из кармана монокль на шнурке и вставит себе в глаз... Таких-то, как он, генералов теперь, наверное, уже и нет. Эти, что теперь каждый день по телевизору показывают, — это все какие-то мясники из соседнего гастронома, а не генералы. Глаза бы не смотрели ни на одного...

И вот этот-то генерал спустя неделю, как наши вошли в Афганистан, и принес Алексею по дружбе, доверительно, свою докладную в ЦК. И попросил его прочесть и, если можно, то подправить в ней что надо по части слога, а особенно насчет политики: в этом он, генерал, был, как сам признавался, полный швах.

— Ведь вы-то, надеюсь, понимаете, Алексей Иванович, что это катастрофа? — спросил он его тогда, кладя ему на стол эту бумагу.

— Понимаю, Лев Филиппович! Чего ж тут не понять... Вернее, не понимаю, а чую. Всем своим нутром чую, что нам из этой ямы целыми не выбраться. Вляпались мы в такую глупость — дальше некуда! Это, видать, еще похуже будет, чем даже финская война... Только я это объяснить не могу. Аргументов у меня, Лев Филиппович, нет. Одно чутье...

— Ну вот, видите! А у меня, Алексей Иванович, здесь, в этой докладной, не просто чутье — здесь аргументы. Более чем веские аргументы... Исторический опыт ведения подобных войн, включая последнюю, вьетнамскую — раз. Условия войны в горной местности при почти поголовном сопротивлении населения — два. Ведь атомную бомбу на них не сбросишь! А и сбросишь — все равно ничего путного из этого не получится. Ну, и наконец стратегически: зачем?

Если эти все слухи о наших намерениях выйти прямым танковым броском к Персидскому заливу верны — то и это, с военной точки зрения, тоже сплошная глупость. Кто ж это, интересно знать, нас до Персидского залива допустит? Что, третью мировую войну начинать? А мы к ней готовы, позвольте вас, господа, спросить? Вы, конечно, понимаете — я имею в виду на деле готовы, а не в газетах...

— Ох, если бы вы знали, Лев Филиппович, как я согласен с вами! Как согласен... И это я, невоенный человек...

— А если вы... А если вы, Алексей Иванович, тоже согласны со мной... Так, может, от двоих эту докладную пошлем, а? Честно признаюсь: ощутив, как говорится, поротой задницей... Боязно одному посылать, Алексей Иванович! Да и с политикой у меня здесь, сам вижу, слабовато. А вы, известно, не все руки мастер...

— Так, значит, «не могу молчать», Лев Филиппович? Так, значит, да?

— Вот именно! Не могу, Алексей Иванович... Хватит, намолчался за жизнь. Хоть перед смертью душу отвести... Как-никак, я, Алексей Иванович, солдат. Я еще не забыл, что такое долг... Извините, дорогой мой, если что, за громкие слова...

Ну, и засадили они тогда с генералом эту докладную за двумя подписями в ЦК, на имя Самого... А тут еще, как на грех, через пару дней случился какой-то «круглый стол», и были на нем иностранные журналисты, и один из них, когда он, Алексей, выступал по какому-то там экологическому вопросу, возьми да и брякни, и спроси его прямо в лоб (а запись, между прочим велась):

— А каково ваше, господин Мамонов, отношение к вторжению советских войск в Афганистан? Или, по-вашему, это с экологией никак не связано?

— По-моему мнению, — несразу, помолчав немного, но все-таки ответил Алексей, — это было не лучшее решение... Думаю, оно не имеет перед собой благоприятных перспектив...

Бог ты мой, что тут началось! «Чужие голоса», конечно, тут же передали это все в эфир, прямо в записи, на следующий же день... А спустя какое-то время и их докладная с генералом тоже, по-видимому, начала действовать. Во всяком случае, генерал вскорости с горизонта исчез, совсем исчез и больше уж ни в газете, ни в их с Алексеем жизни ниоткуда так и не возникал...

Когда его, Алексея, вышибли из партии и уволили из редакции, он поначалу было даже как-то вроде и не осознал

толком, что произошло. Вернее, не сам факт не осознал, а масштабы, что ли, этого факта. И не в каких-то там высоких, политических смыслах, а в самом что ни на есть простом, житейском — что это значило для него самого, для Алексея Мамонова... Все поначалу ерепенился, руками размахивал: «Я, Тата, сильный! Я не сломаюсь. Этого они от меня не дождутся. Никогда не дождутся. Шиш!» Верно — сильный. Верно — не сломался, по крайней мере, до конца не сломался. Но какой ценой! И кто ж тогда мог думать, что это все не навсегда, не надолго? Что надо было лишь протерпеть, промучиться лет эдак пять-шесть — и все изменится само собой, и наступят иные, новые времена?

А цена была, прямо скажем, непомерная, нечеловеческая цена... Конечно, слава Богу, не тюрьма! Но все равно нечеловеческая. И, конечно, как он ни петушился, а от этого удара он так уже потом и не оправился — кому, как не ей, это знать... Ведь все было на ее глазах. Буквально все...

Разве сейчас он, Алексей, похож на того, каким он был когда-то? Внешне-то, конечно, похож. Да и то обмяк раньше времени, обрюзг, полысел за считанные месяцы, язву вон нажил... А в сорок-то пять он был еще орел! Еще хоть куда был, хоть снова замуж за него выходи... Нет, внешне-то он еще так-сяк, а вот внутри... А вот внутри — это, несомненно, уже другой теперь человек. Умный? Да. Упрямый? Да. Теплый, сочувственный? И это тоже вроде пока еще есть... Способный, как каторжный, ночи работать на пролет? А вот это уж нет. Уже не способный. Способный в основном лишь сидеть и в одну точку смотреть. Да еще водку пить в одиночестве. А за пишущую машинку сесть — уже сплошная мука, самому себя надо за уши тащить... Что еще? Азартный, заводной? Нет. И этого уже нет. И это тоже уже ушло... Многое, Наташечка, чего ушло...

А вместо того, что ушло, появилось в нем тогда другое, новое, чего в нем раньше и не было никогда... Или было? Но она просто не замечала?.. Растерянность появилась по жизни, сомнения, какая-то странная неуверенность в себе: а тот ли я, дескать, человек, за которого меня так долго все принимали и каким я сам себя вроде бы считал? А может, это не я — это они все правы, раз живут так, как живут? Раз терпят весь этот сумасшедший дом? Да мало терпят — еще и радуются при этом чему-то, суетятся, дела свои обделывают. Еще и уверены, что по-другому то и не может быть! А может, и правда, по-другому не может быть? Может, и правда, есть во всем этом какой-то высший смысл, которого он, Алексей,

не понимает? А все его, этот смысл, понимают, а если и не понимают, то чувят — нутром чувят? Смотри, Тата, как все твердо кругом, как прочно, огромно — на века! Каким басом они все говорят, как уверенно тычут перстом перед собой — кому, куда, и с кем, и как идти... Значит, это я урод? Я ненормальный? А остальные все — они правы?

Трудно даже и сказать сейчас, что тогда на него, на Алексея, больше всего так подействовало. Телефон на подлючке? По крайней мере, первый год-два? Нет, к этому он относился в общем-то с юмором: ну, давай, давай, ребята, если уж вам так охота. Молодцы! Так вы там без работы никогда не останетесь, всегда дело себе найдете. Всем хватит! Пленку вот только вашу жалко — она ведь денег стоит. Да они у нас, как известно, немерянные... И что печатать его тогда везде запретили, даже и под псевдонимом — это тоже он пережил вроде бы спокойно: ну, и не надо, ну, и пес с вами! Во-первых, мы уже это, как говорится, проходили: кое-какой иммунитет, слава Богу, выработался — не в первый раз уже этот запрет. А во-вторых, в стол-то писать не запретишь! Даже и у вас, пока вы не запрятали человека на нары, кишка на это тонка, чтобы запретить... Писал и буду писать! И в стол буду складывать. Может, просветлеет, развиднеется когда-нибудь. Может, когда-нибудь и на это еще будет спрос...

Конечно, это была иллюзия! Абсолютная иллюзия. Одно дело, каждый день писать и видеть в газете свое написанное, а другое дело — в стол: и азарт не тот, и устаревает это, а то и просто настроения нет за стол садиться, хочется просто так на диване подольше поваляться, в потолок посмотреть... Но все-таки этой иллюзии ему, слава Богу, года на два хватило, не меньше. Во всяком случае, в своем деле он форму так полностью и не успел потерять. До самой «перестройки» не успел...

И то, что с деньгами сразу стало тогда много труднее — и это он тоже принял как должное. Сразу урезал свои потребности до минимума: кофе да табак, да на метро билетик, а остальное, если что заработал, — все в руки ей, Тате. Даже и выпивать почти совсем тогда перестал. Так что при некоторой изворотливости и на одну ее зарплату можно было бы кое-как прожить. А он только месяца три всего как был без работы, потом тоже все-таки начал какие-никакие деньги домой приносить... И даже с этим легким, а поначалу даже и вовсе еле ощутимым вакуумом вокруг себя он тоже вроде бы быстро свыкся. То полно было везде и всюду дружков, отбою от

них не было! Вечно его все куда-то из дома волокли. И по телефону тоже всегда был Курский вокзал, а не дом... А тут куда-то один за другим почти все вдруг испарились, исчезли. Без объяснений, будто их и не было никогда. Нет их — и все.

Нет, все-таки, видимо, не это все — другое его надломило... Окружение его надломило! Оно. Иной круг людей, в котором его заставили жить. Причем, как казалось тогда, без всякой надежды уже когда-нибудь выбраться из него, из этого круга... Какой-то Богом забытый, замшелый Институт технической информации на Скотопрогонной! Так и сгниешь, Алексей Иванович, там, в этом болоте, заживо, так и будешь там сидеть до гробовой доски. И не рыпайся! Вольно ж тебе было бузить, предупреждали тебя...

По благу, референтом тогда туда его пристроили. Периоду резать... Это его-то?! Его, почти уже седого мужика, автора сотен статей, человека, как ни крути, всесоюзной известности? Как девчонку какую-нибудь сопливую, только-только из института, на сто двадцать рублей... Но и за это, за Скотопрогонную, еще нужно было благодарить судьбу! Могло и похуже ведь все кончиться. Могли и посадить, могли и выслать ко всем чертям... И сажали, и высылали! Большевики тогда — прямо, как перед смертью — опять было на какое-то время озверели. Налево и направо ломали хребты. Это все сказки про доброго, тихого вора Брежнева. И про умного Андропова, поэта Андропова... Это мы тоже все проходили! И Сталин стихи писал, и Мао писал. И Гитлер картиночки рисовал, и Гиммлер тоже, говорят, у себя в саду розы разводил...

А что они такое, все эти институты хоть технической, хоть какой хочешь другой информации — это никому, наверное, не надо объяснять. А уж тем более ей, Тате. Она-то это все по себе знает: сама, считай, всю жизнь в таком месте проработала. Какая разница — музей какой-нибудь хиленький, погибающий, или такой вот институт? И тот, и другой — что близнецы-братья... И обязательно в какой-нибудь развалюхе, а то и просто в полуподвале: окошко, забранное решеткой, вровень с тротуаром, штукатурка обвалилась, какой-нибудь плакатик про путешествие по Волге висит в углу, голая лампочка на шнуре в потолке, ящики с картотечкой, чайник на плитке... Цветочек какой-нибудь жалкенький на подоконнике, в бутылке из-под молока...

Боже мой, как же все это ей знакомо! Как знакомо... Тут и баба-то может повеситься, не то что мужик! Особенно в какой-нибудь совсем уж тоскливый, осенний день: и льет с

утра, и в три-четыре часа уже темно, а если в полуподвале, то уже и в обед надо свет включать, а до звонка еще сидеть да сидеть... А кругом — одни бабы. Да еще несчастные все бабы, злющие, завистливые, замученные жизнью... И ни до чего-то на свете им дела нет! Одна только забота в голове: как бы пельмени или фарш успеть купить, заскочить после работы в магазин, или ребенка успеть забрать из детского сада, или вон тряпку какую-то новую, импортную, в соседний отдел принесли, продают — а где денег занять? Или дома мужик опять пьет, или он опять с какой-то новой шлюхой, кобель, спутался — ну, что с ним делать? Купоросу, что ли, ему, мерзавцу, плеснуть в морду его бесстыжую? Или кислоты? Или самой отравиться, чтобы уж кончить все это разом, всю эту муку, раз и навсегда?

И обязательно на всех этих баб два-три каких-нибудь задрипанных, занюханных мужика... Или калеки колченогие, или чудачки какие-то, или какие-то диссиденты, сосланные в этот подвал на исправление... А если дессиденты — то тоже злые, надутые, мнящие там о себе, черт знает что. Как же! Они, понимаешь ли, страдальцы, они Богом отмеченные люди. Им-то открыта она, истина! А вы, бабы — дуры, не понимаете, кто тут с вами сидит, чай с вами вместе пьет... Или в коридоре стенки подпирает, курит у урны, колечки к потолку пускает... Нет, не зря их всех Алексей не любил! Жалеть — жалел. А любить — нет, не любил.

Но... Но все-таки, видимо, и не только это. И она, Тата, тоже во многом, видно, была виновата тогда... Нет! Не так и она тогда себя повела. И ее доля вины, похоже, что есть в том, что произошло: что он так переменялся, что он все-таки опустился тогда, растерялся... Не ту она ноту, видно, с самого начала взяла. Боевую ноту! Слишком боевую. Себя-то все венчиком, да тряпкой, да тазиком с водой лечила. А его... А его, как на плацу: выше голову! Живот подтянуть! Подбородок, подбородок не опускать! Почему мятый воротничок? И чего это ты, как квашня, все на диване лежишь? Вставай, Алеша, вставай! «Вставайте, граф, вас ждут великие дела...» Воистину великие! Мы еще с тобой, Алеша, повоюем, мы еще им покажем! Выдержка, Алеша, выдержка... Главное — выдержка! Ты работай, пиши, а остальное все приложится. Само собой приложится. Рано или поздно мы с тобой эту блокаду прорвем, непременно прорвем... Так чего ж тогда раскисать? Только всю эту сволочь радовать? Жизнь не кончается, Алеша. Не кончилась еще! Ты не оглядывайся назад. Ты вперед смотри!

И все это говорилось мужику, которому вот-вот должно было стукнуть пятьдесят?! О, Господи... Нет, прав он был, Наташечка, когда давно еще, помнишь, там в Норильске подсмеивался над тобой: жила в тебе Софья Ковалевская. Жила! Ну, вот, и плати теперь, дорогая моя, по счетам... А всего-то, наверное, надо было тогда приласкать его лишний раз по-бабьи, вздохнуть, голову ему на плечо положить... Посидеть с ним рядом, помолчать — пусть его лежит на своем диване, сколько надо. Раз лежит — значит, надо лежать. А если и заснет не ко времени — что за беда? Укрой его пледом и иди, поливай свои цветы... Или, если уж на то пошло, самой утащить его в спальню, не дожидаясь, пока он там на тебя внимание обратит. Ведь могла же когда-то сама это делать! Могла, не стеснялась. И знала, как это делать. И он всегда так радовался, когда не от него, а от тебя это шло... И ведь тогда ты еще в общем-то в порядке была! Еще могла не стесняться себя. Еще и не обвисла, еще и мужики на улице нет-нет, да и оборачивались на тебя...

Нет, сама ты, дура бесчувственная, больше всех, наверное, виновата в том, что произошло... Как будто цепь, как будто провода какие наглухо замкнулись тогда в тебе. А догадаться сделать над собой усилие, самой разомкнуть, разорвать эту цепь — куда там! За другое боролась, другим голова была все время занята... А выходит, и не так, и не за то боролась. Ему, Татонька, баба была нужна. Просто баба, а не поводырь! Никогда он не признавал для себя никаких поводырей. Всю жизнь не мог терпеть поводырей... А ты: «Пожар, пожар! Держись, Алеша, я тебя спасу!» Правильно — надо было спасать. Но не топором, не багром, не криком надо было спасать... Чем тебя Господь Бог от природы наградил — тем и надо было спасать...

Вот тогда-то, при тех затравленных глазах, и появилась она, эта стерва... Светлана... А впрочем, за что ты ее, Наташечка, так? Почему уж так, в одно слово — стерва? Не она бы — так другая. Она и немогла не появиться... Он, Алексей, может, даже и сам не сознавая того, давно уж, надо думать, посматривал тогда по сторонам: за что бы ему в жизни зацепиться? А зацепиться нужно было — тоже, наверное, работал своего рода инстинкт самосохранения. Собственного-то дома ему, несомненно, уже мало было. С ней, с Татой, уже давно все было ясно, а с Костькой у них тогда уже все разладилось, Костьке уже было двадцать, у него уже пошла своя жизнь. А с работой, с делами — какие у него, у Алексея, тогда были дела? Тоска одна, а не дела... А тут молоденькая

женщина, разведенная, свободная, ухоженная, очень, надо признать, собой недурна, на него смотрит снизу вверх, во все глаза, на все готова, только позови — кто ж тут устоит? Не ты, Наташечка, первая, не ты последняя. Так мир устроен! И нечего себя так уж чересчур жалеть. Тоже могло бы и хуже быть. Мог бы и совсем уйти...

И все-таки... И все-таки мужика она, Светлана, в нем, конечно, спасла, а человека — нет, не спасла. И ее не хватило, чтобы его от самого себя спасти... Даром, видать, ничего в жизни не проходит. И тот подвал на Скотопрогонной ему, судя по всему, так и не удалось до конца в жизни залечить. Даже и в ее, в Светланиных, как говорится, объятиях не удалось. И даже и при том, что и начало, и разгар их романа почти совпали с этой новой полосой в его жизни — когда он снова стал нужен, когда его вновь вынесло на поверхность... Когда началась она, эта «перестройка». Или революция. Или очередная трагедия в нашей жизни — как хочешь, так ее теперь и называй.

Поначалу-то он, Алексей, конечно, возликовал! Да еще как возликовал... Как же! Перво-наперво звонок от главного, от Анатолия Андреевича, его бывшего шефа: «Алексей Иваныч! Дорогой ты мой! Пора возвращаться! Ну, теперь-то ты видишь? А? А что я, брат, тебе говорил? Вот и развиднелось! Я же говорил тогда тебе: все, все образуется. Надо было только переждать, перетерпеть немного... Вот оно все и утряслось! Само собой утряслось... Приходи, слышишь, завтра прямо ко мне? Придешь, договорились? Жду...» Потом сходу, почти сразу же после Чернобыльской катастрофы — серия его, Алексея, статей в газете, подписных статей, о всей этой атомной проблеме: о глупости нашей, о безалаберности, о всеобщей лжи, о том, что теперь надо делать, как эту всю проблему решать, чтобы опять не наломать дров, не шарахнуться из одной крайности в другую... Как он вкалывал тогда! Какую гору материалов перевернул, куда только ни ездил, с кем только ни встречался, ни говорил — что наверху, что внизу. И опять, конечно, все мыслимые и немыслимые проклятья на его голову от одних и признательность, и всякие там слова и благодарности — от других...

А дальше — больше... Уже он и не только про окружающую среду стал писать. Но и в какие-то чисто нравственные, моральные проблемы начал ввязываться, в публичные размышления о том, как она вообще устроена, наша жизнь. И почему все именно так сложилось у нас, а не иначе —

словом, откуда мы, и кто мы есть, и куда нас всех таких несет.

И все на человека, на права его напирал! Все сердился, возмущался на всех этих мошенников-самостийников, на митинговых крикунов, на всех этих, словно ополоумевших тогда, честолюбцев... Для него они же тоже были ничем не лучше большевиков: та же самая сволочь, то же самое средневековье, только маленькие начальники теперь сами хотят стать большими начальниками. А для этого, понятно, прежде всего надо выдернуть кресла из-под нынешних больших. А на человека, на людей вообще им, этим новым горлодерам, тоже и ровно в такой же степени, как и тем, наплевать.

Тогда-то его, Алексея, и выбрали в Большой парламент... Что ж! Выступал неоднократно, в каких-то комиссиях участвовал, в телевизор, что ни неделя, вылезал. С Горбачевым вроде бы дружил, но и Ельцина, и демократов поддерживал, все пытался их всех между собою помирить... Весь, если вспомнить, светился тогда, особенно в начале, от надежд! Да и то сказать: а у кого их тогда и не было, этих надежд? А потом... А потом снова скис. Да так скис, что этак еще немного — и опять, того и гляди, вернется в свой этот, чтоб ему пусто было, подвал на Скотопрогонной... Если он, конечно, еще жив, не исчез, этот подвал...

Вот так вот, Татонька! Вот так вот, дорогая моя... Что ты можешь теперь сделать? А ничего. Ничего не можешь сделать. Только печалиться да смотреть на него. Да и то, когда он дома, а не там, Бог его знает, где... Только ждать, куда оно все само собой вывернет. Ждать и ползать по квартире с веником да тряпкой, пыль по углам вытирать, да кактусы свои поливать, да обед готовить, да кота своего кормить, да телевизор, будь он неладен, смотреть в одиночестве... Хорошо хоть «Богатые тоже плачут» догадались пустить — во все свои миллион с лишним серий. Вот и лето, считай, прошло, а им, слезам-то этим, еще и конца-края не видать... Ну, и прекрасно! Хоть отвлечешься, хоть забудешь ненадолго, что там, в этом проклятом мире, делается. И где он там, Алексей, сейчас, где он таскается... Хорошо еще, если у Светланы сидит, с дочкой играет. Или любовью они там заняты... А, брось ты, Наталья Владимировна, в самом деле! Опять ты за свое... Ну, заняты, ну, и что? Что тебе-то теперь до этого? Ты-то свое все получила в жизни, сполна. А если чего и недополучила — то сама же в том и виновата. Самой поумнее надо было быть. Тогда, когда еще что-то зависело

от тебя, когда ты еще могла бороться за себя. Как баба бороться! А не как, так сказать, юридическое лицо.

Поздно, милая моя, теперь сокрушаться. Поздно! Там уже новый человек растет. Ни в чем не виноватый человек... Ты лучше подумай, что дальше будем делать. Как нам всем вместе «обустроить» уж если не Россию, то хотя бы свою собственную жизнь. В лоб-то, по первому импульсу, как видишь, не получилось. Не получилось, не поняли тебя. От ворот поворот, Наталья Владимировна... Тоже мне, разбежались! Давай, мол, все вместе жить... А с другой стороны — на что другое ты могла рассчитывать? Да еще с первого же захода? Там-то тоже, видать, не великих умов человек, тоже дальше собственного носа не может заглянуть... Баба — она баба и есть! А какая баба просто так, за здорово живешь, согласится на такое? Делить мужика? Смириться с тем, что он не только твой, но и еще чей-то? Мало ли что, что так оно и есть на самом деле! Это же все не перед глазами... А тут — в одной квартире, на одной кухне, в одной ванной? Нет, Наташечка, ты ее строго не суди. Ты попробуй, встань на ее место! Это тебе пятьдесят пять, а ей-то тридцать пять. А сколько, вспомни, в тридцать пять у тебя у самой было еще надежд? Согласиться с тобой — это ж не только для тебя, это и для нее тоже значит сдаться. Тоже, значит, выкинуть белый флаг...

О, Господи! Ничего-то мне в этой жизни не понять. Ничего... Хоть бы кто научил меня, дуру старую, молиться, поклониться до земли отбивать! Может, тогда и получила бы свыше какой знак. Какое-нибудь знамение от Тебя, Господи! В ответ на все мои мольбы... А! Даже иконы в доме ни одной нет... Верующая, называется... Хоть бы тогда, когда их сотни проходили через твои руки, догадалась бы одну домой притащить... Но что ж иконы? Иконы — это мало. Еще и слова, какие положено, надо, Тата, знать... А как положено? «Отче наш, иже еси на небеси. Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое...»

Нет, не то! Ничего-то ты не знаешь, Наташечка. Ничего... При чем тут Царствие Его? Не о Царствии тебе Его надо молить. Он сам там знает, когда и как тому Царствию быть. А вот чего тебе-то делать сейчас? Тебе-то, тут, на земле?.. Владычица, заступница, Пресвятая Дева Мария! Хоть Ты-то смилуйся надо мной, глупой бабой... Смилуйся, Пречистая! На коленях молю... Тебе-то про нашу бабскую долю все известно. Сама все извела, сама все знаешь... И сколько их, таких дур, нескладех таких, как и я, взывало к Тебе! Века-

ми взывало. Но ведь взывали же! Надеялись на что-то. И взывают, и продолжают надеяться — когда уж больше не к кому взывать, когда, куда ни кинь, везде клин... Смилуйся, Заступница! Помоги! Помоги, если это в Твоей власти... Ведь не самая же я последняя грешница перед Тобой, не больше же на мне греха, чем на других. Не убила никого, не крада, не лжесвидетельствовала... Мужу всегда была верна... И Имя Господа никогда не поминала всуе. Никогда не беспокоила Его, всегда надеялась только на себя... А сейчас — не могу, Владычица! Не могу. Все, все глаза выплакала. Ты же видишь... Помоги!

ГЛАВА IX

А задела его, Костю Мамонова, эта барышня из приюта для детей-инвалидов... И деньги уже давно на счет этого приюта переведены, и благодарности от нее все давно уже выслушаны, и времени порядочно после того, первого, ее визита прошло, чтобы про нее забыть. А вот подишь ты...

Вернее, даже не она задела. Что ж барышня? Барышня как барышня: складненькая, курносенькая, видать, смышленная — ну, так и что? Таких вон на каждой улице полно, целые табуны... Да еще и не одна, еще и вроде как с любовником своим явилась... Нет, не барышня сама по себе задела. А задела, похоже, та мысль, что мелькнула тогда у него, когда она, Ирина, впервые возникла у них в офисе: нет, не для тебя, Константин Мамонов, такие барышни! Твой размер — это в лучшем случае та цветочница на Арбате, на углу. А то и вовсе что-нибудь совсем уж однодневное, когда потом, может статься, и не узнаешь, если встретишь где-нибудь на улице или у кого-то в доме: вроде бы, мадам-мадмуазель, мы с вами знакомы, а может, это мне, простите, всего лишь померещилось спяну... «Эфемериды, бабочки из мрака», как сказал какой-то поэт. Не худо бы еще, кстати, вспомнить — какой поэт...

Нет, конечно, было бы в высшей степени несправедливо утверждать, что все, кто был у него раньше, до двадцати семи его нынешних лет — это все были одни лишь шлюхи... Нет, когда он только, что называется, начинал, его все как-то в основном на отличниц тянуло — уж если и не с косой до пояса, то в аккуратном-то платице и белом передничке обязательно. И чтоб в очках! С такой-то тихоней, между прочим, он и узнал в первый раз, что же она есть на самом деле,

эта самая любовь. В пятнадцать лет, у нее же в доме, на чердаке, куда она же его и затащила. Сам-то он, телок, тогда, наверное, ни за что бы на такое не решился. И в голову, наверное, бы не пришло: все-таки такое дело — а тут чердак, мусор, паутина, какие-то опилки в углу... Курточка его, брошенная на эти опилки... Голуби трещат крыльями, что-то там бормочут свое, гулькают у слухового окна... Потом она еще, дуреха, забеременела от кого-то из их же класса. Слава Аллаху, не от него! Так в девятом и родила...

А всерьез «на тропу войны» он вышел, конечно, уже позже — уже в университете, на родном, на незабвенном своем мехмате... С этим делом там было просто! Только успевай поворачиваться... Весело жили, что и говорить! Мать, помнится, все его попрекала: «Костька, ну, что они все у тебя такие шалавы! Опять вся рубашка, весь ворот в помаде... Ты бы им сказал, что ли! Я тебе не нанималась после каждой твоей красотишки рубашки твои застирывать... Или пусть они тебя застирывают! А нет — в ковбойке тогда ходи. А то не напасешься на тебя... Или сам в прачечную носи! А что? Лодырь! Привык: мама то, мама это... Вон какой дылда вымахал! Пора бы уж мать-то пощадить...»

Поворчит, поворчит, а смотришь, утром на стуле, у самого изголовья его кровати, опять свежая рубашка лежит... И сложена так аккуратно! И чистый носовой платок никогда не забудет положить. И галстук поглаженный тут же на спинке стула висит, поверх брюк... А он и тогда уже любил в галстуках и хороших рубашках ходить. Никогда не любил разные там джинсы, водолазки, всякие эти штучки-дрючки из чертовой кожи с цепями да заклепками, в чем тогда все ходили. Хотя, если верить кое-кому из тогдашних его симпатий, как раз водолазки-то, к примеру, да еще с высоким, под подбородок, воротом ему очень даже шли: и шея длинная, и грудь широкая, и живота никакого... И все-таки нет, не носил! Всегда его, видно, на респект тянуло. Как чувствовал, что быть ему, Константину Мамонову, когда-нибудь бизнесменом — преуспевающим, заметьте, бизнесменом! И что один только законодатель моды для него всегда и будет в жизни — московский его Коммерческий клуб.

А насчет помады на вороте — это-то, матушка, что! Это-то все как раз были пустяки. Танцы-шманцы-обжиманцы там разные. Да стояния до полночи, обнявшись, по подъездам... Там и посерьезнее тогда бывали дела! Все было, и всякое было. Даже, признаться, однажды и кожно-венерический диспансер был... Слава-те, Господи, все обошлось!

Страхом отделался да тремя уколами в задницу. А больше всего, конечно, страшно было, чтобы дома не узнали, чтобы мать не узнала: при ее-то всегдашнем чистоплюйстве и брезгливости, это был бы, конечно, удар! Она, наверное, даже и не поверила бы сначала, если бы узнала: это ее-то Костенька? Ее-то сокровище? Не может быть!.. А с другой стороны, если здраво рассудить: чего уж тут такого особенного? Ну, диспансер, ну, и что? Издержки производства! Без них, наверное, ни у кого и не обходится, кого ни копни... Сексуальная революция, дорогие мои! На войне как на войне. Удивительно даже не это, удивительно, что при всех его похождениях только однажды это с ним, с Костей, и случилось. А так — Бог миловал! А может, и не Бог... Может, и сам до последней грязи все-таки не доходил. Все-таки уровень какой-то держал...

Да, как же — не доходил! До всего ты, Костя Мамонов, доходил. Чего уж там... Все было! И к лимитчицам в общежитие на стройку, в Раменки, с ребятами ездили... И на парапете на набережной, и на лавочках во дворах, и на подоконнике в подъезде любовь была: ноги тебе на плечи, руки ей под зад — и пошел! Пользуйся, парень, пока в подъезде тишина. Пока добрые люди по этажам спят... И на дачу к кому-нибудь суток на двое — на трое заваливались: проснешься где-нибудь на веранде, на полу, под тулупом — милое дело! Птички поют, солнышко через всякую там сирень пробивается, а ты опять за свое... Только одна забота: как бы ее каким другим именем не назвать. А то обидится, а неловко все-таки: как-никак с тобой она этим делом занята, вроде бы уже это что-то такое не чужое, свое...

А бывало и другое: бывало, и травку курили, тоже у кого-нибудь на даче или еще где. И это было! Балдели все вместе, кайф ловили. Но это, слава Аллаху, не пошло, не прижилось... А потому, наверное, больше всего не прижилось, что травка и любовь — они плохо совмещаются. Либо уж то, либо уж это. Ну, а раз так, то какой может быть разговор? Конечно, любовь! Здесь-то уж кайф без обмана, без всякой там дури. Да и голова потом не болит, и совесть ниоткуда не грызет...

Ну, и еще, конечно, группен-секс. И он, конечно, тоже... И это, не будем отпираться, было! Человек так на шесть — на восемь... Забавное, если вспомнить, дело. Но все-таки, видеть, не для него... Не тот, как говорится, плезир! Оно, наверное, больше совсем уж для мальчишек или для импотентов, которых иначе ничем уж больше не проймешь. Это

почти что как вся эта нынешняя порнуха по видео: теория, братцы! Теория, а нам на теорию наплевать — нам факт давай. Вдохновение давай! А ни от коллектива, ни от теории вдохновения, как известно, не возникает... Но чтобы это все понять, и через это тоже сначала надо пройти. Самому пройти...

И нечего, Константин Мамонов, зря самому на себя, между прочим, наговаривать! Вовсе даже не одни уличные у тебя были, не одни шлюхи. Были и другие... Нередко и вполне респектабельные среди них попадались. Из вполне приличных, как говорится, семей. Упакованные с ног до головы: французская косметика, белье — высший класс, прическа прямо из «Чародейки», даже боязно прикоснуться, какая прическа... И совсем не обязательно, чтобы студентки или — а что? А еще веселей! — какие-нибудь там размалеванные оторвы из комиссионного магазина, на том же на Арбате. Нет, и не только они, и чужие жены тоже были...

Вот это, надо сказать, всегда был наилучший вариант! Никаких обязательств, никаких посягательств на тебя. И никаких соплей! Секс в чистом, в чистейшем, можно сказать, виде. А остальное все излишнее: ты свободный человек, я свободный человек, вместе мы — прекрасно, а нет — что подделаешь? Подождем до лучших времен: муж там опять куда-нибудь уедет или у тебя эта твоя очередная сессия, наконец, кончится. Вот тогда-то, милый, мы свое и возьмем! Ты не расстраивайся: подумаешь, всего-то неделю-другую подождать... Одна из них, кстати, была даже кандидат наук, доцент с их же кафедры... И, конечно, полные гарантии! Тут уж никакой диспансер и в голову бы не пришел. Тут уж не за себя, за нее боишься: как бы ненароком ей чего-нибудь не передать. Мало ли с кем ты до нее был? Не всегда же удавалось потом выждать их, эти страховые три-четыре дня. Она сама требует: приезжай! Не будешь же объяснять ей, что ты опять вчера на подоконнике в подъезде кого-то там привалил...

Но... Риск благородное дело, господи! Да и судьба там, наверху — она, видно, сама там знает, кого карать и за что. Так, погрозила ему однажды пальцем: поберегись, парень! И, надо сказать, он понял намек: редко когда с тех пор забывал заранее положить этот спасительный пакетик к себе в задний карман брюк. Но ведь все же забывал иногда! Или вдруг соответствующая ситуация возникала там, где он ее и предвидеть ни за что не мог... Как, вспомнить, было однажды на факультете, после какой-то скучнейшей лекции — в той же аудитории, на столе, запершись изнутри на воткнутый в дверь

ную ручку стул. И с гражданкой, от которой он и сам-то, признаться, такой прыти ждать никогда не мог... А то, бывало, что и сама партнерша требовала: только без этого! Только, ради Бога, без этих глупостей, не порть мне удовольствие — ненавижу всю эту дрянь, одна морока с ней...

Так что ни по каким объективным критериям эта грустная барышня из детского приюта вам, Константин Алексеевич, противопоказана быть не может. Всяких мы видали! И эта тоже, как говорится, «не бином Ньютона». Тоже не труднее любых других... Ну, а раз так — тогда что же? Что мешает? Почему же ты тогда так сразу: не мой размер, и все дела? А может, поторопился с выводами — может, и это тоже твой размер? С чего это ты вдруг решил, что цветочница на Арбате — это и есть твой потолок на все твои остатние времена?

Но насчет того, что что-то мешает, — это ты, Костя, пожалуй, прав. Что-то действительно мешает... Но что? Любовник? Ну, во-первых, это только твои догадки, что этот хмырь из префектуры ее любовник. А может быть, и не любовник. Может, действительно просто мецената из себя корчит, грехи свои у Бога отмаливает. Тоже, небось, какие-то клочки от совести остались, не все же жадность в нем съела... А во-вторых, ну, даже если и любовник — ну, так и что? По всему видно, такой любовник, что она и сама охотно придушила бы его подушкой, если бы была ее воля. Тут только дать ему под зад коленкой — покатится, как миленький! А по делам... А по делам мы этой сволоте уже не по зубам. Стерпит, падаль! А не стерпит — сменим. Таких жлобов, как он, только свистни — везде теперь в очередь стоят.

Хорошо, договорились — не любовник, не он мешает... Но если не он — тогда что? Она сама? Стараться надо, время тратить, уговаривать — этого ты боишься? Но и это тоже чепуха! Технология известная, пригодная на все времена и на все случаи жизни. И весь процесс тоже давно отработан: от одного вечера до двух-трех недель, больше ни одна и не выдерживала никогда. И это тоже не выдержит! И ей тоже тоскливо, тоже нищета да грязь, да одни свиные рыла вокруг. Улыбнуться ей, какую-нибудь там фигальку подарить — а это он, Костя, умеет! — пригласить куда-нибудь, где чисто, где ничем смрадным не пахнет, обнять за плечи, к себе прижать, погладить по руке... Ну, а потом? А, небось, думаешь — начнутся потом сопли? Насчет того, женись — не женись? Да брось ты, в самом деле, про всякую ерунду! Не будет никаких особенных соплей. Кто ж теперь на ком женится, в эти-то волчьи времена? Всем абы как-нибудь вы-

жить, перезимовать. А насчет жениться — кто ж теперь заглядывает так далеко? И она, наверняка, тоже не заглядывает: есть кто-то рядом — ну, и ладно, ну, и хорошо. А там один Бог знает, как там будет дальше все...

Так что, и это не мешает, и это не препятствие. Тогда что же? Тогда остается одно. Одно, но, видно, самое серьезное... Бр-р-р-р... Только подумаешь — мороз по коже! Остаются, что ни говори, эти уродцы, которыми она там занята. Как закроешь глаза, как представишь себе эти обрубки, эти слюни, эти бессмысленные рачьи глаза... Страшно! А кругом одни они. И никаких надежд, что это исчезнет, изменится когда-нибудь. Никогда не изменится — никогда! Вот в чем главное — никаких надежд. Ни для вас, барышня, ни для них, ни вообще ни для кого... Эвтаназия, дорогая Ирина Викторовна! Эвтаназия. Но даже и тогда — только без меня. Я, Константин Мамонов, вообще ничего не хочу о них знать. Ни видеть их, ни слышать о них не хочу. Ни даже помнить, что они вообще на свете есть... Это, выходит, что же? Все время думать, все время сознавать, что эта барышня, моя подруга, моя партнерша, сейчас только что от них, из этого кошмара — и прямо ко мне в постель? Нет — без меня... Бр-р-р-р... Что хотите делайте со мной, но только без меня!

А все-таки, Костя, смотри: видно, остались они еще у нас, святые. Не перевелись! Несмотря ни на что... Надо же — нашла себе жизнь. Мать Тереза! И в монастырь никакой не надо. Это тебе похуже будет всякого монастыря... Боюсь, однако, барышня, что больно рано вы за такие дела взялись. Слишком молода еще, слишком глазки у вас живые, любопытствующие, слишком ноги длинные... Да и грудей, прямо скажем, многовато, чтобы им так зазря пропадать... Духу-то, спросить бы ее, хватит у тебя на этих уродах, на всю жизнь — хватит? Или, милая, поиграешь годок-другой да и плюнешь на них? И кончится все тем, что в конце концов найдешь какого-нибудь мужика по себе, а они там и дальше ползай в своем дерьме, копошись, слюни пускай, пока их Господь сам не приберет... А, брось ты, Костя! Чего, в самом деле, пристал к человеку? Что ты хочешь от нее? На месяц, на год, на всю жизнь. Да разве она сама это знает? Хватит уж и того, что взялась за такое, решила на такое. А выдержит или нет — кому это дано знать? Сам-то ты, небось, даже подойти и то близко бы к таким делам не подошел. И двери бы не открыл, и в палату бы к ним, к этим уродам, не заглянул. Разве что под пистолетом...

А кстати... Вот бы познакомить ее с отцом — вот бы, наверное, вместе душу отвели! Про все бы поговорили, всласть бы поговорили: и про человечность, и про мораль, и про сострадание к ближнему. И про совесть бы не забыли! И про равнодушие, и про то, что осатанели люди, креста ни на ком нет: так и готовы все вцепиться друг другу в глотку, так и рвутся все развалить, все раскурочить, все растащить до последнего кирпичика или лоскутка — а там хоть трава не расти... И про порнуху-чернуху кругом поговорили бы, и про страх на улицах, про слезы вдов и сирот, про пир во время чумы...

Как же — знаем! И его, Костю, конечно, бы осудили. И ему бы досталось по первое число. Заодно со всем нынешним поколением: одни, дескать, циники, одни жлобы да уголовники вокруг, всем на Россию наплевать... Вот мы, дескать — мы, заталдычил бы отец: мы хоть боролись, мы, шестидесятники, хоть пытались что-то сделать. Нескладно, неуклюже, по-дурацки иной раз — но пытались же! А вы? У вас-то что за душой? Копейка, да жратва, да «мерседес», да задастая баба на подоконнике, с ногами на плечи да каблучками вверх... Нет, правда, вот бы отец радовался! Наконец-то, небось, подумал бы, родственную душу нашел. Значит, не все еще потеряно. Есть еще надежда впереди... А она? А она бы слушала его, поддакивала бы, наверное, кивала бы головой. При ее-то тренировке — какая ей разница, кто перед ней пузыри пускает? Что старый, что малый — ей-то все равно: пусть дяденька потешится, он симпатичный, старость надо уважать, когда-нибудь и наш черед придет...

Ох, не любил же он, Костя, эти душеспасительные беседы! Ох, не любил... никогда не любил! С тех самых пор, как начал помнить себя: когда еще красненький галстучек на шее носил да ручкой над головой эдак делал, салютовал разным там бюстам, да мавзолеям, да вечным, неугасимым огням... Комедия, одно слово! И не для одного него — для всех ребят это уже тогда была комедия. И не важно, кто и где. В школе ли, по радио: «взвейтесь кострами, синие ночи...» Тьфу, гадость... Или родители, или друзья родителей; ах, капитан Тушин, ах, князь Мышкин, ах, Иван Денисович, ах, Пастернак, ах, Мандельштам... Все лабуда! Все было — одна лабуда.

А почему лабуда? Почему не верили? А черт его знает, почему... Может, потому, что голоса у них у всех были козлиные: бэ-э-э-э... Да глаза, как говорил Булгаков, напрочь скошенные от постоянного вранья... Но никто не верил! Никто.

Даже и та сволота, что с малолетства все руку с первой парты тянула, учителю в глаза: вот он, дескать, я! Меня, меня спросите, кто такой был Павка Корчагин или, не к ночи будь помянут, Павлик Морозов. А кто они были? Убийцы, сволочь они и были. Что ж тут сопли да тары-бары всякие разводите? Таких подонков в любом дворе, на любой улице и сейчас полно. Мы их каждый день и так видим! Недаром в классе почти у каждого уже лет с тринадцати-четырнадцати в кармане был либо кастет, либо даже похуже что... Законно! Право на самооборону, дорогие наставники. А вы тут все про коллективизацию да индустриализацию, да про звериный оскал империализма, да про бедных страдающих ангольских братьев, мать их всех в душу, чтоб они все там поскорее сдохли, обезьяны. Баобаб им всем в задницу... Но если нужно — мы пожалуйста! Мы готовы! Все как один! Шагом марш! «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...»

А дома... А дома вроде бы по-иному, а на деле то же самое, только с другого конца. Придут, сядут за стол, врежут по стакану-другому, и начнется: «ГУЛАГ, КГБ, Сталин-Бухарин, большевики, диссиденты, жрать нечего, Брежнев дурак... Чаадаев, славянофилы, Россия... Проклятая коллективизация, проклятая индустриализация... Америка России подарила пароход... Вот ужо фанеры, братцы, купим, ероплан построим и улетим все отсюда к такой-то матери... Ты, Костя, что читаешь? «Трех мушкетеров»? Агату Кристи? Братьев Стругацких? Да ты, парень, что? В твои-то годы? А «Бесы» Достоевского ты читал? А Замятина, а Хаксли, а Оруэлл? А «Крутой маршрут»? А «Бодался теленок с дубом»? Пора бы уж и тебе тоже все это знать. Пора! Кстати, если хочешь — возьми там в тумбочке. Только никому не говори! И ребятам никому не показывай. А то всех нас под тюрьму подведешь...» Да не нужен мне ваш Достоевский! Не нужен «ГУЛАГ», не нужен «Крутой маршрут»! Как вы не можете этого понять? Не нужен! Гори они все синим огнем, все эти ваши Солженицины... Хватит с меня того, что я знаю, что миллионов сорок—пятьдесят, не меньше, сгубили. И это-то душа не вмещает. А вы...

И того тоже хватит, что я и сам вижу! Да-да, и этого одного тоже во как хватит... Устроили, черт бы вам всех побрал, сумасшедший дом! А теперь плачете, горшки перебитые собираете, все ищите — кто виноват, кого проклинать, на кого все свалить... Киска дура! А сами-то вы чего? Сами-то вы где были? Ишь, раскудахтались... Видите ли, отец подвиг совершил. Герой! Войну в Афганистане, видите ли, пуб-

лично осудил. Осудил — и сам испугался! И у самого полные штаны. Сник, опустился весь, глаза затравленные, руки дрожат: сейчас его придут брать... Да не придут, отец, не бойсь! У них уж и пулеметы-то все проржавели, и патронов нет. Все пропили, все просрали, сволочи! Все сгнило... Ну, а если действительно боишься, так чего ж тогда лез? Сидел бы себе, посапывал бы в две дырочки. Милое дело — на печи сидеть! И мать была бы рада, и ко мне со всякими там разговорами да нравочениями, может, поменьше бы приставал.

А то, бывало, и шагу нельзя ступить без этих его нравочений... «Где ты там шляешься? Зачем лохмы такие отрастил? Выключи эту проклятую шарманку — оглохнуть можно от нее... И куда ты это дурацкое колесо от мотоцикла тащишь — тебе что здесь, дом или сарай? А фингал опять под глазом откуда? Добрые люди давно уж карате осваивают или ушу, а ты все, как биндюжник — кулаком в рыло... И вообще, что ты себе, Костя, думаешь? Как дальше-то жить собираешься? Учишься ты скверно, читаешь черт-те что, никаких серьезных увлечений я у тебя не вижу. Правда, с математикой у тебя вроде бы все в порядке... Но ведь многое и другое в жизни есть, что надо знать! Нельзя же так, чтоб ничего человека не интересовало. Всю жизнь на мотоцикле не прогоняешь, в дискотеках не проплянешь...»

Ох, муть! Мутота! Одно слово — мутота. Хуже, чем зубная боль. И так чуть ли не каждый день... До того, бывало, донудит, что схватишь шапку, хлопнешь дверью — и давай Бог ноги, куда глаза глядят. А то и пошлешь его в сердцах на три буквы, и это бывало, к сожалению... А потом недели, а то и месяцы молчания: ни ты ему ни слова, ни он тебе... Жалко его, конечно, старика, и себя ругаешь, да ведь и он тоже виноват: сколько ж можно, как ножом по стеклу скрипеть? Нервы-то у всех не железные, нудеть-то тоже надо с умом...

А главное — ведь добрый человек! Добрый, неглупый. За всю жизнь его, Костю, и пальцем не тронул. И не жадный, что тоже, как известно, не всегда бывает: надо что — возьми, другой раз, бывало, даже и не спросит, зачем... Добрый, но вот, подишь ты, нудный — сил никаких нет! Хорошо, хоть под старость стал вроде затихать, уже не прет, как бывало, как на буфет... Но и то, наверное, потому, что он, Костя, отделился от них, купил себе квартиру. А оставайся он с ними, с родителями, — небось, и по сегодняшний день были бы на ножах. Как их теперь молодые ребята, тинэйджеры-то, называют? «Шнурки»? Что ж, шнурки они и есть шнурки. Вещь, конеч-

но, полезная, но если слишком уж затянуты на ноге — далеко с ними не уйдешь. Ступня одеревенеет, пальцы онемеют — какой ты тогда, к чертям собачьим, ходок?

А ходить мы, дорогие вы мои родители, намерены далеко! Сами ходить, не на помочах. Человек, как известно, существо прямоходящее, тем он и отличается от шимпанзе... Конечно, жалко иногда, что это все, что было раньше, исчезло! Сиди себе, бывало, в институте, выписывай там какие-то закорючки на листе бумажки, играй с компьютером, грызи карандаш, чеши в затылке... Или в конференц-зале: чай с лимоном на блюдечке, седые старички за зеленым сукном сидят, амуры на потолке, люстра, небось, еще от Екатерины Великой, защиты там разные, доклады, проектор, черная доска с мелком... «В Академии наук заседает князь Дундук...» А вечером трахнешь какую-нибудь такую нимфу — и опять на седьмом небе, руки в карманы — и валяй: «А я один шагаю по Москве...» А то и на мотоцикле, по набережной, с ревом: дашь газу — хрен тебя кто догонит, только свист в ушах, разве что гаишник где на перекрестке тебе вслед палкой погрозит. Погрозит-то погрозит, да гнаться за тобой не станет: что с тебя, босяка, возьмешь? Одно слово — голь перекатная. Рокеры! На них не разживешься. И без них всяких лопухов с деньгами в Москве полно.

Нет, тоже конечно, неплохое время было. Тоже на скуку не приходилось жаловаться. Но... Но когда свободу объявили, когда началась вся эта заваруха — разве ж можно было спокойно усидеть? За компьютером да за чаем с лимоном? Большинство-то, конечно, тогда растерялось: как это так — все можно? А партком, а местком, а Первый отдел, а ОБХСС? Заметут! Непременно заметут. Завтра же заметут... Но кто растерялся, а кто и нет. Молодые-то многие не растерялись, сразу почуяли свой шанс. Наконец-то он в жизни появился, шанс! Раз ледник с места сдвинулся, раз он пополз всей машиной вниз — теперь пойдет... Хрен вам! Теперь уж нет такой силы, чтоб его остановить. Пока он всю вековую дрянь, весь хлам и мусор не снесет — покоя никому не будет. А раз с покоем покончено — выживает, как известно, сильнейший. Опять-таки, как говорится: на войне как на войне. А чем ты, Костя Мамонов, хуже других?

Помнится, однажды один из таких вот институтских старичков (кстати, руководитель их же отдела), когда они с ребятами только-только это все затеяли — компьютерными программами торговать — зазвал его, Костю, как-то под вечер к себе. Долго, помнится, проговорили они тогда: все

уж давно из института по домам ушли, а они с ним все сидели в его кабинете, чай гоняли, электричество жгли. Про жизнь толковали... Славный был старик! Но тупой как пень — ничего не мог понять, сколько ты ему ни объясняй.

— Костя... Костя, дорогой, растолкуйте хоть вы мне: что с вами со всеми происходит?

— А что происходит, Михал Моисеич? Нормально! Ничего особенного не происходит.

— Костя, но ведь все же, весь отдел бросился торговать! Да что отдел — институт разваливается, Центр наш разваливается... Что-то невообразимое, невысказанное творится, Костя. Никому ни до чего дела нет. Никому! Только и слышишь: этот в бизнес ушел, и этот ушел, и эта тоже куда-то там уходить собралась... Какая к черту математика! Не институт, а сплошное торжище, сплошной экспорт-импорт. Менялы в храме! Христа с бичом на вас всех нет... И хоть бы лаборантки какие-нибудь или другой какой вспомогательный персонал. Нет — вы! Костя Мамонов, Фарид Сефиуллин, другие ребята... И все мой ученики! Простите за высокий штиль — школа моя рухнет, дело жизни моей рухнет, Костя. Разве я могу на это спокойно смотреть? Наука рухнет, мирового класса наука! Это, получается, кого же я, старый идиот, всю свою жизнь растил, всю свою жизнь учил? Торгашей, лавочников? Ну, хорошо, я еще понимаю — всякая бездарь. Но вы?! Но Фарид?! Вы же талантливые ребята. Талантливые! А талант — он от Бога, его в ларьке не купишь... Что же вы с собой-то делаете, сукины вы дети? Вы что — все разом с ума посходили? О будущем-то своим вы думаете когда или нет?

— Михал Моисеич, дорогой, да не принимайте вы все это так близко к сердцу! Не погибнет она, ваша наука. Она еще от Пифагора идет. А тут... А тут временный, так сказать, всплеск человеческой активности. Под влиянием форс-мажорных обстоятельств... Нищета заела, Михал Моисеич! Жить-то надо... Борьба за существование! Надоело людям в карманах медяки считать.

— А вам всем что, на кусок хлеба не хватает? Не хватает? Так, что ли, позвольте вас спросить?

— Да как вам сказать, Михал Моисеич... Если так пойдет и дальше, то скоро и на кусок хлеба не будет хватать. В буквальном смысле слова, Михал Моисеич, не будет... А мы все люди молодые, нам жить не хуже других хочется...

— Ох, Костя, как же это все ужасно звучит... Если бы вы только понимали, как ужасно... Ну, вот вам, Косте Мамоно-

ву, молодому, подающему серьезные надежды математику... Гордости отдела... Вам-то чего не хватает? Какого еще рожна, как говорится, вам-то надо? Вы же, насколько я знаю, из вполне обеспеченной семьи...

— Это вы, Михал Моисеич, насчет того, чтобы мне и дальше на родительской шее сидеть? Нет, профессор, извините! Этого мы уже позволить себе не можем. Это уже не по нас... Да и не только это, Михал Моисеич... У вас у самого, извините за любопытство, какая машина?

— Никакой. Да что вы спрашиваете? Вы же сами знаете, что никакой...

— Знаю. Потому и спрашиваю... А загородный дом у вас, лауреата двух высших государственных премий, есть?

— Нет. Мне всю жизнь было не до этого... Я делом был занят, Костя! Мне всю жизнь было некогда. А всякую там редиску поливать — я, извините, на это, наверное, от рождения не гожусь.

— Допустим, не годитесь. Это ваше, так сказать, конституционное и человеческое право — плевать на эту злосчастную редиску да на всякие там смородиновые кусты. Хотя, боюсь, если не ваша жена, то уж ваша-то дочь с двумя вашими внуками, наверное, думают по-иному... А отдыхать куда вы, Михал Моисеич, ездите?

— Куда? А куда придется. Куда путевку дадут, туда и еду. Вы же знаете, я человек не очень привередливый...

— А чтобы дали, надо, наверное, кого-нибудь просить? В месткоме кланяться, заявление подавать, на две своих лауреатских медали ссылаться? Так?.. А почему бы вам, Михал Моисеич, не поехать, например, отдыхать на Канарские острова? Вместе с супругой? А может, и дочь, и внуков с собой взять?

— Костя, не городите чепухи! Вы же умный человек... А кто, интересно знать, меня туда пустит — на Канарские острова? Во-первых, я носитель секретности. Во-вторых, я еврей. А еврей от нас, как вы прекрасно знаете, можно либо уж насовсем, либо предпочтительно никуда. А в-третьих...

— А в-третьих, денег нет, Михал Моисеич? Так, да?

— Пожалуй, так. Вы правы, Костя... Пожалуй, что на Канарские-то острова действительно нет...

— Ну, вот, и вся проблема! А мы, Михал Моисеич, хотим, чтобы они, деньги, то есть у нас были... Мы хотим, мы просто жаждем отдыхать на Канарских островах! И не просить, не умолять при этом всякую сволочь о великом одолжении... И не когда-нибудь, а сейчас, сегодня хотим...

— Да, но при чем здесь наука, Костя? При чем здесь математика? При чем здесь, наконец, ваш талант?

— Ах, да бросьте вы, Михал Моисеич! Дался он вам, мой талант... Значит, нет у меня таланта! Значит, не выйдет из меня Лейбниц или Колмогоров... Ну, и пусть не выйдет! По крайней мере, жалеть особенно об этом не буду. Не всем же думать о памяти благодарных потомков. Я уж как-нибудь и без бюстика на каком-нибудь там занюханном бульваре обойдусь... Дело, Михал Моисеич! Делом запахло... Свободой запахло!

— Значит, Костя, все? Значит, мы скоро с вами расстанемся? И с Фаридом, и с другими расстанемся? Бесповоротно, навсегда?

— Боюсь, что так, Михал Моисеич. Похоже, что дело действительно к этому идет... Ну, бесповоротно или нет — этого, конечно, никому не дано знать. Но на время? На время, боюсь, что так...

— Костя... А если... А если я вот сегодня вечером приду домой и умру. От тоски умру... Или от отвращения... От всего, что происходит сейчас вокруг... Знаете, я как-то видел у одного моего покойного товарища запись в истории болезни: «Умер от отвращения». Правда-правда, Костя! Сам видел. Какой-то, видно, шутник из докторов так и написал «умер от отвращения»... Если я скоро умру, Костя... Будете вы, мои ученики, в вашем этом бизнесе хоть вспоминать меня иногда? Простите мне эту слабость... Но, честное слово, надеюсь, вы поймете... Мне тяжело, Костя... Мне очень сейчас тяжело. Так тяжело, как и не помню — было ли еще со мной когда...

— Михаил Моисеич! Профессор! Реббе вы наш дорогой... Не смейте так думать! Нельзя вам умирать. Вы обязаны дождаться, когда это все утрясется. Кто же, как не вы, будет математику спасать? И кто же еще, как не вы, будет следующих за нами учить? А они должны, они обязаны быть умнее, чем мы! И они, уверяю вас, будут умнее нас.

— Ну, хорошо... Идите, Костя. Идите, а я еще здесь немного посижу... Приберусь тут вот на столе, а то всюду бумаги, бумаги... А вы идите. Вы молодой, вас, наверное, барышни ждут... А я посижу. Может, еще одну трубочку выкурю тут напоследок... Ах, надо бы бросать это дело! Бросать... Да все вот никак не решусь...

Так и стоит он у него сейчас перед глазами: седые патлы на лоб, печальный, длинный еврейский нос, заношенный, чуть с перхотью у ворота, пиджак, глаза книзу, дрожащие

пальцы, набивающие трубку табаком... И темь в кабинете, только свет от лампы у него на столе... Маленькая такая, нахолившаяся птичка, забившаяся от всех, от всего этого безумного, от этого чертова мира, в угол...

А года через два он, Михал Моисеич, действительно умер. Наверное, как и говорил — от отвращения... И надо же — подгадал! Как раз накануне августовского путча умер. И хоронили они его аккурат в понедельник, девятнадцатого августа, когда танки в Москву шли. На Востряковском кладбище хоронили. И если бы не похоронный автобус — хрен бы им тогда пробиться сквозь все эти танки да бронетранспортеры. Но, оказалось, что путч путчем, а люди все-таки везде люди. Хоть напоследок, да пожалели старого еврея — пропустили сквозь поток... Вовремя, надо сказать, умер старик! Только, что называется, цветочки застал. А ягодки-то, как выяснилось, были еще все впереди...

А после похорон они тогда с Фаридом ни на какие поминки уже не поехали — рванули прямо к себе, в Мерзляковский. А оттуда уж, понятно, по Калининскому проспекту вниз, на набережную, к Белому дому: к этому времени уже известно было, что там народ собирается. Да не одни рванули, еще и всех парней из своей охраны собрали: один только и отказался, а остальные все без всяких разговоров «пушечки» свои подмышку, под пиджак, — и айда! И получился их из одной только фирмы «Проминвест», если не взвод, то уж целое-то отделение — это точно. И без оружия, просьба заметить, был только он один, Костя. У Фариды тоже, помнится, «дура» за пазухой была. Так что если бы дошло до дела, какой-нибудь прок и от них бы тоже, наверное, был...

Да, слава Аллаху, до дела не дошло! Пошумели, погалдели, помокли две ночи подряд под дождем, да и разошлись по домам подобру-поздорову. А были моменты, когда казалось: ну, все! Сейчас она начнется — пальба. Сейчас танки пойдут... Правда, мудрый Фарид, Змей-Горыныч, с самого начала уверял его, что все одним криком кончится. Но поди, знай! Даже когда во вторник утром узнали, что премьер слег в больницу с этим его якобы гипертоническим кризом и кое-кто начал поговаривать, что все это одна лабуда — и тогда, честно говоря, уверенности не было никакой. А к вечеру еще и этот слух, что вот-вот десантники будут Белый дом брать, что приказ уже есть, что только ночи, мол, ждут, пока стемнеет...

Нет, слава Тебе, Господи, что все так кончилось! Вот уж крови-то было бы... И прощай ты тогда, радость моя, «Про-

минвест»! А может, и жизнь — и она прощай... А что? Что они все со своими «пушечками», да кольями, да железными прутьями, да этими якобы баррикадами, черт знает, из чего наваленными, могли бы сделать? Против Кантемировской-то дивизии, да десантников, да всякой там «Альфы и Омеги»! Смехота! Да смело бы всех в секунду к такой-то матери — только и всего... И пикнуть бы никто не успел! А там потом разбирайся, кто прав, кто виноват, кто при чем, а кто ни при чем...

Сейчас-то, уже спустя столько времени, нет-нет да, бывает, и думаешь: и чего их всех тогда туда понесло, к этому Белому дому? Чего защищали, за кого воевать собирались? Это за этих-то, что сейчас уселись там, наверху? Ну, победили бы путчисты. Ну, нагнали бы поначалу страху на людей... А дальше что? А дальше-то куда им деться? Туда же бы и поперли потом, куда оно все теперь двинулось. Другой дороги-то и у них бы не было. Ну, разве что помедленнее бы все, наверное, шло, без этих судорог и конвульсий. Но туда же бы и шло...

Нет, Константин Мамонов! Нет, дорогой мой, ты не прав... Это все теория. А, как любит повторять твой родитель, «теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни...» А на деле, а на практике? А на деле было бы, скорее всего, так: во-первых, поначалу кровь и, надо думать, не малая кровь. А мы, извините, чем-чем, а кровью-то сыты по горло! Вот уж чего-чего, а этого нам не надо, ни при каких обстоятельствах не надо... Во-вторых, как ни крути, а какая-то пауза потом, несомненно, была бы. А за эту паузу таких, как вы с Фаридом, уж, как пить дать, прижали бы к ногтю. И «Проминвесту» вашему в этом случае, ребятки, была бы полная хана! Пусть на время — но хана. И кто знает, хватило бы у вас с Фаридом духу потом заново все начать... Но — и это в-третьих — даже и в том случае, если бы и к ногтю не прижали, так уж оборот-то вам бы замедлили — это точно. Тут уж и сомнений не может быть никаких. Пока то да се, да выработка общей линии, да перетряхивание этих... как их там... властных структур, да осознание самого факта, что все равно никакой другой альтернативы нет, кроме как дать дорогу новым людям — сколько бы времени на это ушло? Один Бог знает, сколько бы ушло. А время — деньги! И, извините, не одни американцы теперь знают, что так оно и есть на самом деле. И мы тоже знаем! Сейчас-то оборот в «Проминвесте» растет в геометрической прогрессии, удваивается каждые три — максимум че-

тыре месяца. Соответственно, растет и капитал... Налоги там, не налоги — а дело идет! Тыфу, тыфу — неплохо идет. А если бы тогда, в том августе, все повернулось по-другому? А?

Так что, Константин Мамонов — никаких сомнений. Надо было тогда идти к Белому дому. Надо! Ну, а что потом сволота всякая из всех щелей поперла наверх — что же делать? А когда ее там не было, наверху, этой сволоты? Надо думать, насытятся и эти когда-нибудь. Напьются крови и эти клещи! А насытившись — отвалятся. И поедут по монастырям свечки ставить да грехи свои отмаливать... Что ж! Нормально ненормальный процесс нормализации. И нечего, брат, грустить. Нечего тебе вешать нос...

А кто это, собственно, сказал, что он его вешает — свой нос? Свой великолепный, свой точеный, истинно греческий нос? Матушкин подарок! С легкой, едва заметной постороннему глазу отметиной у самого его основания, что так, видать, и осталась у него на всю жизнь. После одной из многочисленных его детских драк, когда какой-то поганец жажнул ему с размаху по переносице свинчаткой, зажатой в кулаке... Нет, не собирается он вешать нос! И никогда не собирался. Это старики его поплыли, растерялись. Вернее не старики, а старик... Мать-то еще ничего, держится: только вздыхать стала уж больно часто, да чуть что — глаза на мокром месте... А старик поплыл, определенно поплыл! С работы ушел, хотя его никто и не гнал. Никуда, мать говорит, устриваться больше не хочет, писать ничего не пишет. И из дома все куда-то бежит: что ни день, то до ночи его нет. А придет — так пьяный, да еще на кухне сядет, еще добавит, да так другой раз и уснет, уронив голову на стол. А если она его разбудит, да еще, не дай Бог, попытается его перетащить хотя бы на диван — сердится, обижается: отстаньте вы все, дескать, от меня, кому я мешаю? Я свободный человек или нет? И вещички уже кое-какие, мать говорит, стали из дому пропадать: пока так, по мелочам, все больше из книжек, но ведь, известно, тут важно только начать, а дальше оно уже само пойдет — не остановить.

Плохо дело! Плохо, Костя. Мать, похоже, уже каждую копейку начинает считать... И это в доме человека всероссийской известности, народного депутата, журналиста, как все говорят, Божьей милостью? Черт знает что! Черт знает что делается... А скажешь матери: плюнь, не бери себе в голову, возьми у меня, сколько тебе надо — тогда она обижается. Мы с отцом, говорит, никогда ни у кого в жизни не

брали, не просили — так неужели на старости лет собственный сын нас будет содержать? Дожили!.. А что, между прочим? Ну, и будет — что ж тут такого особенного, если собственный сын и будет содержать? Чудной вы все-таки, прости Господи, народ — старики. Напридумывали себе каких-то принципов, запретов... Все с ног на голову перевернули! Как коммунизм строить или Россию спасти — так вы в первых рядах. А как без всяких там мудрствований да высоких этих слов своему человеку подсобить по-простому, по-родственному подсобить — как же, фанаберия! Самолюбие, видите ли. Принципы, мать их всех так...

Сунься он, Костя, к примеру, сейчас к нему, к старику: дескать, дорогой мой многоуважаемый фатер! Кончай ты, ради Христа, эту всю трехмудь. Садись дома, у себя в кабинете, заправь машинку чистым листом бумаги — и валяй, катай там себе что-нибудь нетленное! Что-нибудь из твоей этой насыщенной и перенасыщенной жизни, о которой ты так грустишь... А я уж, будь уверен, опубликую! Найду способ. Найду, не сомневайся, ходы... И мать перестань в страхе держать! Кончай пить, а то чего доброго еще помрешь где-нибудь под забором. Вон уже, и зима на носу, уже холодно, уже октябрь. Замерзнешь же где-нибудь спьяну!.. А насчет денег не сомневайся — сын я тебе или нет? Сколько вам с матерью надо — столько и будет у вас...

Ну, и сунешься ты к нему с этим... Ну, и что? А заранее известно, что. Заранее известно, что будет... Насупится, нахмурится, вскинет эдак на тебя глаза: «ты это, собственно говоря, к кому обращаешься, интересно знать? Ко мне, к своему отцу? С каких это пор, сын, ты решил, что я нуждаюсь в твоей опеке? Вроде бы я пока еще вмняем, еще отвечаю за себя. И ни в каких твоих подачках я не нуждаюсь... Не заносись, парень! Рано ты меня в мусор списываешь. Еще неизвестно, как оно все там будет. И неизвестно, кому у кого просить придется. Я-то у тебя никогда не попрошу, что бы ни произошло. А вот ты у меня — это еще вопрос... Больно вы все теперь шустрые! Конечно, дай Бог вам всем удачи. Может, вы, и правда, окажетесь покрепче нас. Ну... Ну, а если нет?»

Что ж! Может, ты и прав, отец. Может, и действительно рано еще списывать тебя; как ты выражаешься, в мусор... Только все дело-то в том, что и я, твой сын, тоже никогда у тебя не попрошу. Никогда ничего не попрошу, что бы ни произошло... Вот так и будем, как два барана, и дальше стоять, упершись друг в друга лбами... Я ведь тоже как никак

твой сын! Все, правда, говорят, что я похож на мать. Но это больше по экстерьеру похож, а по характеру-то я, никаких сомнений, твой сын. Твой — не отопрешься! Разве что соплей у тебя малость побольше, чем у меня...

Ну, так и время другое, дорогой мой, многоуважаемый фатер! С вашими-то соплями да всеми этими бесконечными стонами о судьбах России — с ними сейчас не проживешь. Теперь каждый сам за себя, один Бог за всех... С соплями-то да со стонами, да воздыханьями, сам видишь — не получилось. Ничего не получилось! Ну, так, может, по-другому получится — без соплей? Естество, отец! Естество человеческое в ход пошло... И нечего ни вам, ни нам о том, что ушло, жалеть. Абсолютно нечего жалеть! И так этот бред, этот кошмар длился чересчур уж долго. Немыслимо долго! И немцы, и итальянцы, и японцы вон насколько раньше нас опомнились... А мы?

А насчет соплей, отец, тоже уж не надо нас всех так скопом в зверье зачислять... И с соплями у нас в общем-то тоже все в порядке. Только они, понимаешь, у нас по адресу, а не вообще. И в разумных дозах, а не так, как у вас: сегодня зацелую, задушу в объятьях, напущу слюней, а завтра нож тебе в спину или донос в КГБ... Если уж про этику, отец, говорить, то не ваша — другая этика теперь в ход пошла. Это я могу, а это нет — вот какая этика, отец! А чего не могу, до того, извините, мне и дела нет. Но уж если сказал, что могу, то кровь из носу, но держи фасон! Лопни, но сделай. Честное купеческое слово — сам знаешь, оно всегда в России было в цене...

Конечно, кто ж спорит: сучье сейчас время. В этом-то ты прав, отец... Того и гляди, по башке откуда огреют кистенем! Но что же делать? В этой стране сплошных уголовников, видно, и не могло быть по-другому, отец. Три поколения в людях выжигалось все человеческое, каленым железом выжигалось! Это только вы там, старики, со своими приятелями, как глухари на току, все твердили, ничего вокруг себя не желали замечать: ах, капитан Тушин, ах, князь Мышкин... Да не было вокруг вас давно уже никакого капитана Тушина, никакого князя Мышкина! А вам хоть кол на голове теши — вы все про свое... Ну, а насчет разбоя вокруг, без всякого огляду и удержу — что ж, печально, конечно, отец. Печально, что и говорить... Печально, но не смертельно! Как известно, вся Австралия вон выросла на каторжниках. И ничего, между прочим — неплохая получилась страна...

...А все-таки, Константин Мамонов, как ты ни хорохоришься, а что-то с тобой сегодня не так. Определенно не

так... Дождь, что ли, с утра как зарядил — не остановится? Холодно, октябрь, деревья вон за окном все уж облетели. Только одна рябина и держится... И свет уже надо в кабинете зажигать, а еще и четырех вроде нет... «Унылая пора, очей очарованье...» Какое там очарованье! Лучше бы вон топить, мерзавцы, начали, а то окоченеешь тут совсем, в сосульку превратишься. Надо бы сказать Регине, чтобы электрический камин, наконец, купила. Сама-то, небось, все чаем там отогревается, над плиткой руки греет. А мне чем прикажете? Коньяком? Можно, конечно, коньяком. Да вроде бы неудобно как-то: сидит известный московский бизнесмен Константин Мамонов у себя в кабинете и глушит посередине дня в одиночестве коньяк... Ну, а если плюнуть на все? А? С делами на сегодня вроде бы покончено. Конечно, осталась еще кое-какая мелочевка, да этим можно бы, наверное, и пренебречь. Можно бы и на завтра все это отодвинуть... Правда, а? Плюнуть — и позвонить...

Позвонить? А кому позвонить? Кому, кому... Что ж ты сам-то, Костя, перед собой кривляешься? Кому позвонить... Всем уж надоело звонить. Один только вроде бы телефон и остался, по которому еще не звонили. Не к цветочному же лотку на углу на Арбате, в самом-то деле, бежать... Видно, не дожидаться уж тебе, чтобы эта барышня сама позвонила. Просто так позвонила, не по делам... Конечно, душа простая! Незамысловатая, прямо скажем, душа. Чего ж, дескать, просто так звонить? За истекший квартал деньги интернату переведены, нынешний только-только еще начался — чего ж тогда без дела звонить? Мы, Константин Алексеич, вас уважаем, мы ваше время ценим, стесняемся вас лишний раз беспокоить...

Ну? Так позвонить или нет? Решайтесь, ваше степенство, как сказал бы Фарид Сефиуллин... Ну, что ж... Ну, и решимся! Чем мы рискуем в конце-то концов? Чем? А ничем. Ничем не рискуем: вы там живы, Ирина Викторовна? Как здоровье? Как ваши подопечные? Ну, а там видно будет, какой голосок нам ответит. При вашей-то квалификации, Константин Алексеич, по первому же звуку станет ясно, где мы с вами есть. И как нам дальше быть...

Итак... Где он тут в книжке... ее телефон-то... Ага! Два... пять... два... четыре... ноль... еще ноль... и последняя цифра... Занято! Ну что ж. Значит, на месте, значит, подождем. Подождем, покурим, нам не к спеху... Только позвольте вас, милая барышня, предупредить: вы уж там тоже, пожалуйста, без всяких этих иллюзий. Люди мы с вами взрослые. И если я что

правильно понимаю в жизни, и на вас, и на нас спрос на рынке пока еще есть. Так что вы уж, пожалуйста, никаких этих вывертов! Никаких ненужных маневров. Во всяком случае, чересчур длинных маневров... Да-да! А нет — ну, так и нет.

ГЛАВА X

Но, кроме тех двух толстых общих тетрадей, в порыжевшей этой папке с тесемками была еще одна маленькая тетрабочка, которая не сразу и обнаружилась. Она лежала на самом дне папки — под пачкой больших глянцевиных фотографий, под дипломом об окончании Московского Межевого института, выданным Мамонову Ивану Николаевичу в 1927 году, и под целым ворохом почетных, с государственным гербом и печатями, грамот, полученных им же в разные годы за успехи в социалистическом соревновании или по другим каким, не менее выдающимся поводам, на которые то время было, как известно, столь изобретательно и щедро.

И эта тоненькая тетрабочка тоже начиналась с приписки, обращенной непосредственно к нему, к Алексею Мамонову:

«Если помнишь, сын, твоя покойная мать всегда называла меня «запечным философом». Чего в этом было больше — насмешки или сочувствия — я, честно говоря, и сейчас затрудняюсь тебе сказать. Наверное, было и то, было и другое. И, как всегда — не очень-то, может быть, и сама сознавая, почему — но она была права. Я, вероятно, действительно родился философом, хотя и простоял всю свою жизнь за теодолитом. Но если и философом, то, к сожалению, действительно запечным. Ни разу в жизни я не сделал ни одной попытки как-то высунуться на поверхность со своими размышлениями, и если кто когда и слышал от меня все эти глубокомысленные сентенции и выводы, то это только она. Она, а теперь вот, надеюсь, что еще и ты».

А дальше в тетрабочке, как у Монтеня, шли маленькие подзаголовки, выписанные крупными буквами и четко очерченные черными чернилами. И первый из них звучал так: «О Боге и безбожии. Основы мировой гармонии». Вот именно! Никак не меньше: старик, ничего не скажешь, ни мелочиться, ни попусту шутить в жизни, по всему видно, не любил.

«Оглядываясь назад, — бежал по страницам тетради все тот же знакомый, педантичный почерк, хотя, несомненно,

это все написано было уже явно одряхлевшей, старческой рукой, — я думаю, что я всегда был не атеист и даже не агностик, а, так сказать, стихийно верующий человек, как, собственно, и большинство людей моего времени. Причем стихийным я был не столько под влиянием оглушительной большевистской пропаганды, сколько по внутреннему устройству моей души и моим собственным, скажем так, мыслительным способностям.

Разумеется, в дедушку с бородой, восседающего где-то там, наверху и внимающего людским молитвам, я уже, понятно, верить не мог, как не мог я верить и во всю эту пышную, согласен, увлекающую человека, но все же, несомненно, театральную сторону всякой, а тем более нашей, православной религии. Мне всегда нравилась, хотя местами казалась чересчур уж наивной и тяжеловесной, Библия и особенно нравился Новый Завет, и, конечно же, самую искреннюю, самую горячую симпатию у меня всегда вызывал Христос — но не как Сын Божий, а как такой же человек, как и я, только неизмеримо выше меня по своим душевным силам и своему человеколюбию. Но, говоря, так сказать, в целом, я понимал, что и неверие человеческое ничем не более неоправданно, чем самая трепетная вера: весомость аргументов как с той, так и с другой стороны умом мне казалась примерно более или менее одинаковой, и я всегда считал, что в конце концов это личное дело каждого — к какой стороне примкнуть.

И все же что-то такое всегда было в моей душе, где-то там, в самой глубине, что смутно, но зато неотступно заставляло меня все время оглядываться на некую высшую силу, разлитую в мире, и жаждать, и искать неоспоримого свидетельства того, что мои инстинкты меня не обманывают и что она, эта сила, действительно в мире есть. Очень скоро я понял, что, как и все, я все время ждал и надеялся в жизни на одно: на знамение свыше, на откровение, без которого, уверен, никакая благодать сама собой не может снизойти на одного, отдельного человека. И не знамение вообще, где-то там, где меня и впомине нет, и которое я должен принимать на веру, причем на веру к другим, неизвестным мне людям, скорее всего, таким же ненадежным в своем свидетельстве, как и я сам. Нет, этого для меня было слишком мало: Фома неверующий для меня всегда был понятнее и ближе, чем все предания, все эти слухи о чудесах, которыми, якобы, так полон мир.

И это был и остается, сын, мой первый вопрос к Богу: почему Ты лишил меня Своего свидетельства? Чем я провинился?

нился перед Тобой, чтобы не иметь от Тебя ни единого прямого, обращенного ко мне знака, что Ты есть и пребудешь во веки? Почему я должен верить другим, когда, казалось бы, все могло быть так просто: мигни мне только — и я Твой, я буду счастлив до конца моих дней, и я никогда не совершу никакого зла, ничего, что было бы против Тебя?

И чем больше я думал, чем больше я старел, тем больше понимал: нет, стандартный, расхожий ответ, что тайна сия непостижима для жалкого, смертного человека — это не объяснение, а, значит, и не оправдание. Бог создал человека по образу и подобию своему, наделил его силой духа и силой творения во многом равным Его собственным силам — и в то же время эта дурная, мелочная шутка по отношению ко мне? Шутка, прямо скажем, весьма невысокого пошиба: дескать, барахтайся там, как знаешь, тварь, может, набредешь на Свет, а может, и нет. Для высшего начала, вмещающего в себя и порождающего из себя все добро мира, это даже как-то и недостойно: вытолкнуть, выпихнуть человека в жизнь, а потом самому же и отвернуться от него. Да еще и требовать, если верить попам, чтобы я всегда и во всем оглядывался на Него и готовился со всеми своими грехами ко встрече с Ним, и униженно, как ничтожный, трепещущий раб, поминал Его Имя с утра до вечера и с вечера до утра в своих молитвах... Да еще и какой-то нелепый первородный грех зачем-то к этому приплели...

И все же, хотя и не было мне никогда ниоткуда ответа, не было знамения — я все равно, несмотря ни на что, чувствовал и верил, что Он есть. Стоило только бросить взгляд на самую малую снежинку на оконном стекле, на птаху какую-нибудь на ветке, на пчелиный улей, на спящего младенца у матери на руках — нет, не могли эта красота, эта невероятная гармония мира возникнуть сами собой. Стихия этого сделать не могла, стихия способна лишь разрушать... Тут должен был быть какой-то план! И никакой Дарвин никогда меня в обратном убедить не мог.

Но тут с ужасающей, неподъемной для души прямоотой всегда возникал второй вопрос: о какой это гармонии ты, слепец, говоришь? Где ты видел ее, эту гармонию? Ты, на глазах которого миллионы ни в чем не повинных людей корчились, вопили, проклинали свою судьбу и погибали в адских, невыразимых муках? Ты, лишь случайно кончающий свои дни дома, на печи, а не в концлагере? Ты, непонятно почему, не погибший, как погибли миллионы других, в пламени войны, развязанной двумя самыми страшными злодеями,

которых когда-либо только знал мир? Это, по-твоему, гармония? Это благая воля Его? Достоевский вон сокрушался по поводу одной лишь слезинки ребенка. А что же тогда говорить, скажем, о всех этих еврейских детях, о миллионах женщин и стариков, задушенных в душегубках или в газовых печах?

Хорошо, я допускаю, что Он, Творец, давно уже, если не с самого начала, не вмешивается ни во что и что, по замыслу Его, человек сам, без участия высших сил, должен устроить землю и свою жизнь на ней. Да, вероятно, так оно на самом деле и есть... Но как же все-таки... Как же тогда она, та женщина с ребенком на руках, смотрящая в дуло автомата на краю вырытой позади нее могилы, не понимая, за что ей и ее ребенку столь страшный, столь чудовищный конец? И причем — массовый конец? И после этого говорить о какой-то гармонии мира? О плане, задуманном и воплощенном Им? Смешно!

О, теодицея, сын, скажу тебе — это страшная проблема! Оправдание Бога... Может быть, самая страшная из всех известных донине человеку проблем... Признаюсь, всю жизнь я мучился над этим. Всю жизнь, как только сейчас понимаю, пытался спасти, оправдать в своей душе образ Его — Творца, источника всякого добра и гармонии мира. И, мне кажется, что все-таки я в конце концов хоть и под старость, но нашел ответ. Причем, убежден, единственно возможный ответ, который спасает стройность мира и оправдывает Его, Бога.

И ответ этот, сын, до нельзя, до невероятия прост: смерть человеческая — это не несчастье и уж тем более не наказание. Напротив, это высочайшее благо, данное человеку, самое высокое из всех благ: только он, человек, не понимает этого и потому и страшится, и всячески избегает ее. И если это благо, если это и есть милосердие Его, то тогда — но только тогда! — можно объяснить все: и муки, и страдания людей, и их смерть, какой бы она ни была, и миллионы погибших в концлагерях или на войне. И в то же время объяснить и гармонию мироздания, и Его самого — Божественного Творца.

Ну, а зачем же тогда, спросят меня, все страдания человеческие, зачем же столь ужасный зачастую его, человека, конец? В том же концлагере, к примеру, или в газовой печи? А затем, отвечу я, что, во-первых, Сатана тоже имеет право на свою законную долю в мировых делах, ему тоже нужно какое-то занятие, а, следовательно, нужны и жертвы. А во-

вторых. А во-вторых, скорее всего потому, что человек, которого ждут после смерти Покой и Свет, тоже должен иметь хотя бы какое-то представление, что такое есть зло. Иначе, вне собственного опыта, ему, как ни крути, не понять разницу между добром и злом, не оценить того, что ждет его там, за земным порогом. Ну, а что касается конкретных страданий и конкретных обстоятельств конца каждого из нас... Что ж! Как говорили, сын, еще древние римляне: «продолжительное страдание незначительно, значительное — непродолжительно». И какое в действительности, скажи на милость, они имеют значение — те несколько секунд, которые остановят твою жизнь? И какая разница — будет ли это пуля, или петля, или естественное, в своей постели, под удрученные вздохи родных, последнее забытье?

Такая вот, дорогой мой сын, теология: невмешательство Бога в земные дела и смерть как основа мировой гармонии. И попробуй, опровергни, докажи, что я не прав: уверяю тебя, ничего не получится. А если и получится, то только то, что иначе в мире вообще ничего нет, а есть только хаос и абсурд... Нуль, ничто! Да может еще, как говорил когда-то тот же Достоевский, «синильная кислота».

Об исчислении людских судеб. Но это отнюдь не означает, разумеется, что я исповедую и проповедую какое-то пренебрежение к земной жизни человека. Нет, как раз напротив: даже и не хочется вновь, в который раз говорить все эти банальности о неповторимости, о самодостаточной ценности отдельной человеческой жизни, о том, что выше ее на земле нет ничего и не может быть.

Все это давно известно! Но все это, к сожалению, была и есть до сих пор одна теория. Да и теория, по правде говоря, какая-то куцая, обкусанная со всех сторон: то церковь вызывает к человеку, чтобы он не очень-то сосредоточивался на своих низменных, земных делах, а уповал больше на жизнь вечную, то политики и прочая сволочь гонят куда-то всех волна за волною, миллион за миллионами, размахивая перед носом безропотно идущей за ними на гибель толпы очередным каким-то жупелом, то сами люди без всякой, казалось бы, видимой причины вдруг сходят с ума и бросаются куда-то всем стадом, позабыв все теории и все заповеди Творца, и давят, и убивают, и топчут друг друга, не обращая внимания на крики и стоны затоптанных и спасая лишь свою шкуру... Скучно, сын, все это перечислять! Скучно да и бесполезно: так было до нас, так, боюсь, скорее всего будет и после нас.

Но «скорее всего» — это все-таки не значит, что по-другому никак не может быть. Может! Я убежден, в принципе — может. Только какой же долгий до этого путь! И сколько же еще поколений должно смениться! А в этих, идущих друг за другом поколениях, между прочим — я, ты, мой внук, и дети, и внуки моего внука, и так далее, и так далее, несть им, как говорится, числа... Но, слава Создателю, кажется, что-то начинает меняться в людях к исходу нашего века — самого, бесспорно, кровавого века из всех. Не у нас, конечно, меняться — мы все еще дикий народ, мы пока еще до этого не доросли, — а где-то там, на Западе, где вроде бы, наконец, жизнь начинают считать по-иному, чем считали всегда. Что ж, дай им Бог всяческой удачи! Может, что-нибудь и получится у них со временем... Если мы, конечно, в один далеко не прекрасный день не провалимся все вместе, в обнимку, в тартарары.

А все беды мира, сын, по моему глубочайшему убеждению, происходили и происходят от того, что исчисление людских судеб всегда и везде велось в тысячах и миллионах и никогда — конечно, в реальной жизни, а не в проповедях или теориях — в единицах. Это какой-то врожденный, генетический порок людей, к сожалению, столь же естественный для них, как дыхание, как сама жизнь: чуть что, чуть какая задача или проблема — считать всех скопом. Тысячу туда, миллион сюда, да еще миллион обратно... И никто даже и не задумывался никогда: кто они конкретно, эта тысяча, этот миллион? Иванов, Петров, Сидоров? Как бы не так! Миллион — и вся недолга. И добро бы только какой-нибудь там Чингис-хан или Гитлер, или Сталин так считали. Нет, все так считают! Даже самые величайшие умы, просветители, учителя человечества, совесть его — историки, философы, писатели, священнослужители... Даже и они, эти якобы гуманисты, в своем большинстве не знали и не знают другого счета.

Может, ты и удивишься, и не поверишь мне, но, уверяю тебя, всю жизнь у меня вызывала лишь зубовой скрежет, к примеру, такая, скажем, простая и вроде бы совсем безобидная, понятная всем и каждому фраза, из какого-нибудь там Геродота: «Утром, закончив наводить переправу, полки Дария двинулись через Геллеспонт...» Да кто они, хотелось мне всегда кричать — эти полки Дария? Кто он, поименно кто — тот, кто двинулся через Геллеспонт? Как его звали, как он жил, какие у него были жена, дети, дом, что он любил, что не любил? И зачем он, именно он, этот неведомый мне перс, двинулся через Геллеспонт?

Нет, не имеет права на существование никакая теория больших чисел, по крайней мере применительно к человеческим отношениям. Только поштучный, только поименный счет! Большие числа — это все, сын, компетенция дьявола. Именно так, опираясь на массовый счет, на счет по головам, он только и может творить в мире свои самые страшные дела... И нет на свете ничего страшнее, чем масса, чем толпа — не важно, по какой надобности и где она собралась. Во всякой толпе хозяин не Бог, а дьявол. И ничего доброго от толпы — никакой толпы! — ждать нельзя. И для толпы, я убежден, у Бога есть лишь одно спасение, лишь одно орудие Его всеконечного милосердия — смерть.

И кто бы что ни говорил, сын, а мой вывод под конец всей моей этой вынужденно коллективистской жизни, жизни в толпе, абсолютно однозначен: индивидуализм — лишь в этом спасение людей, лишь в этом надежда на гармонию жизни здесь на земле, а не только за земным порогом. Само собой разумеется, что индивидуализм, ограниченный обычаем и законом. Но именно индивидуализм! Когда каждый человек сам себя считает за единицу, но и тех, кто вокруг него, согласен считать лишь поименно, а не по головам.

Ты, естественно, спросишь меня: а как? А как научиться считать всех поименно, чтобы никого не забыть, никого не пропустить? Отвечу: не знаю. Не знаю, как. Но верю, что когда-нибудь люди будут знать — как. Признаюсь тебе, мне даже кажется иногда, что все эти новые, на первый взгляд в высшей степени бездушные вещи — всякие там суперкомпьютеры с памятью на миллиарды единиц и прочие разные технические чудеса — это шаг именно в этом направлении: всем знать о всех и во всем вести только поименный счет. Усмехнешься на эти бредни старика? Как знать! Во всяком случае, погоди усмехаться. Не забывай, я еще застал то время, когда высшим достижением человеческого разума считался велосипед. И я еще сам умею, если надо, лапти сплести: жил у нас в деревне по соседству один дед, у которого я еще мальчишкой, забавы ради, эту науку перенял. И это в богатой, симбирской деревне, заметь! А дожил я до того, что стал свидетелем, как американцы высадились на Луну. И это только за мою одну и отнюдь не самую долгую, как понимаешь, жизнь.

Так что, кто знает, как оно пойдет: может, технически это вскоре станет и не так уж трудно — этот мой поименный счет. А вот начнут ли люди действительно так счи-

тать — это уже другой вопрос. Тут уж я тебе, конечно, ни за что не поручусь.

О человеческом безумии. Я да, уверен, и ты тоже — мы оба, сын, выросли в убеждении: народ всегда прав, голос народа — это голос Божий. Ни чему другому, а именно этому учило нас все вокруг — и наша русская, отпусти ей, Господи, этот грех, литература, и традиции наши, и наука, и весь этот звон, эта большевистская трескотня, что сопровождает у нас каждого всю его жизнь. Да и самому человеку — никуда и от этого не деться! — от природы, наверное, тоже присуще это чувство самоуничужения, приниженности, недоверия к самому себе: как «мир», как «общество» решили, так оно и должно быть, а если ты того решения не приемлешь — тем хуже, значит, для тебя. Это твоя печаль, это ты урод, а люди — они всегда правы.

Помню — давно это было! — как шокировала меня первоначально одна мысль, на которую я наткнулся у кого-то из западных писателей, кажется, если не ошибаюсь, у Бернарда Шоу: норма — как раз то, что реже всего встречается на свете, а нормальный человек — это и есть самая большая редкость на земле. Помню, аж вся шерсть на загривке поднялась у меня тогда дыбом от этакой-то наглости: как?! Это что же, господа, вы себе такое позволяете? Я, значит, один умный, я, значит, один нормальный, а все другие вокруг меня — слепцы или безумцы? Так, что ли, прикажете вас понимать?

Так, сын! К сожалению, именно так. И так это и надо понимать: прав чаще всего один, а остальные все не правы... И, думаю, что и в патологии человеческой оно все схожим же образом: безумие всех, то есть так называемого народа, по крайней мере столь же рядовой, а иногда мне кажется, даже и более частый случай, чем безумие одного... Да и кто он такой — народ? Они, эти люди, что бредут понурой толпой мимо меня по улице? Они — народ? А почему я — не народ? А я утверждаю, что я и есть народ! Я, а не эта толстомясая тетка в мохеровой шапке на лоб и жадными, рыскающими по сторонам глазами, готовая, уверен, даже из-под неостывшего еще мертвеца выдернуть подстилку, если эту подстилку можно утащить к себе в дом. Я, а не эти, с утра уже хмурые, со вчерашнего перепоя, мужики на лавочке у нас во дворе, с бутылкой и единственным стаканом на всех, а закуска у них одна — как говорится, кто дальше плюнет... Да, мне их жалко! Я сочувствую им, скорблю о том, в какое скотское состояние они себя вогнали или их вогнала жизнь. Но что они за свою жизнь сделали, чтобы я-то, я должен был кло-

нить голову перед ними, должен был всегда оглядываться на них?

Ах, они, видите ли, всю жизни работали... Как бы не так! Работали! Сначала, безумцы, разгромили, разграбили все, разнесли к чертям собачьим в революцию свой же дом и свою же собственную страну. Самоеды! И это был, вы говорите, глас разума, глас народа, глас Божий? О, Господи... А потом? Уже в другой раз, в угаре той же звериной алчности, распахали, растащили все у своих мало-мальски справных, уже чуть-чуть было оправившихся к тому времени соседей, а после, под улюлюканье и свист толпы, их же и погнали в телячьих вагонах в Котлас да на Колыму. И опять себе же на горе! Ну, так и хлебайте, пока живы, полной мерой ту кашу, что сами же и заварили тогда... А лагеря, а 37-й год? Все правильно: Сталин, Ежов, НКВД. Ну, а минимум каждый десятый в стране доносчик, каждый десятый, считай, прямой убийца — эти-то кто были? Не народ? А сторожил эти лагеря, дорогие сограждане, кто? Уж точно не я сторожил. Говоря по-вашему, народ и сторожил. И я согласен с вами — да, народ. Но безумный народ! И нечего делать из него страдальца, мученика, который только и знал, что терпеть да вздыхать, да молча чего-то ждать. Нет, это все поделом ему — это все плата за его же собственную жадность да за дурость... А что сейчас? Да крикни опять кто: валяй, братва! «Грабь награбленное», громи магазины, громи соседей, тащи все — ничего вам за это не будет! Думаешь, сын, не пойдут? Пойдут! Как миленькие, пойдут.

Нет, не народ прав, сын, не толпа. Я прав! Я и другие, такие, как я. И мой тебе совет: учти, если сможешь, мой опыт. Если почувствуешь когда, что изнемогаешь, что не можешь найти никакого разумного объяснения тому, что творится вокруг тебя, — не падай духом, не вини себя. Это, конечно, не означает, что я призываю тебя лезть с кулаками на стену, переть дуром в лоб течению. Бесполезно, сын! Бесполезно потому, что у человеческого безумия, как и у всякой болезни, есть своя логика развития, и пока что-то там само собой у людей в мозгах не сдвинется — нет такого жалкого человеческого голоса, который мог бы что-либо в людях изменить. Никого ты не переубедишь! И никогда не переубедишь. В особенности, если этот голосок апеллирует к разуму, а не к звериным инстинктам в человеке... Я, признаюсь тебе, всегда лишь усмехался, видя эти жалкие мессианские потуги наших доморощенных святых. Таскать вам всем, ребята, не перетаскать...

Болезнь, сын, сама должна созреть. Тут уж ничего не поделаешь — хоть ты расшибись... Но и вены себе вскрывать тоже не надо. Также не резон! Вертись, изворачивайся, притворяйся, да в конце концов, если уж совсем невоготу — ложись на дно и лежи там, как премудрый пескарь... Но и себя не унижай! И от себя не отступайся — потому что прав ты, а не они. Безумны они, не ты!

А толпе, или так называемому народу, я, скажу тебе, поверю лишь в одном случае: если он, народ, когда-нибудь в свободном голосовании проголосует за здравый смысл, а не за очередную какую-нибудь химеру или и того хуже — кровь. Вот тогда я, может быть, и поверю, что глас его и вправду есть глас Божий. Но, к сожалению, до сих пор, по крайней мере, с нашим народом этого еще ни разу не случилось. А потому это свое предположение, по нынешней нашей жизни, я считаю беспредметным. Как ты понимаешь, уж кто-то, а я-то этого, уверен, никогда не дождусь.

О России. Но если бы все в нашей жизни можно было бы объяснить только человеческим безумием — массовым безумием! Дескать, стронулся мир с ума, сдвинулись у людей мозги — вот тебе и весь сказ. Нет, самое страшное то, что на это безумие еще и наложилась система. Конечно, тоже приспособленная к безумию, но само по себе стройная, продуманная, законченная система. Причем до того стройная и до того законченная, что выдерни из нее хоть один колышек, хоть одну самую малую скрепу — и рухнет все.

И это только кажется, что система абсурдна и алогична. Нет, она в высшей степени логична! Логична логикой алогичности, логикой дьявольщины, логикой зла, сын.

Я, например, никогда не мог оправдать никакими резонами, никакими соображениями даже самой циничной, самой безжалостной рациональности коллективизацию — я тебе уже об этом говорил... Или как можно было с нормальных, человеческих позиций, то есть в категориях выгоды и убытков, объяснить и оправдать уничтожение Сталиным всех мелких ремесленников в городах? Этот-то холодный сапожник в подвале с молотком в руке и гвоздиками во рту — этот-то чем ему мешал? Какая политическая или любая другая угроза исходила от него — жалкого, забитого сидельца на своей этой колченогой табуретке, который думал лишь о том, как бы прокормить свою семью, а заодно и чинил сапоги всей России?.. Или зачем ты, чудовище, ты, безумец, согнал на Колыму, за колючую проволоку, на погибель, столько людей? Золото, говорите? Да когда после XX съезда эти лаге-

ря прикрыли, тут же обнаружилось, что вдесятеро меньше число обычных вольнонаемных могут давать при той же самой почти технике этого проклятого золота много больше, чем те несчастные рабы. Разве надо было быть великим государственным деятелем, великим экономистом, чтобы с самого начала это все понимать?.. Или зачем наш этот «великий» полководец, Георгий Жуков, положил, чтобы только взять Берлин непременно к празднику, непременно к 1 мая, тысяч эдак триста молодых, опытных, прекрасно обученных бойцов? Разве нельзя было подождать еще день-два? И что, для державы они были бы лишние, эти триста тысяч солдат, если мы уже тогда начинали готовиться к новой войне?.. А зачем Хрущев уничтожил то, на чем еще хоть как-то держалось наше сельское хозяйство — приусадебные участки? И тут же сразу — на поклон к Америке: продайте, Христа ради, нам зерно, а то чего доброго с голоду помрем. Он что был — сумасшедший, что так, со всего размаху, хватанул топором себе же по ногам?.. А чего подняли такой шум и крик против каких-то там художников-модернистов? Какой политической или этой их «идейной» стабильности они были угроза? Ведь посмешище на весь мир! Нам что, нечем было больше заняться, чтобы премьеру великой державы каких-то там лохматых живописцев самому, как курей, по Манежу гонять?

О, Господи... И так во всем, и так везде. Куда ни глянь — идиотизм, один идиотизм! Как будто Господь их, большевиков, не только разума лишил, но даже и примитивнейшего инстинкта самосохранения. Ведь себя же губите, сукины дети! Не только державу и не только других... Но стоп! Стоп. Вот тут-то ты, Иван Николаич, и не прав. Никак не прав.

А не прав я, скажу тебе, потому, что эти все, казалось бы, безумные, прямо-таки запредельные по своей нелепости и неэффективности поступки были на самом деле в высшей степени логичными. Но по той другой, дьявольской логике — логике алогичности... Ах, если бы не старость, сын! Я бы, наверное, написал когда-нибудь целое философское исследование об этом трагическом феномене человеческой истории — о логике алогичности, о ее имманентных законах, о ее внутренней сцепленности и законченности во всем. Представляешь, какая бы это была книга? Что тебе там твой Аристотель! Всю жизнь мечтал написать такую книгу. Да, увы, поздно вот спохватился...

А в логике этой, сын, все, как в антимире — все наоборот. И критерий у нее один: чем хуже, тем лучше — тем прочнее, значит, скрепы во всей этой дьявольской конструк-

ции, тем, значит, дольше она будет жить. И то, что у нормальных людей умно, в этой логике — нет, не умно, а наоборот, глупо, что эффективно — нет, не эффективно, что выгодно — нет, не выгодно, что по всем нормальным человеческим устремлениям должно быть — нет, этого-то как раз и не должно быть, и ни при каких обстоятельствах этого-то как раз и не должно допустить...

О, как же они все верят в нее, в эту алогичную свою логику! Причем, заметь, глубоко законспирированную логику — логику банды заговорщиков, якобы знающих некую тайну, скрытую от других... И когда, сын, ты видишь на губах у какого-нибудь начальственного рыла эту кривую, снисходительную, доводившую, помню, меня до бешенства усмешку: дескать, что вы все там понимаете, вы, мелюзга, улица, мы-то знаем, что знаем, — не сомневайся, это и есть она, логика алогичности. А сама эта усмешка и есть то, что, как масонский знак, отличает их всех, этих заговорщиков, от других, более или менее нормальных людей.

Но должен тебе сказать, сын: чует мое сердце — рано они все усвоили эту снисходительную усмешку. Рано! Как говорится, еще не вечер. И те почти шестьдесят лет, что прошли с тех пор, как они впервые начали так усмехаться — это, как понимаешь, для истории всего лишь миг, пустяк... Да, сейчас все это кажется прочно и незыблемо, на века. Но не нужно забывать, что все это построено на песке, что все это выросло вопреки естественным нуждам и устремлениям человека. И я далеко не уверен, что им уже удалось до такой степени изуродовать людей, что можно больше не тревожиться за свое будущее и за будущее всей этой их дьявольской конструкции.

Конечно, никому не дано знать, что будет, скажем, через двадцать или пятьдесят лет. И мне, естественно, не дано. Но, честно тебе скажу, я бы не удивился, если бы когда-нибудь вся эта конструкция рухнула. И рухнула бы, может даже, сама собой, под собственной тяжестью — даже без всякого толчка извне...

Мне, сын, часто, особенно почему-то в последнее время, вспоминается один разговор, который был у меня лет эдак двадцать назад. Разговор, естественно, за столом, за стаканом вина, в каком-то, помнится, крохотном молдавском городишке, вернее, местечке, неподалеку от Бендер — в местной чайной, с одним интеллигентом районного, так сказать, масштаба: не то учителем, не то ветеринаром — я уже забыл.

Я, кстати, давно утверждал и продолжаю утверждать, что если и остались где в России подлинно глубокие мыслители, то только где-нибудь там, в провинции. Там воздух чище, и жизнь спокойнее, и думать легче — там нет этой всегдашней московской суеты... Невзрачный такой, помнится, был человек, видом совсем не выдающийся: лет эдак сорока или чуть больше, и очки у него на носу были круглые, в чешуйках, с мягкими заушниками, купленные, надо думать, еще до войны. Все, помню, хватал меня за рукав, все, наверное, боялся, что я, не дослушав его, уйду... А познакомились мы с ним накануне случайно, здесь, в этой же чайной: в ней неплохо кормили — отличные, помню, были митити! — а я уже эти вечные наши рожки да вермишель с тушёной, что давали из дня в день у нас в столовой в экспедиции, видеть, скажу тебе, не мог.

— Нет, Иван Николаич... Ты хоть и умный, а ты не прав, — малость захмелев уже, помню, убеждал он меня. — Не прав ты, самый главный инженер... Россия еще не спорила! Она еще никогда всерьез не спорила, поверь...

— То есть как это так — не спорила? Ты что же, это, друг ситный, плетешь? А в семнадцатом году — ты что, забыл? Это что же тебе было — не спор?

— Нет, Иван Николаич! Не спор... Это все было так — разминка... А вот когда она действительно заспорит... Вот когда чертям тошно станет, как она заспорит! Вот когда у всего мира глаза полезут на лоб...

— Ну? Ну, и что же тогда будет, по-твоему?

— Что? А то и будет — спор... Россия будет спорить!

— А другие?

— А другие смотреть... Смотреть на наш спор...

— Ну, а наспорившись всласть — что будем делать? Если, конечно, после твоего спора останется хоть кто-нибудь...

— Останется, не беспокойся! Нас, Иван Николаич, много. Нас бы еще не на один спорхватило... Но это будет последний спор. После него уж больше никаких споров не будет.

— А что будет?

— А будет наконец всеобщее замирение. Царство Божье наконец будет... Вот тогда-то Россия и покажет всему миру, зачем она есть...

Скажешь, сын, чушь, бред? Может быть, и так. Может быть, ты и прав: действительно чушь. Но почему-то, скажу тебе, у меня лично эта чушь никак не выходит из головы. И мужичонка этот в потертом, выгоревшем на солнце пиджач-

ке, в полосатой рубашке, застегнутой доверху, и в брезентовых сапогах, и в его этих добролюбовских очках на носу — и он тоже не выходит из головы...

Не знаю, сын! Вот уже и жизнь кончается, и слабею я, как ты и сам, наверное, видишь, уже не по дням, а по часам... И надо бы мне, кажется, сказать тебе чего-нибудь напоследок, что-нибудь этакое, основополагающее — да ничего, извини, нет в голове. Так только, муть какая-то, да обрывки каких-то давних встреч, да вот, кое-какие, да и то, допускаю, не слишком ясные, наблюдения мои по жизни...

Так что, сын, не обессудь. Не будет тебе от меня никаких основополагающих указаний. И, может, оно и к лучшему: чужой опыт, как известно, еще никогда никого и ничему не научил. Думаю, без меня-то ты, может, даже еще и лучше разберешься, как там тебе дальше жить. А не разберешься — тоже не беда! Тоже не грусти. Живи как живется: куда несет, туда и несет. Все равно ведь до более умного-то никогда и не додумался никто».

Однако, это было еще не все. После этого, как оказалось, в тетради была еще одна приписка. Но написанная уже не только что не педантичной, а почти совсем уж, видно, не державшей перо рукой.

«P.S. Сегодня, сын, какой-то голос внутри меня мне сказал, что я умру ровно через две недели, во вторник, двадцать второго декабря. Сказал отчетливо и недвусмысленно... Ну, что ты на это скажешь, а? Выходит, я дождался наконец его, своего знамения? И, значит, Он есть? И, значит, я не безразличен Ему? Ну, если так, то остальное все не имеет никакого значения... А для тебя, между прочим, думаю, это великолепная возможность проверить, на чем же она все-таки стоит — жизнь. Уж мне-то тебе незачем врать! Итак, запомнил? Во вторник, двадцать второго декабря...»

Но... Но, к сожалению, и это последнее, решающее доказательство тоже оказалось наперекор с большими допусками. С очень большими допусками: отец — он, Алексей, это точно помнил — умер не во вторник двадцать второго, а в четверг двадцать четвертого декабря. Правда, последние двое суток он был уже без сознания... А может... А может, и там, наверху, как и здесь, тоже не так-то уж склонны к абсолютной точности? То да се, да пятое, да десятое: какая действительно разница — сутки вперед, сутки назад? Разве за всем уследишь... Важно ведь не это! Важно одно — факт.

Часть третья

«И ВОЖДЕЛЕННОЕ ОТЕЧЕСТВО ПОДАЙ МНЕ, ГОСПОДИ...»

ГЛАВА XI

Все бы ничего! В конце концов даже и то, что и это, последнее его, как думалось, прибежище в жизни теперь, когда Тата вторглась и сюда, было нарушено — и на это тоже можно было бы не обращать особого внимания. А что, в самом деле — что изменилось? Да ничего, честно говоря, не изменилось. Ну, может быть, чуть только потускнело, не таким сильным стало это прежнее его ощущение, которое он так всегда ценил: вот, приехал, заперся, повесил пальто на гвоздь, скинул пиджак — и никому, ни единой душе тебя отсюда не достать. Пусть всего лишь на вечер, но ни за что не достать... Нет, все бы, конечно, ничего. Если бы... Если бы не эта игра, которую она, дочь, Ксюшка, придумала с некоторых пор.

А началось все, помнится, со вполне невинного вопроса, когда они сидели с ней как-то, обнявшись, на диване и листали очередную, только что принесенную им книжку с картинками.

— Пап, слушай, — вдруг, чуть отстраняясь от него, спросила она ни с того, ни с сего. — А почему тебе больше сюда никто не звонит? Раньше тебе, помнишь, много звонили...

— Много? Кто же много, Ксюшенька? Что-то я не припомню, чтобы много...

— Ну, как же, папа! Какие-то тети всегда звонили, начальник твой звонил. Дядя Артем, помнишь, звонил... Он еще со мной всегда долго разговаривал, до того, как тебя позвать. Смешной такой, помнишь? Все какую-нибудь чепуху у меня спрашивал... Дразнила такой! Он всегда меня дразнил. Говорил, что я, наверное, слишком много пряников ем. Оттого-то, говорил, у меня и каша всегда во рту...

— Дядя Артем, говоришь? Да, ты права. Дядя Артем, это верно, — бывало, звонил... А теперь вот, Ксюшенька, не звонит. Занят, наверное. Дела...

— И никто не звонит! Что, и у них у всех дела? Так?

— Так, Ксюшенька. Наверное, так... Ладно, брось ты об этом! Давай лучше дальше книжку глядеть. Смотри, какая большая! Нам с тобой так и до ночи не успеть...

А на другой день, когда он — как обычно, поближе уже к вечеру — опять приехал к ним, она, чуть не на пороге еще, звонким радостным своим голоском вдруг объявила ему:

— Папа! Знаешь, тебе сегодня звонили. Много звонили!

— Кто звонил, Ксюшенька?

— Дядя Артем звонил! И твой начальник звонил... И еще какая-то Аграфена Поликарповна звонила... И еще Ефим Львович. И Дмитрий Сергеич... И еще какой-то Моссовет, только не сказал, как его зовут. Много звонили, я всех не запомнила... Ты меня научи писать! Я такая беспамятная, папа. Я тогда всех записывать буду, кто звонил...

Ну, а потом, естественно, пошло... В каждый его приход она, Ксюшка, начинала теперь всегда с того, что самым обстоятельнейшим образом докладывала ему, кто сегодня звонил и что он, звонивший, от него хотел. Бог ты мой! Кого тут только не было... И какая-то Матильда Францевна звонила... И Лев Николаевич Толстой... И Александр Николаич, и Эдуард Амвросиевич. И господин Геншер, и господин Бейкер... И Тугарин Змей-Горыныч, из Лукоморья. По междугородней звонил... И даже, было и такое, дед Мазай однажды откуда-то звонил, посоветоваться хотел, что ему дальше с зайцами делать... И каждый раз обязательно был Артем Айрапетян. Этот был самый настойчивый! Этот звонил каждый день. И каждый раз очень, ну, просто очень сожалел, что опять его не застал...

Нет, зря, наверное, он так. Самым трудным в этом новом его состоянии было все-таки, наверное, не это. К этому-то с трудом, конечно, но можно было все же привыкнуть... Самым трудным было иное. Совсем иное. Деньги! А точнее постоянная нехватка, а то и полное отсутствие их.

Конечно, преувеличивать тоже не стоило: кое-какие поступления у него все-таки были, правда, в основном еще от прежних, куда как более удачливых для него времен. Пошли, наконец, два его сценария для документального кино — один про Чернобыль, другой про высыхающий Арал. В каком-то сборнике вновь перепечатали его большую, когда-то сильно нашумевшую статью про мелиорацию. Что-то еще и родная газета оказалась ему должна, и по мелочам деньги и оттуда продолжали поступать еще довольно долго — месяца два, а то и три. Но все это, даже вместе взятое, при нынешней-то инфляции были, по совести говоря, такие жалкие копейки, что их еле-еле хватало, чтобы как-то поддержать Светлану с Ксюшкой, а на себя — не говоря уже про Тату и про дом — не оставалось уже, по существу, что ничего.

О том же, что лежало у него на сберкнижке, и думать было смешно! Когда-то это действительно были вроде бы деньги, а теперь... На собственные похороны — и то, наверное, теперь уже не хватит, при том, во что он превратился, нынешний-то рубль... Ну, были, конечно, еще и книги из его библиотеки. Но, во-первых, каждую из них он нес в букинистический, что называется, обливаясь слезами, а во-вторых, что за них, за книги-то, теперь давали? Так, ерунду. Никому теперь было не до книг... Ну, был еще в доме видеомагнитофон, привезенный года два назад из Германии, еще хотел, помнится, его тогда Костыке, сыну, подарить. Тоже смешно — нашел кому дарить... Но эту-то штуку он как раз первым делом и снес в комиссионный, как только уволился из газеты. Месяца на полтора-два ему его хватило, еще и Ксюшке шубку и теплые сапожки на зиму удалось на него купить...

Так что, в общем, худо-бедно, но как-то он еще перебивался, если бы... Если бы не стакан. Но стакан — ах, каким же дорогим он теперь стал, стакан... А без него он теперь уже, как ни крути, не мог. А может, не так: не то что бы не мог, а скорее, скажем так, не хотел... Ах, да какая в самом деле разница! Не мог, не хотел. Не в парткоме ведь ты, и не у врача, и не у попа на исповеди — не мог, не хотел... Одним словом, стакан: тот самый всероссийский, граненый, а еще лучше — тонкий стакан, без которого он, Алексей, теперь уже и не засыпал никогда, а, случалось, что и не начинал свой очередной, неизвестно кому и зачем нужный, день. Долгий, тягучий, нудный, как застарелая зубная боль, день...

Нет-нет! Конечно, он не только вздыхал-переживал, не только на лавочках сидел. Он работал! По крайней мере, первые-то месяца два-три... И даже поначалу так азартно работал, что почти целую книгу написал! Ну, если не книгу, то, во всяком уж случае, полновесную статью — листов эдак на пять-на шесть Эссе. Эссе обо всем — о том, как он, Алексей Мамонов, проживший на земле уже ни много ни мало — пятьдесят шесть с лишним лет, понимал жизнь.

И название этому эссе, как казалось ему, удалось подобрать удачное. Убийственное, надо сказать, название. «Чума на оба ваших дома!» — вот какое у этого эссе было название. Конечно, кто-то непременно скажет: Шекспир, дескать, не он, не Мамонов. Ну, так и что же, что Шекспир, что не он? Но уж душу-то он в этой своей последней работе, что называется, отвел! До конца отвел. Все вывернул, все выплеснул из себя, что годами и десятилетиями копилось где-то там, в голове и в сердце, с тех самых пор, как он всерьез стал помнить себя. А особенно в последнее время, когда жизнь так стремительно покатила под откос... Писал как писалось! Писал, как хотел, не оглядываясь ни на кого. И про политику писал, и про нашу давнюю и недавнюю историю, и про мораль, и про нравы, и про духовную жизнь людей... Жестко писал! Жестоко, не щадя никого — ни прежних, ни нынешних, ни даже тех, кто, затаившись где-то там, еще только ждет, когда наступит и их черед.

Кто погубил страну? Кого за это винить? — спрашивал он, Алексей Мамонов, бывший народный депутат, бывший демократ, бывший известный чуть не всей России публицист. — А всех и винить — и тех, прежних, и этих, нынешних. Старое все было, конечно, дерьмо. Кто же спорит! Но и новое, как оказалось, на самом деле не лучше, а, может быть, еще и хуже того, что было... И не какие-то там непреодолимые, от Бога идущие причины тому виной, что с нами со всеми сегодня происходит! А сами люди. Сначала дремучая дурость и безграмотность одних, потом такая же дурость, только еще помноженная на алчность других. Обрадовались, видишь ли! Бросились все вдруг тащить, хапать, грабить все, что плохо лежит. То-то раздолье! И всюду князьки, беи, мурзы, гетманы, полевые командиры, председатели, президенты, паханы... Тьфу, пропасть! А в результате развал, кровь, сумасшествие... Куда же вы-то все смотрите, люди добрые? Вы-то что молчите? Неужели вы не видите, что опять шпана правит-помыкает вами, новая шпана, а вы

все, как бараны, за козлом-provокатором, толпой — и под топор?

А и вы... Вы-то все куда это вдруг попрятались, подевались — вы, интеллигенция, совесть нации, ее мозги, ее душа? Вас-то почему нигде не слышно? А если и слышно где кого, так лучше бы уж и не слышать: как будто кругом одни «голубые», да психопаты припадочные, да визгливые дуры — феминистки, а нормальных-то людей как будто уж и не осталось нигде никого. Ни в газетах, ни в литературе, ни в музыке, ни в кино... Можете сколько угодно распинаться, можете сколько угодно клясться — нет, не о жизни, не о людях они думают. Нет! Убейте меня, но вся эта ихняя нынешняя дребедень — это все от убожества, от нестерпимого этого желания завопить, завывать изо всех своих жалких силенок: вот он я! Да вот он же я — заметьте, заметьте меня!.. О чем пишут? Мать честная, ведь это же ужас просто, о чем пишут! И как пишут... Одни какие-то уроды кругом! Сплошное кривлянье, жеманство, косноязычие... Да мат-перемат, да порнуха, да вонь от сгнивших, не стиранных никогда носков...

Так, что, Алексей Мамонов, дерзай! Может, хоть тебя послушают... А что? А может, и послушают. Почему же не послушают? Писал-то нормальный человек! И, что особенно важно, писал с почтением к тому, для кого пишет. Принимая в нем равного себе и стараясь не докучать ему всякой чепухой, о которой порядочным-то людям вроде бы и говорить друг с другом не пристало, не то что на бумаге писать... Нет, положи руку на сердце, неплохо это у него получилось. Очень даже неплохо. Без ложной скромности — это можно продавать. Более того — это нужно продавать!

Ну, а кому продавать? Куда нести? Где это теперь, по нынешним-то временам, возьмут? Да что тут долго думать, куда... Куда ж еще это и нести, как не туда, где главным уже двадцать лет сидит стариннейший, самый, можно сказать, близкий его друг — приятель Сергей Бушмарин, в журнал «Рассвет» — куда ж еще? Старинный журнал, почтенный... Многовато, правда, получилось — пять листов! Ну, так и что ж, что многовато? Захотят — и в двух номерах напечатают. Было бы желание... А материал, что ни говори, добротный получился! Первоклассный материал. Нет, был бы он, Алексей Мамонов, сам главным — напечатал бы это все сразу, не раздумывая. Как говорится, прямо с колес...

— Сергей, я тут одну вещь довольно серьезную написал. Возьмешь? — позвонил он ему, как только решил, что все, шабаш, надо остановиться — хватит больше править и пере-

дельвать, до идеала же все равно не доведешь, недостижим он никогда, этот идеал...

— Много?

— Много. Листов пять. Даже несколько больше.

— Н-да, многовато, пожалуй... А про что, Алеха? Опять про многострадальный российский чернозем? Или про Братскую ГЭС?

— Нет, не про чернозем. И не про Братскую ГЭС. Про жизнь.

— Про что — про что?

— Про жизнь, говорю. Про тебя и про меня.

— Ну?! Смотри ты... Ну, давай, неси. Посмотрим, что получилось... Неси, понятно, прямо ко мне. Ты у нас, Алексей Иваныч, человек великий! Тебе с нашим редакционным бабьем даже вроде как и не к лицу связываться... Так, что давай, неси завтра. Жду! Если, паче чаяния, меня почему-либо не будет, оставь секретарю. Она передаст...

Ах, сколько же всякого разного связывало их с ним, с Сергеем, по жизни! И чего только ни пережили они вместе, через что только ни прошли... Как сели сорок лет назад рядом на одной скамье, в аудитории, в последнем ряду — еще там, на углу Герцена и Моховой — так, кажется, и не расставались больше никогда. И ни он, ни Сергей так вроде бы с тех пор не сохранили больше никого в жизни, кроме как друг друга. И облысели они вместе, и выпили вместе не одну цистерну, и на свадьбе друг у друга гуляли, и Костьку, и его, Сережкиных двух девчонок тайком вместе крестили, и про жизнь толковали, бывало, ночи напролет, понимая друг друга с полуслова, а иной раз, казалось, что и вовсе без слов... И никогда, ни разу не поссорились, и никогда между ними не было этого: кто ведущий, кто ведомый, кто первый, кто второй... И деньги, когда трудно было, давали друг другу взаймы, не спрашивая, когда отдашь, и стариков своих друг другу помогли похоронить, и жены их в общем-то всегда неплохо относились и к ним обоим, и одна к другой...

Правда, в последнее время они порядочно уже не виделись... Кажется, чуть ли не с самого его, Алексея, дня рождения — тогда еще, летом, в аккурат накануне публикации этого самого манифеста, будь он неладен... По телефону, конечно, разговаривали, и не раз, а так все как-то не получалось: то одно, то другое, то болеет кто, то он, Алексей, где-то там прячется, с собаками его не сыскать, то Сергей опять куда-то либо в провинцию, либо за рубеж надолго уехал... В общем, вот и осень уже, считай, прошла, и октябрь почти уж

на исходе... А были времена — и недели, да что там недели, и дня друг без друга прожить не могли! Что ж, все естественно, все, как оно, наверное, и должно быть в жизни. Чем ближе к концу, тем меньше вокруг тебя людей, даже самых близких тебе людей... В гробу-то, Алексей Иваныч, как известно, и вовсе один будешь лежать. Так что, не надо — брось, не огорчайся. Привыкай...

Надо отдать Сергею должное: продержал он рукопись всего неделю, не больше, и сам же и позвонил ему, и сам же и назначил встречу на следующий же день. Да и встретил он его у себя в кабинете так, как будто они расстались только вчера: сам стянул с него пальто, усадил в кресло, сразу коньяку налил, сигареты какие-то чужие, заковыристые достал. И все время, пока они говорили, его, Алексея, ладонь своей рукой к столу мягко так прижимал, придавливал: дескать, ты не волнуйся, ты меня пойми, ты же не можешь меня не понять... Но плохо все получилось! Ах, плохо... Так плохо, как он, Алексей, признаться, и не ожидал...

Сергей, надо сказать, мало изменился за то время, что они не виделись... Такой же плотный, белокурый красавец трех аршин ростом, с остатками кудрей на голове, с той же добродушной, слегка снисходительной улыбкой на лице, что так притягивала к нему всех — и друзей, и женщин, и детей, и начальство, которое, как правило, души в нем не чаяло, где бы он ни служил...

— Алексей Иваныч, друг ты мой единственный. Что хочешь со мной делай, как хочешь обо мне думай... Но не могу я это напечатать! Понимаешь? Не могу...

— Не можешь?.. Что ж, не можешь — значит, не можешь. Тебе виднее... А почему? А почему, Серега, не можешь, позволь тебя все-таки спросить?

— А потому не могу, что мне журнал надо спасти, Алеша. Понимаешь? Спасать!.. Ты же знаешь, теперь все журналы на ладан дышат. И наш в том числе. Погибаем, Алеша! Если бы тебе рассказать, как мы спасаемся, как еще умудряемся держаться наплаву — ты бы за голову схватился... Мы уж и так, и сяк, и эдак! А все равно, как ни бьемся — вот-вот рухнем... Представляешь? Еще год назад тираж был больше миллиона, а в эту подписку со всеми следами едва шестьдесят тысяч наскребли... И это еще хорошо! У других и этого нет...

— Хорошо. Понимаю. Надо спасти... А раз так, чего ж ты тогда все всякую шпану печатаешь? И чего ж тогда меня так сходу — раз, и зарубил?

— Шпану? Ну, нет, Алеша. Не то ты говоришь. Обидно говоришь... Я шпану не печатаю. Я новую литературу печатаю...

— Новую? Это какую такую новую, Серега? Где ты ее нашел, эту новую литературу? И чем, интересно знать, это твое новое дерьмо отличается от старого дерьма?

— Алексей Иваныч, дорогой мой... Вы, батюшка, можете себе браниться и плевать, сколько вашей душе угодно. Вы, так сказать, в своем праве... А новая литература, уверяю тебя, Алексей, существует! И будет существовать, вопреки и твоим, и чьим бы то там ни было проклятьям... Может быть даже, и моим тоже... Рынок, Алеха! Рынок. Ты же сам за него шумел... Не желает народ больше ни про журавлей на болоте, ни про астры в цвету, ни про ночное безмолвие на площадях читать... И про политику не желает! И политикой он уже сыт по горло. Устали люди... А ты вон, видишь, что закатил! Опять истерика, опять на себе рубаху рвешь... Да и не поймешь тебя! Ты за кого? За белых или за красных? А нам этого нельзя. Так мы и последних подписчиков растеряем...

— Постой, постой... Постой, Серега... Ты мне одно скажи: это хорошая литература, что я тебе принес?

— Эта? Хорошая. Безусловно, хорошая.

— Ну? Ну, так какого хрена? Так чего же ты тогда?

— Опять двадцать пять! Да чего ж ты так озлился-то по жизни, а, Алексей? Вроде бы когда-то терпимый был человек... Повторяю: спасаться надо! Понимаешь? Спасаться! Рынок, я тебе говорю. Устали люди, надоело все прежнее. На другое теперь спрос... А ты все про свое... Слушай, а где ты это, кстати, такой галстук откопал? У тебя что, других нет? И узел завязал, будто на Политбюро тебе докладывать... Давай я тебе другой подарю, а? Что ж ты так раньше-то времени — в старики...

— Погоди. Отстань ты с этими глупостями... А может, Сергей... Может, не я... Может, и читать-то вас всех бросили потому, что вы одно дерьмо печатаете? Пусть и новое дерьмо? Не лезет в людей это ваше кривлянье... Они же люди! Нормальные люди. Им жить надо... А вы им все — «земля голубая, как апельсин...»

— Чего-чего? Какой апельсин, Алексей? Ты это про что? Никак заговариваться начинаешь, старик?

— Про то, про что слышал... Земля, говорю. Голубая, как апельсин... Ладно, Сергей, поговорили! Я пойду. Мне пора.

— Постой, Алексей! Какой еще апельсин? Что ты плетешь?

— Что? Что слышал, то и плету... Исчезли, брат, золотые апельсины! Одни только голубые и остались... Ладно, Сергей Серафимыч! Мне пора. Бывай. Домашним твоим поклон... И успеха тебе!

...А странно все-таки устроен человек. Мудрено он все-таки устроен! Никогда его до конца не поймешь. Даже самого себя.

После такого-то, казалось бы, афронта должен был бы он, Алексей Мамонов, впасть по логике вещей в еще большую тоску... А он вот, хотите верьте, хотите нет — наоборот. Не тоску, не обиду почувствовал, а даже что-то вроде облегчения: а, да пес с вами со всеми! Ну, и ладно, ну, и пусть... Подумаешь — в который раз уже в Герцены и Чернышевские не пустили! И получается, что ближайший же друг и не пустил... Нет, не это важно, что не пустили. А важно то, что все, шабаш — кончилось, никаких иллюзий ни по жизни, ни в отношении к себе у него теперь больше нет и не может быть. И, наверное, так даже и лучше, так даже и легче — без иллюзий. И это только кажется, что это парадокс! А на самом деле, если вдуматься — так оно и есть... И не ходить же теперь по другим журнальным дверям с протянутой рукой. Тут-то хоть свой — можно сказать, почти что родственник. Но и тот, видишь, отказал! А там, за другими-то дверями, еще и похуже волки сидят. Им-то на тебя и вовсе наплевать... Так что сиди, Алексей Иванович, не рыпайся. Будем считать, что кончилось твое время: собирай потихонечку свои манатки, грехи, свои, какие знаешь за собой, отмаливай, вспоминай то, что еще можешь вспомнить... Но не рыпайся ты больше никуда! Все это пустое теперь.

Одно, однако, плохо — деньги... Все те же деньги, будь они прокляты! Вот и здесь сорвалось, и здесь не получилось. А, честно говоря, была надежда... Э-эх, размечтался! Дескать, напечатают, заплатят, а там, глядишь, и книжечку издадут, да еще и переведут ее где-нибудь. И еще деньги будут, и еще какое-то время протянем так, на вольных-то хлебах, не завися ни от кого... А там, может, и опять жизнь изменится, и люди опять нормальными станут, и опять будут не одну чепуху, а что-нибудь и стоящее читать. И опять на него, на Алексея Мамонова, будет спрос... А там уж, смотришь, и пенсия, и достойная старость: сиди себе в кресле, читай газеты, вороши свою жизнь, пиши, если, конечно, мозги к тому

времени и вовсе не усохнут. Пиши, про что хочешь, а про что не хочешь — не пиши...

Нет, Алексей Иванович! И это обман. А, вернее, самообман. Ведь если по-честному, то никогда теперь, ни при каком раскладе не сидеть тебе, похоже, так, подремывая, в кресле. До самой до твоей, что называется, гробовой доски... Ксюшке-то сколько? Пять? Ну, вот. А тебе пятьдесят шесть. А это значит, минимум до семидесяти, а то и дольше, тебе, по идее, надо бы проскрипеть. И не просто проскрипеть, а еще и вкалывать за милую душу, изо всех твоих еще оставшихся сил. Именно изо всех! Себе-то, конечно, на стакан ты всегда заработаешь, спустя рукава заработаешь: не вечно же это твое теперешнее коматозное состояние будет продолжаться... Но Ксюшку прокормить, Ксюшку вырастить? Нет, брат, шалишь — тут пустяками не отделаешься. Тут надо вкалывать без всяких глупостей. С утра до вечера по Москве, выпучив глаза, гонять, чтоб какую копейку где заработать. А тебя уже и сейчас с места не сдвинешь... А что будет, когда тебе перевалит за шестьдесят? Как это-то ты себе представляешь, а?

Как, как... А никак! Никак не представляю... И что это, в самом деле, за манера — вечно все печали мира на себя взваливать? Что ж получается: уж и состариться, уж и помереть человеку по-людски нельзя? В конце концов у нее, у Ксюшки, ведь и мать есть. Мало ли их, что ли, у нас матерей-одиночек? Да полно! Другие же как-то вон выкручиваются, с голоду не пропадают. А она что — хуже других? Не такая уж она, Светлана, и беспомощная, чтобы, в случае чего, себя одну с дочерью не прокормить... Да и молода еще. И собою недурна, и неглупая, и характер у нее отнюдь не худший. Нет, не худший характер! Такая одна не останется, такая себе еще кого-нибудь найдет. Непременно найдет... А может, и ждать долго не придется, может, и скоро найдет. При тебе еще найдет... Любит, говорит? Что ж, пока, видно, и правда, любит. Но кто ж в таких делах может за что ручаться? Сегодня любит, завтра нет... И адыю, Алексей Иванович! И до свиданья, и будь здоров. Сиди там у себя в кресле, рассыпайся, разваливайся себе помаленьку, жди, пока она, курносая, с косою за тобой придет. А нас уж извини! Нам с Ксюшкой надо и дальше жить...

Нет, похоже, что придется ему, Алексею Мамонову, все-таки, как ни брыкайся, опять в конце концов поступать куда-нибудь на службу. Долго так, на вольных-то хлебах, ему, похоже, все-таки не протянуть. Без какого-то

«фикса», видно, все равно не обойдешься, никак не обойдешься... Но куда поступать? Куда? Ах, если бы он хоть что-то еще умел делать, кроме как писать... Хоть бы примусы умел чинить, что ли! Ну, не примусы, так утюги. А еще бы лучше в часах умел копаться... Что же, в самом деле, опять что ли, возвращаться в тот подвал на Ското-прогонной? Там-то слава Богу, ничего не надо знать, кроме канцелярских ножниц. Вырезай, знай, статейки из газет да стучи себе ладонью по скоросшивателю, пока кровавый мозоль не набьешь...

Но... Но неистошима жизнь на выдумки! И никогда человеку не угадать, что его ждет за ближайшим же углом.

Уже давно, лет двадцать назад, поселился у них в подъезде, на третьем этаже, какой-то мастеровитый человек, который первое, что сделал, въехав в новую квартиру — застеклил свой балкон. Шикарно это, надо сказать, получилось у него! И снаружи было теперь приятно смотреть на эти гладкие, всегда чисто вымытые стекла вместо ржавых прутьев прежней балконной решетки, и внутри он сразу, понятно, увеличил свою квартиру чуть ли не на целую комнату... Кстати говоря, потом и другие многие жильцы последовали его примеру... А жена его вскоре герань на этом балконе развела: белую, красную, веселую! «Смотри ты, будто, как в Швейцарии», — думал он, Алексей, всякий раз, когда взгляд его цеплялся на этот отовсюду теперь приметный балкон на третьем этаже. И цвела та герань пышным цветом с весны до самой до глубокой осени, и никакой холод, похоже, ей не был страшен: видно, этот умелец исхитрился свой балкон еще каким-то образом и утеплить.

Обычно их машины, его и этого мастерового, стояли рядом, тут же у подъезда — у обоих не было гаража — и они, естественно, довольно скоро стали обмениваться приветствиями. Ну, а потом раз что-то не заладилось с его, Алексея, машиной, а мастеровой как раз оказался рядом, ну, и как водится, помог, другой раз не заладилось, а он, на счастье, опять был тут же, что-то там копошился в двух шагах от него под капотом своего «Москвича» — в общем, познакомились и поближе. А потом уж и на «ты» перешли, и всякой автомелочью иной раз обменивались друг с другом, и калякали, бывало, довольно подолгу о том о сем, особенно если некуда было спешить. Благо, и возраста они были примерно одинакового — правда, мастеровой все-таки года на три постарше — и чиниться друг перед другом им было вроде бы не в чем...

Мастерового, кстати говоря, тоже звали Алексеем: Алексей Прокофьевич, сменный мастер на том самом оборонном заводе, что, бывает, так гулко, будто из преисподней, ревет по ночам у Лужников. А до этого — инструктор ДОСААФ, а до этого шофер-дальнобойщик, а до этого военный летчик, комиссованный по болезни в тридцать лет, а еще до этого крестьянский сын из какой-то подмосковной деревеньки... Словом, человек понимающий, как она устроена, жизнь, и что в ней, жизни, почем. Жилистый, сутулый, с лицом, будто вырубленным топором из цельного куска сухого дерева, с быстрым, цепким взглядом из-под мохнатых, «брежневских» бровей. Ну, и конечно, к вечеру непременно уже «под мухой», причем под хорошей «мухой»... А как же иначе? Иначе и не бывает. Иначе у нас, видно — сокрушайся, не сокрушайся — и нельзя.

Но в тот промозглый ноябрьский вечер, когда он, Алексей, запрятав голову в поднятый воротник пальто и сунув руки без перчаток поглубже в карманы, возвращался откуда-то домой, он даже было вздрогнул от неожиданности, когда этот мастеровой, уже у самого подъезда, окликнул его по имени. По совести говоря, он даже успел вроде как и забыть о его существовании, и не сразу даже узнал его: как-то так получилось, что они в последнее время не сталкивались нигде друг с другом уже, Бог знает, сколько дней.

— Почтение наше, Алексей Иванович! Что-то давненько тебя не видать... Может, болел? И во дворе тебя не видно, и в телевизор больше никогда не показываешься... А машину-то что, уже на прикол поставил? Не рано ли? И снега-то настоящего, считай, еще не было. А ты, смотри, уже и ездить перестал...

— Да так вот все как-то, сосед... Нет, я не болею... Понимаешь, так вот получается, что и ездить мне теперь вроде как и не куда. С работы я ушел. А так — чего ж бензин зря жечь? Сам знаешь, почем он теперь...

— Ну, смотри... А то дождешься так — угонят. Теперь, знаешь, сколько их по Москве каждый день угоняют? Страсть, что творится... А твоя теперь вроде как бесхозная. Никто за ней, получается, и не смотрит... Соблазн, Алексей Иванович! Искушаешь зря народ. А машина еще почти что новая. Сколько она у тебя пробегала? Года три, не больше?

— Три, Прокофьевич. Ты должен помнить. Ты мне еще тогда сам помогал секретку к ней приделать...

— Ну, вот, я и говорю — три. Совсем еще молоденькая... А что, тезка... Никак озяб, а? Головка-то у тебя совсем вон,

смотри, стала босенькая. А ты все без шапки да без шапки. Как молодой... Знаешь что? Пошли, брат, ко мне, а? Окажи уважение. По-соседски... Сейчас бы и мне, и тебе по стакану в самый бы раз. А у меня есть. И закусить что найдется... Может, зайдешь, а, сосед? Ты ведь у меня, по-моему, так ни разу и не был. А мы с тобой в одном подъезде уж как-никак два десятка лет живем...

А неплохо, очень даже неплохо жил он, этот сменный мастер... И не только на балконе у него была благодать. И в комнатах хорошо — чистота: воощенные полы, половички, коврики, скатерочки, салфеточки, сервант с хрусталем, телевизор с большим экраном на подставке в углу, два зачехленных мягких кресла перед ним... Только вот запах в квартире был какой-то странноватый. Знакомый чем-то запах, но чем знакомый — сразу вроде и не разберешь...

И хозяйка его оказалась уютная. Приветливая хозяйка! Сразу захлопотала, засуетилась вокруг них, достала им обоим тапочки, проводила их в кухню, смахнула тряпкой и без того уже чистую клеенку на столе, пододвинула им поближе табуретки... Алексей вспомнил, что и ее он тоже, конечно, не раз встречал и в подъезде, и во дворе, и здоровался с ней, только вот как-то все никак не увязывал их с мужем в одно.

— А есть у меня, Алексей Иваныч, самый правильный по нынешним временам напиток, — сказал хозяин, усаживаясь напротив него: мгновенно, словно по волшебству, на столе появились квашеная капуста, соленые огурцы, здоровенный шмат розового сала с прожилками, хлеб... — Собственно-ручного изготовления напиток, Алексей Иваныч. Тройной очистки, проверенный и перепроверенный. Крепость пятьдесят пять градусов, другой и не признаем... Ты как предпочитаешь? Как есть, в натуральном виде, со слезой? Или на брусничке? Можно и на клюковке, и на лимоне, если пожелаешь... Ты не сомневайся! Аппарат у меня титановый, материал — чистый сахар, очистка, как в аптеке. Никаких последствий, ручаюсь головой... Утром маленькую примешь — и айда на работу. И опять, как огурец...

— Ну, раз ручаешься... Тогда уж, сосед, лучше со слезой... А где производишь, Прокофьич? Здесь? Или на даче?

— Здесь, Алексей Иваныч. Здесь и произвожу... На даче у меня, само собой, запас. В сарае, в яме, под всякой рухлядью. Чтобы, значит, когда придут потрошить, не сразу и нашли. А там теперь тоже шалят, скажу тебе! Еще и похуже, чем здесь... Да и не шибко-то сейчас поездишь туда. Там те-

перь все раскисло, развезло. Сядешь — никакому трактору тебя потом не вытащить. От нас ведь без малого три километра до шоссе, который год обещают асфальт проложить. Ну вот, который год и ждем... Ну, сосед, по первой? Будь здоров, не болей, домашних своих береги...

— Аминь!.. Ах, хороша, Алексей Прокофьич! Ах, хороша... Ты, Алексей Прокофьич, прямо-таки чудотворец... Соколом пошла...

— Что, понравилась? Лучше казенной? И не говори — конечно, лучше. Какое может быть сравнение... Когда что своими руками да с душой сделаешь — разве какой казенный продукт может сравниться? Тем более сейчас... Ты заметил, как она нынче испортилась, монопольная-то? Да и то — смотря где купишь. А если где с рук или в ларьке — и вовсе может оказаться одна вода из-под крана... Ох, хитры стали, стервецы! Ох, хитры... И когда ж это кончится, Алексей Иванович, а? Когда ж порядок-то наконец будет? Ты ведь там где-то все наверху вращаешься, ты же должен знать...

— Нигде я уже, Алексей Прокофьич, не вращаюсь. Зря ты это... Хватит, навращался. Там теперь другой народ заворачивает... А насчет порядка... Что тебе сказать? Видать, при нашей с тобой жизни, сосед, порядка уже не будет, не дождешься. А дальше... А дальше кто его знает, как там дальше будет? Может, детям нашим повезет, может, они там найдут что-нибудь такое, чтоб порядок был... А может, и не детям. Может, внукам...

— Н-да... Внукам, говоришь? Долго ж, Алексей Иванович, предлагаешь ждать... Значит, что же... Значит, и вправду спасайся кто как может? А на власть и не надейся — дохлая она теперь, власть, сама на ногах не стоит? А? Так, что ли, по-твоему выходит, сосед?

— Так, сосед... Выходит, что так. И рад бы чем тебя, Алексей Прокофьич, утешить, да нечем. Ниоткуда просвета не видать... Погибает Россия! Одна надежда — не в первый раз ей погибать... Было! Погибала уже. Погибала, да не погибла. Может, и на этот раз обойдется, может, пронесет...

— Ага! Ну вот, видишь — и по второй есть за что выпить... Как ты говоришь? Аминь?

— Аминь.

— Поехали, Алексей Иванович! Будь здоров, тезка... А! И правда, хороша... Слушай, сосед. А сам-то ты как? Сам-то ты как спасаешься в такие-то времена?

— Я?

— Ну, да — ты.

— А никак... Никак, Алексей Прокофьич, не спасаюсь... Хожу вот, думаю, смотрю по сторонам...

— Ну? Ну, и что высмотрел?

— Да ничего! Ничего не высмотрел. По крайней мере, ничего такого, чего бы я и раньше не знал.

— А зарабатываешь чем?

— Пока ничем. Пока на старом живу. А там... А там, наверное, опять куда-нибудь служить пойду. Пока меня еще вроде бы не забыли. Кое-какие возможности еще есть...

— А машину не собираешься продавать?

— Машину?.. А что? Ты прав. Наверное, и ее продам... Но, думаю, не сейчас. Весной. Сейчас-то пока еще кое-какие деньги есть...

— Давай, слушай, еще по одной, а? А потом у меня к тебе одно предложение есть. Только ты выслушай. Сразу не отворачивай...

— Давай! Давай еще по одной... Ах ты, черт! Кх-е, кх-е, кх-е... Не в то горло, проклятая, пошла! Ну, и свирепый же у тебя продукт, Прокофьич. С ним, видать, поосторожней надо, чуть было не задохнулся совсем... Ну? Ну, так какое же у тебя предложение? Тебе, что ли, машину продать? А зачем она тебе? У тебя ж своя есть.

— Нет, не продать. У меня, тетка, и денег теперь таких нет, чтобы у тебя ее купить... Плакали мои денежки! Как и твои... А предложение мое вот какое. Слушай сюда. Только по-честному, мы же свои люди. Двадцать лет друг друга знаем... Тебе, по нынешней твоей жизни, сколько примерно на день надо? Полкило? Или больше? Только не говори, что не надо. Я же вижу, что надо. Не слепой...

— Ты что имеешь в виду, Прокофьич? Уточни. Что-то я тебя плохо понимаю...

— Ну, напиток. Продукт этот самый. Наш, православный... Сколько ты его за день потребляешь? Бутылку? Две?

— А... Когда как, Прокофьич! Раз на раз не приходится... Но в среднем в день бутылка, пожалуй, теперь, думаю, нужна... А что?

— Ну, так вот... Мое предложение такое. Слушай... Я тебе не сказал, я тоже месяц назад на пенсию ушел. А вернее, по-честному — меня ушли. Завод-то теперь по неделям стоит! Никому больше наши игрушки не нужны. Нет заказов... А что такое сейчас пенсия — ты же знаешь, не мне тебе говорить. Того и гляди ноги протянешь. А силы у меня еще есть, я еще и подработать могу... Вот я тебе и предлагаю: ты мне даешь доверенность на твою машину. Ну, скажем, на эту

зиму — ты ведь все равно не едешь. А я тебе в ответ обещаюсь каждый день бутылку моего продукта обеспечить...

— Одну?

— Считаешь, мало? Ну, давай тогда две. Только смотри по себе, не многовато ли будет... И учти, Алексей Иванович: никаких забот — где купить, на что купить... А я на твоей колымаге извозом буду помаленьку подрабатывать... Но ты не думай — я тебе, когда срок придет, еще и в лучшем виде ее обратно сдам. Ты же знаешь, я в этих делах человек надежный. Я машину, как вот, пять пальцев своих, знаю. Я...

— Поймай, поймай, Прокофьевич... А со своей ты что будешь делать? Продашь?

— Нет. Свою я уже зятю отдал. Ему она сейчас позарез нужна, он в бизнес подался. Ему с утра до вечера мотаться надо... А денег поначалу тоже кот наплакал. Жди, пока-то он еще свою осилит...

— А не боишься?

— Чего?

— А не боишься извозом заниматься? Не боишься, что тебе в первый же день таксисты скаты продырявят? Или рэкетеры где прихватят?

— Боюсь, конечно... Но я же с опаской буду! Я же не дурной... Ни к вокзалам, ни в аэропорт куда я, конечно, не поеду, не стану там стоять. Там-то у них как раз все схвачено... А так, потихонечку, по улицам, если кто проголосует — кому я мешаю? Вон их сколько, жаждущих, на каждом углу стоят, руки тянут... Да и я, тетка, не беспомощный. Уж чем-чем, а монтировкой-то, считай, с малолетства владею. И зять у меня полтора Ивана: уж если поймает кого — душу вытрясет... Нет, Алексей Иванович. Нужда, как говорится, заставит калачи есть... Ну? Ну, соглашайся же, сосед! Что нам, пролетариям, терять, кроме своих цепей?

А что? А неплохая, надо сказать, получилась сделка... Вовремя он, сосед, вывернулся! Как тот черт из бутылки... И уж одну-то заботу он у него, у Алексея, и правда, таким манером сразу снял. Теперь уж действительно голова не болела: где купить, как добыть, что еще такое из дома продать, чтобы и перед собой, и перед Татой совестно не было, чтобы она не смотрела на него с такой жалостью, от которой только еще больше хотелось сбежать, куда глаза глядят — и провались ты оно все... А машина... Что ж машина? Не все ли равно ей так, без дела, во дворе под снегом ржаветь или бегать по улицам, крутить колеса? Да еще в умелых-то, пони-

мающих руках... Это ж не то, что он, шляпа: пробки в доме — и то никогда не мог толком починить. Всегда в конце концов приходилось монтера вызывать, если, конечно, Тата, осердясь на всех, сама за это дело не бралась...

На что же они уходили теперь, его дни? Что он делал, чем был занят, где скитался? А Бог его знает, на что и где... Вроде бы читал чего-то, чем-то был занят, куда-то ходил... Но если что и читал, то, закрыв страницу, тут же, как говорится, не сходя с места, не мог уже и вспомнить, о чем только что читал. И если и был чем-то занят, то тоже, вероятно, такой чепухой, что даже и не оставалось никакого ощущения, что занятие это имело хоть какой-то смысл или цель: так, еще один час, еще один день, еще одна неделя просыпались, как песок сквозь пальцы, а чем этот час или день, или неделя отличались от иных таких же, как и они — убей, не скажешь, и не только что другим, а даже и самому себе.

А если и ходил куда, то и от этого тоже почти не оставалось следа. Вроде бы, помнится, брел где-то по улице, вроде бы, тоже помнится, на лавочке сидел, а потом встал — холодно стало — и дальше побрел. Вроде бы и на Преображенскую ездил, с дочкой, кажется, играл, со Светланой о чем-то говорили, кажется, даже и любовь была... Но было ли это все на самом деле? Или только приснилось ему? Может, и было. А может, и приснилось — разве теперь разберешь... А вот что продрог он вчера до костей, голова озябла, и про шапку, и про перчатки наконец вспомнил — это да, помнится, было. Помнится, подумалось: мороз! Пора бы уж и шапку, и перчатки надеть — как-никак, на дворе-то уже декабрь. Так ведь и помереть недолго — от менингита или еще там от чего...

А главное было, конечно, ожидание вечера... Ну, утром, естественно, свои полстакана примешь, чтобы починиться, чтобы мозги просветлели. И дрожь в руках — тоже проблема, тоже надо ее унять: иначе они, руки-то, совсем слушаться перестают. Не то что перо в пальцах не удержишь, а газета, и та ходуном ходит перед глазами... Ну, днем еще примешь полстакана — фляжка-то в заднем кармане на что? А то иначе и до вечера не дотянуть: в сон клонит не к месту и не ко времени, и в голове совсем уж туман, и ноги не идут. Хлопнешься так-то где-нибудь посередине улицы — и ваших нет. А что? Не молоденький уже... А так глотнул — и порядок! И можно и дальше идти, и дальше жить...

Нет, но главное было, конечно, вечер... Тата, храни ее Господь, усядется там у себя у телевизора, или белье гладить

начнет, или на швейной машинке примется строчить, а ты пристроишься в блаженном одиночестве на кухне, поставишь перед собой стакан, поставишь бутылку с этим самым продуктом... Притушишь свет, закуришь сигаретку... Красота! И валяй, сиди, думай всласть, рассуждай про что хочешь, сам с собой... Только, конечно, не забудь предварительно телефон выдернуть из розетки. А то как ни забыли они там все его, а все-таки нет-нет, да и найдется кто-нибудь за вечер, кто так, от нечего делать просто и позвонит.

Между прочим, не такая уж он в самом деле и безобидная вещь, этот самый телефон. От него тоже можно всякого ожидать. Хорошо, если просто кто позвонит поболтать о том о сем: как, дескать, живешь, куда пропал, как тебе это все нравится, все эти нынешние-то дела... А может, быть и такой звонок, что после него и обычной твоей дневной дозы не хватит: придется в завтрашний запас залезать, а то и к Прокофьичу за подкреплением на третий этаж спускаться. Так, мол, и так, сосед: обстоятельства изменились, ты уж уважь, выдай мне вперед, что по уговору-то там полагается...

Таким, кстати говоря, и получился однажды звонок от бывшего его шефа. Вернее, не сам звонок, а то, что потом последовало за ним.

— Алексей? Ты? Привет, дорогой! Это я — Анатолий Андреич, отставной козы барабанщик... Узнаешь? Не забыл меня еще? — пророкотал как-то вечером в телефонную трубку знакомый бас. Порядочно же он, бывший его шеф, не давал о себе знать! Чуть ли не с того самого дня, когда они в последний раз выпивали вместе у него в кабинете. Как раз накануне публикации этого самого манифеста, что так круто изменил потом им обоим жизнь...

— Конечно, узнаю! Как же не узнать? Помирать буду, а уж тебя-то, Анатолий Андреич, всегда узнаю. Считаю, жизнь вместе прошла...

— Ну вот! Помирать буду, жизнь прошла... Ты что это там, в самом деле? Говорили мне, что ты совсем расквасился. Да я как-то все не верил: если уж ты, думал, сдох, так чего ж тогда от других-то ждать? Нет, Алеша, ты это брось! Мы еще с тобой поживем, мы еще повоюем...

— Ну, положим, шеф. Я-то... Я-то, похоже, что отвоёвался... А ты где сейчас шумишь, где воюешь? Ты-то сейчас где?

— Я? Не поверишь, Алеша, — в архиве! Представляешь, елки-палки? В архиве сижу, дела тут разные разбираю... Но, скажу тебе — интереснейшие дела! Уникальные дела...

— В архиве? В каком таком архиве, шеф?

— Да есть тут один! Встретимся — расскажу... Кстати, отчасти поэтому я тебе и звоню. Я-то помню, не знаю, помнишь ли ты... Помнишь, Алексей, как-то раз — черт его знает, сколько лет уж, наверное, назад! — ты мне высказал одно свое желание? Как ты тогда говорил — всей своей жизни желание? Помнишь, нет? Насчет того, чтобы хоть перед смертью, хоть одним глазком бы взглянуть на свое личное досье?

— Конкретно — нет, извини, не помню, шеф... Но вообще-то про такое свое желание, Анатолий Андреич, очень даже помню! И сегодня про него отнюдь еще не забыл.

— Ну, вот! А сейчас оно, это твое досье, лежит прямо передо мной. В папке с надписью: «хранить вечно». Вечно! Понимаешь, Алексей? Вечно — и все дела, и никаких гвоздей... Ну, так как? Есть еще желание его посмотреть? Коли еще есть — могу устроить. И не контрабандой — вполне легально могу устроить...

— Желание? Да ты что, шеф? Да какой может быть разговор? Вот уж, истинно, не думал — не гадал, что это будет когда-нибудь возможно...

— Возможно! Возможно, Алексей... Только чур, Алеша, предупреждаю: душераздирающее чтение. Если что — меня потом не вини. Настолько, я тебе скажу, душераздирающее, что свое досье я, например, и смотреть не стал. После того, как столько других через мои руки прошло... Ну его к ляду! Не хочу ничего про себя знать. Так возьмешь, считаешь — и, чего доброго, отца родного возненавидишь. А что? И это, скажу тебе, случается. И отцы на своих детей писали, и дети на отцов. А про жен — то я уж и не говорю...

Думал ли когда-нибудь он, Алексей Мамонов, что в это угрюмое, серое здание на Лубянке, вернее, в один из его боковых корпусов, он в первый раз в своей жизни вступит именно так — насвистывая и руки в карманы? То, что за жизнь не раз, бывало, об этом думал — это-то понятно: каждый в Москве, небось, об этом думал. Только, конечно, все это по-другому тогда представлялось: руки не в карманах, а за спину, и рядом двое, и уж, конечно же, ночью, а не днем... А оказалось — ничего страшного! По крайней мере, на взгляд ничего страшного. Ну, конечно, лейтенант при входе, конечно, пропуск, а так — что ж... Длинные ковровые дорожки в коридорах, белые шторы на окнах, дубовые двери кабинетов, люди иногда навстречу попадают... И

люди, между прочим, как люди: ничего в них особенного и нет...

А бывшего его шефа, оказывается, назначили в какую-то важную государственную комиссию по разбору и приемке части архивов этого некогда славного учреждения... Именно части! Всех-то архивов, сказал ему, усмехаясь, Анатолий Андреич, еще и внукам, и правнукам нашим хватит разбирать. О! Еще и им, надо думать, немало придется спорить — препираться, что открывать, а что не открывать, а что и вовсе под нож пустить...

— Садись здесь, Алексей! Располагайся, — указал он ему на свое кресло у стола. Кабинет, как, наверное, и полагается всякому архивному кабинету, весь был уставлен стеллажами с рядами толстых папок на них. И еще были два сейфа по обе стороны двери, окна же кабинета были за решечены и, судя по всему, выходили во двор. — Извини, дорогой, придется тебе здесь это все читать. Выносить отсюда, к сожалению, ничего нам с тобой нельзя. Права не имеем... Ты читай, а я тут пока в одно место смотаюсь. А если вдруг бросишь, если тошно станет — все равно дождись меня. Я скоро назад... Да, впрочем, без меня тебя отсюда и не выпустит никто...

Так вот как она, значит, выглядит, в канцелярском-то оформлении — его, Алексея Мамонова, жизнь! И именно в эту-то папку он и мечтал всегда заглянуть? Хоть бы украдкой, хоть бы мельком, да заглянуть — с тех пор, как он начал в жизни хоть что-то понимать? Непостижимо! Кто бы мог подумать еще год-два назад... И если бы только не этот, как приговор, гриф: «хранить вечно» — и ничего необычного, ничего пугающего на первый-то взгляд в этой папке и нет. Обыкновенный, поистрепавшийся уже от времени скоросшиватель с тесемочками... Листы все пронумерованы... Начинается с обычных анкетных данных: родился, женился, туда поступил, оттуда ушел, туда перешел... Комсомольская характеристика, характеристика с первого места работы, все честь по чести: треугольник — дирекция, партком, местком...

Ну, а дальше... А дальше началось! И дай, Господи, что называется, силы... Бог ты мой! Вся жизнь! Вся жизнь под колпаком, вся жизнь, как на ладони. Начиная с первых же студенческих лет. Вся жизнь, как он и подозревал... Вот, пожалуйста — выписка из протокола курсового собрания на втором курсе: выговор ему и еще трем парням за драку в шашлычной на Герцена. Как же! Помню. Была такая шаш-

лычная — в подвале кинотеатра «Повторного фильма». Была! Жаль, что теперь ее уже нет. И драка действительно была... А это протокол о снятии того же самого выговора... Так. Сообщение о его, Алексея Мамонова, выступлении на комсомольском собрании с запросом: объясните, дескать, почему сняли маршала Жукова с поста министра обороны? Подпись неразборчива... Сообщение о его отказе сотрудничать с органами. Правильно — был такой разговор. Помнит он и этот разговор. Как раз перед распределением, на пятом курсе. Оперуполномоченный такой-то... Информация о какой-то вечеринке, тоже перед самым окончанием факультета: дескать, поносили власти и защищали вредную книгу Дудинцева «Не хлебом единым». Господи, ну кто теперь помнит «Не хлебом единым»? Это-то зачем хранить? Да еще «вечно»? А подпись чья? Хлыстун. Кто такой Хлыстун? Черт, и не вспомнишь теперь, кто... Бог ты мой! Смотри ты: свой же брат двоюродный, Славка Мамонов, мерзавец — и этот тут?! Он-то про что? Ну, конечно: антисоветские настроения, хвалил Кеннеди, осуждал Хрущева за «Карибский кризис». Хорошо, помер уже, скотина! А то, наверное, не удержался бы ты его по такому поводу не навестить... Нет, прав, конечно, Анатолий Андреич. Живодерня, подлинная живодерня! Не надо было и начинать... И это все только начало! А в конце... Ну-ка, прервемся на минутку, глянем, что там в конце... О, да тут уже целый роман! И чего тут только нет... Так. Контакты с иностранцами. Оперативные рапорты по результатам наружного наблюдения. Экстракты из перехватов телефонных разговоров. Копии писем с отчеркнутыми в них сомнительными местами... Сообщения о предвыборных встречах его с избирателями: кто присутствовал, что спрашивали, что ты ответил, куда потом поехал... Общая оценка его как начинающего приобретать определенную известность политика — политический портрет, так сказать. Личные качества как человека: вкусы, привычки, предпочтения, много ли курит, много ли пьет. Появление Светланы в его жизни, потом Ксюшки... А это что? Смотри-ка: поручительство! И еще одно поручительство! И в обоих — наш, дескать, человек, хороший человек, пусть едет, куда хочет, ручаемся, вреда не будет. А это, интересно знать, кто подписал? Ага... Анатолий Андреич! Ну, спасибо тебе, старик, еще раз за все... А другая подпись? Артем Айрапетян! Ох, хорошо. От сердца отлегло! Значит, не ошибся, значит, все-таки друг. А ведь, к стыду своему, бывало, и в его адрес копошились в душе кое-какие

подозрения. Уж больно он, Артем, всегда весело жил... И все-таки, братцы... И все-таки, дорогие мои: это ведь вас обоих просили за меня поручиться, не меня за вас. Тоже, небось, неспроста просили именно вас, не кого-нибудь еще. Ну, да это так, к слову: надо же, Алексей Иваныч, и меру знать. Нельзя же требовать от жизни невозможного... О! А это распоряжение о том, чтобы снять с него, с Мамонова, запрет на выезд за границу. И подпись: председатель Комитета Чебриков. Надо же! Председатель, никак не меньше... Распечатали, так сказать. Ах, мать вашу так! Не прошло и двадцати лет... Ну, а запечатал, интересно, кто? Давай-как полистаем, может, найдется, кто запечатал... Ну, как же! Вот она, копия того самого распоряжения. Андропов, председатель Комитета, 1968 год... Ну, скажу я вам, граждане... Трудились люди! Что называется, не покладая рук, в поте лица... Это кто ж он такой, Алексей Мамонов, в 1968-то году был? Подумаешь — репортер! Подумаешь, десяток-другой очерков написал. Невелика, прямо скажем, птица! А смотри ты — удостоился внимания самого председателя Комитета. А сколько ж их еще, таких Мамоновых, тогда было? Легион! И под каждым подпись самого председателя Комитета?! Ну, ребята, сами вы себе могилу вырыли. И нечего вам жаловаться на других. Удивительно не то, что все рухнуло, а то, что оно еще так долго держалось! Что паралич и полная закупорка сосудов наступили только сейчас, спустя семьдесят с лишним лет... То, что в былые времена решал просто околотошный — у вас, оказывается, нужна была подпись самого председателя Комитета. И запретить, и разрешить — его подпись! Как, бывало, отец покойный говорил? Таскать вам, ребятки, не перетаскать. Ну, вот и дотаскались... И доносы, доносы! Мать честная, сколько доносов... Если все их читать — и до ночи отсюда не уйдешь... И чаще всех других, между прочим, какой-то Хлыстун. Первая бумага с этой подписью — 1958 год, последняя — июль 1991 года. Это сколько же получается? Тридцать с лишним лет? А точнее — тридцать три года? Хлыстун и еще вот какой-то Семиока... Слушайте, да не знаю я никакого Хлыстуна! Вот вам крест — не знаю... И Семиоку вашего не знаю! Не встречал я никогда таких — я же все-таки пока еще как-никак в своем уме. Уверяю вас, граждане: не было их в моей жизни. Не было никакого Хлыстуна! Не было Семиоки! Клевета это все! Не верьте им. Они все врут! Я не знал и не знаю таких. Им не может быть ничего известно про меня! Этого всего не было, это все из пальца высо-

сано... Не было? Из пальца высосано, говоришь? А это, Алексей Иванович, что? Ваши, дорогой мой, весьма недвусмысленные сожаления, что вы только вдвоем с тем генералом и подписали эту докладную против ввода войск в Афганистан. Что вы больше никого к этому не привлекли... Было? Было! Сожалел, сокрушался, что все так по-кустарному получилось? Сожалел, сокрушался. Называл имена, кто еще, по-твоему, мог бы эту бумагу для веса подписать? Называл, не будем отпираться... Только причем тут этот Хлыстун? Где он был, этот ваш Хлыстун? Он что, под лавкой, что ли, у меня на кухне с включенным магнитофоном сидел? И это ведь не телефонное прослушивание. Это, так сказать, свидетельское показание. От первого лица... А это донесение? О твоей реакции на чехословацкие события, на 20-е августа 1968 года? Где он был, этот ваш Хлыстун, когда ты всех этих марзматикиков на чем свет костерил? У себя же на кухне и костерил... А он, Хлыстун, и пишет, что не где-нибудь, а у тебя на кухне. В присутствии тех, кому ты доверяешь. И, естественно, в его присутствии... А, может, он действительно присутствовал? А может... А может, это на самом деле не Хлыстун, это кто-нибудь еще? И он лишь называется так — Хлыстун, а в действительности-то у него другое имя? И это имя известно тебе, как твое собственное?.. Ну... Ну, конечно же! Шляпа, идиот... До старости дожил, а таких простых вещей не усвоил. У них же у всех псевдонимы! Или как это там называется — оперативные клички? И он вовсе не Хлыстун, а... А кто? Боже мой! Не может быть! Никогда этого не может быть... Не может? Значит, говоришь, не может? А кто еще, Алексей Иванович, позволь тебя спросить, мог вести репортажи с твоей кухни, начиная с 1958 года и, считай, по сегодняшний день? Ты знаешь еще кого-нибудь, кто бы просидел у тебя на кухне тридцать с лишним лет? Да ты не зажмуривайся, не зажмуривайся! Отвечай: знаешь еще кого-нибудь? Нет? Не знаешь?.. И тогда... И тогда, значит, это вы, господин Хлыстун-Бушмарин? Значит, это ты, Сереженька, друг мой сердешный, радость ты моя бесценная? Ты, наперсник юных дней моих, конфидент мой дорогой, единственная, можно сказать, опора в пустыне жизни? О, Господи... А Семиока? Кто такой Семиока? Судя по тому, о чем он пишет, без сомнения, какой-то мерзавец из твоей же редакции... Из редакции? Но кто? А черт... Да хрен с ним, с этим Семиокой! И так голова кругом идет. Потом! Потом на досуге как-нибудь займемся вычислениями, кто он такой — господин Се-

миока... О, живодерня! Нет, не могу, больше не могу. Сердце сейчас выпрыгнет... Где фляжка-то? С собой? Ага! Слава Богу, с собой... не могу! Не могу больше читать, граждане. Увольте! Будь проклят день и час, когда мне это все в голову взбрело... Как же — хоть одним глазком... Проклинаю! Сам кретин, сам напросился на это все...

Когда хозяин кабинета наконец вернулся, он, Алексей Мамонов, сидел, понурясь, за столом под зажженной лампой и, казалось, дремал. Толстая папка перед ним была закрыта и вновь аккуратно перевязана тесемочками, пепельница была полна окурков, а чуть поодаль от нее стояла пустая плоская фляжка с завинчивающейся крышкой — из тех, что где-то там, за границей, делают специально в расчете на задний карман брюк.

— Ну, как, Алеша? Жив? Выдержал экзекуцию?

— Как видишь, Анатолий Андрееч. Жив... Но экзекуции не выдержал. Ты был прав — не надо было это все читать...

— Ага, старик! И ты, значит, не годишься? И ты оказался слабоват для такого чтения?.. А я-то думал: приду, посидим, о жизни с тобой потолкуем. Может, и выпьем по маленькой, как в былые-то времена... Кстати, как — не желаешь? А то у меня в сейфе есть...

— Давай лучше отложим, шеф... Прости, плох я сейчас. И, правда, не гожусь... Ты на меня не сердись. Я лучше пойду. Я, когда очухаюсь, я тебе позвоню. Непременно позвоню... И в любом случае — спасибо тебе за все, Анатолий Андрееч... Ты, дорогой мой бывший шеф, хороший человек. Если какая сволочь будет где приставать, так и скажи: а Мамонов вон утверждает, что я хороший человек. А он, Мамонов, зря никогда не говорит... И на том свете так скажи, когда допрашивать станут! Они там тоже, боюсь, ни хрена не понимают, что к чему...

Как он добрался в тот вечер домой — он не помнил... Кажется, вроде бы на троллейбусе ехал от Трубной, а может, и нет... И вообще почти ничего больше не помнил про тот вечер. Вроде бы опять сидел на кухне, пил, пытался что-то Тате рассказывать, что-то ей объяснять. А она, конечно, как всегда, только плакала, успокаивала его, уговаривала идти спать, не пить, не сидеть так в одиночестве... Потом, почти уже ночью, вдруг ни с того, ни с сего сорвался с места и рванул на Преображенку: значит, чего-то еще соображал, раз добрался туда, раз в метро пустили. Денег-то на такси у него никак тогда не могло быть: последние недели две, это-то уж

он точно знал, в карманах у него опять была полная пустота...

А вот что на Преображенке было — тут уж совсем, что называется, как отшибло... Как пришел, что говорил, как Светлана его приняла, проснулась ли Ксюшка, нет ли — ничего в голове не осталось, сплошной провал до самого утра. А когда проснулся, их уже и не было никого: надо думать, Светлана Ксюшку в сад повела, а потом, наверное, по магазинам кинулась, ему же на завтрак там что-нибудь сообразить. Но дожидаться он ее не стал: натянул трясущимися руками брюки, напялил пиджак, хватанул из-под крана холоднойенькой водички — и побрел к себе, на другой конец города, пешком... Почему пешком? А потому, граждане, что, как на грех, даже и несчастной трешки на метро в кармане не оказалось. А шарить у нее, у Светланы, по тумбочкам как-то неловко было... Да и подумалось, что после вчерашнего-то пройтись по морозцу пешочком ему как раз будет в самый раз: голова уж больно была какая-то дурная, чугунная была голова. Видать, он вчера, с расстройства-то, все-таки основательно ее перегрузил...

Вот так вот, господин Хлыстун-Бушмарин! Вольно ж вам было тридцать с лишним лет бумажки разные писать... А ты теперь вот разбирайся, почему эти бумажки и зачем. И как же оно все могло так в жизни быть...

Но, похоже, что он, Алексей, явно переоценил свои возможности. До трех-то вокзалов он еще как-то добрел, как-то добрался — даже вроде бы и не очень заметил как. А там вдруг почувствовал: еще шаг, еще полшага — и все, и он тут же, на площади, и упадет. Сердце то колотилось, как бешеное, то совсем вдруг проваливалось куда-то вниз, совсем замирало, будто его и вовсе нет. И пот холодный по лбу из-под шапки ручьями, несмотря ни на какой мороз, и боль, и ломота во всех костях, и воздуха не хватает: лови, хватай его ртом, как рыба, а он только рот разинутый морозит, а вглубь, в душу-то, и не идет.

Пришлось на Казанский вокзал зайти, отогреться, отдышаться там на лавочке. И, видно, он действительно был плох: какая-то, явно из провинции, учительского вида старушенция с узлом, сидевшая напротив него на другой лавке, даже, было, спросила его, не надо ли чем помочь... Эх, старая! Да какая от тебя помощь... Тут одна только помощь и может быть: стакан. Да где ж его тут, на вокзале-то, найдешь — стакан? У людей же не станешь просить: помогите, дескать, граждане, бывшему вашему депутату, совсем без

водки помирает человек... А дома он есть — стакан. И до дома-то уж я дойду... Будьте уверены — дойду! Отсижусь вот только, отдышусь — и дойду... Если уж вы, господин Хлыстун-Бушмарин, тридцать лет меня добивали — не доби́ли, то уж такого-то удовольствия я вам не доставлю — как собака, здесь, на вокзале, помереть...

Между прочим, это было, наверное, впервые в жизни, когда он так вот, что называется, вглухую, не ночевал дома... Если, конечно, не говорить о всех этих его бесконечных мотаньях да скитаньях по Руси. Ну, с этим-то, с мотаньями его да скитаньями, похоже, что уже окончательно покончено. С этим-то он и вовсе, надо думать, завязал... «Это было, было и прошло. Все прошло и снегом замело...» Снегом? А каким, интересно бы знать, снегом? А таким, Алексей Иванович, как, наверное, и сейчас: снегом, что валит себе и валит сверху, пока ты бредешь, подняв воротник и нахлобучив на лоб шапку, от трех вокзалов через Орликов переулок, Мясницкую, через Волхонку и Пречистенку до своей родной этой Пироговки... Мягким, чистым, большими хлопьями снегом. Белым, как саван в гробу.

ГЛАВА XII

А получилось все в конечном итоге именно так, как он, Мамонов-младший, и надеялся, как он и предполагал: никаких маневров, тем более длительных маневров, не понадобилось. Все произошло привычно быстро, легко и просто — в тот же самый вечер, как он ей позвонил. А вернее, в ту же самую ночь.

Может быть, единственное, что пришлось ему придумать — это несколько первых, довольно-таки, признаться, бестолковых слов по телефону, когда он пригласил ее где-нибудь встретиться... Дурак, понес, было, какую-то ахинею о том, что им надо что-то такое там деловое вместе обсудить, что-то решить, а лучшего-де места в Москве для деловых дискуссий, чем ресторан «Кропоткинская, 36» он-де и не знает: или, может быть, она сама предпочитает какое-нибудь другое место, более знакомое ей? В ответ в трубке прозвучал лишь смешок — легкий, но с явно издевательской ноткой.

— Это вы меня, Константин Алексеевич, спрашиваете, какой я ресторан предпочитаю? Чего же тогда мелочиться? Спросили бы уж лучше, нет ли у меня желания слетать на вечерок в Монте-Карло... Как раз мне вчера новое вечернее

платье принесли, прямо от Пьера Кардена. Да и жемчуга мои залежались, давно, знаете, не надевала...

А, черт! Нет, действительно — с этим приглашением у вас, Константин Алексеевич, прямо скажем, поначалу не очень-то складно вышло. Сработал профессиональный, так сказать, рефлекс. А надо было хоть немного да пошевелить мозгами прежде, чем ляпнуть ей такое в трубку... Это то барышня, что ни говори, была все-таки несколько из других миров, чем привычный ваш этот, дорогой мой, контингент. Ничего удивительного, если такая и вовсе не была еще нигде, несмотря на двадцать пять своих, а то и больше, лет. Для нее эта «Кропоткинская, 36» и вправду, наверное, звучит ничем не ближе, чем Монте-Карло. Или какой-нибудь там «Сан-Тропец Сплендид» во все его пять сияющих звезд.

Э! Равиолли-рафаэлли... Чего уж там! Интеллигенция. Я девушка бедная, но зато честная... Небось, так и просидела всю молодость у окна за пальцами, в мечтаньях о своем Байроне. Под звуки лютни... Да и этот ее, нынешний... Вряд ли и этот ее прохвост из префектуры так уж часто ее куда приглашал. Знаем мы этих жлобов! Какую-нибудь паршивую настойку в карман сунет, шоколадку купит — и давай, вались, дорогая, поскорей в койку... Смерть не любят, мать их всех так, деньги ни на что тратить! Всегда и везде на халяву нороят...

И тем не менее, когда они уселись с ней за столиком в углу, в этом самом ресторане на Пречистинке, можно было бы подумать, что она, Ирина, здесь так и родилась — настолько естественно она вошла, настолько естественно, чуть щурясь, обвела, усаживаясь, глазами всю эту красоту: канделябры, тяжелые шторы, камин, маленьких голландцев на стенах, низенькие лампы на столах, чтобы в зале не было чересчур уж светло... А обедая, удовлетворенно кивнула головой: хорошо! — и, положив руки перед собой на скатерть, опять улыбнулась, но на этот раз уже прямо ему:

— Итак, Константин Алексеевич?

— Итак, Ирина Викторовна?

— Я так понимаю, Константин Алексеевич, что про дела — это все... как бы это поскладнее выразиться... Это все ерунда?

— Правильно понимаете вопрос, Ирина Викторовна. Чистейшая ерунда.

— А сейчас мы с вами будем пить хорошее вино и есть хорошую еду?

— Истинно, истинно, Ирина Викторовна! Только не просто хорошее вино, а очень хорошее вино. И не просто хорошую еду — потрясающе хорошую! Они здесь на этот счет мастера... И что особенно удивительно: еще не испохабились, как это у нас обычно заведено. Молодцы! Еще держат марку... Прошу также обратить внимание — никакой рвани в зале. Никого случайного, только приличные люди. Такие вот, как вы и я...

— Ну, это-то я сразу заметила! Еще в дверях... А когда мы немножко выпьем, вы мне скажете, что я вам очень нравлюсь, да? Еще с того первого раза, когда я к вам пришла?

— Скажу. Скажу, Ирина Викторовна, что вы мне очень нравитесь. С того самого раза, когда вы появились у меня в кабинете с этим вашим спутником...

— Который вас очень не нравится?

— Который мне очень не нравится. Более того. Скажу вам, милая барышня, друг мой Ирина Викторовна — гоните вы его в шею, этого прохвоста, пока не поздно. Омерзительный, между нами говоря, тип.

— А вместо него, мол, возьмите меня?

— А вместо него, вот именно, возьмите меня. Уверю вас, я хоть немного, но получше.

— А потом мы выйдем отсюда, и нас будет ждать ваш «кадиллак» с шофером?

— А потом мы действительно выйдем отсюда, и нас, вы правы, действительно будет ждать, только не «кадиллак», а «мерседес». Но тоже, конечно, с шофером.

— А в нем на заднем сиденье будут лежать цветы для меня?

— Они уже там лежат.

— А потом вы пригласите меня к себе, на холостяцкую квартиру, выпить кофе и еще чего-нибудь... чего-нибудь экзотического?

— А потом я приглашу вас к себе, на холостяцкую квартиру, и мы действительно выпьем хорошего, настоящего кофе. Который я приготовлю сам. Ибо в этом деле, уверю вас, я давно уже признанный специалист... И, надеюсь, мы действительно выпьем чего-нибудь, как вы говорите экзотического. Вы что, кстати, предпочитаете? «Куантро» или «Боллз», или, скажем, «Айриш-крим»?

— Константин Алексеевич... Сказала бы я вам, что я предпочитаю... Да, боюсь, испугаетесь! А вы мне, не буду скрывать, тоже очень симпатичны. С того самого первого

раза, как я пришла к вам... Я, Константин Алексеевич, не удивляйтесь, между прочим, и спирт умею пить! Если надо, конечно. А иногда, вы знаете, надо, иногда приходится пить... Со всякой, как вы выражаетесь, рванью: с мастеровщиной нашей, с экспедиторами, снабженцами, с кладовщиками... Вы думаете, Константин Алексеевич, я доктор? Господи, я сама уже забыла, что я доктор. Какой я доктор? Я теперь все что угодно, только не доктор. Доставала, плакальщица, побирушка, сестра-хозяйка, прачка, нянька, ассенизатор, плотник со стамеской и молотком... Я, Константин Алексеевич...

— Стоп! Стоп, Ирина Викторовна. Это единственный пункт, в котором я с вами, милая барышня, не согласен... Я не Константин Алексеевич. Я Костя.

— Ах, да, конечно... Я и забыла, что мы с вами уже сто лет знакомы. Только не забудьте, что и я тоже не Ирина Викторовна, а Ирина... И перестаньте меня звать «милой барышней»! Какая я барышня? Что вы, в самом деле — смеетесь, что ли?.. Вы, между прочим, не заметили, что я все время руки на столе держу, сжав пальцы в кулак? А почему? А потому, что стесняюсь их, пальцы, развернуть... Ну? Видите, какие ладошки? Убедились? Прелесть, а не ладошки... А вы мне все Пьер Карден да Пьер Карден...

— Понял! Все, Ирочка, понял. Больше не буду... А знаете, еще что? Еще хватит «вы»... Ты, Костя. Так будет лучше.

— «Ты»? Ну, конечно, «ты»... Только не сразу, а чуть попозже. Когда мы с вами выпьем вашего настоящего кофе... Хорошо? А то я так, сразу, не могу... Ну, вот. А теперь вы, Костя, расскажете мне, как вы живете. Какой вы удачливый, выдающийся, как вам везет, как у вас все получается. Как вас любят женщины и дети...

— И лошади.

— Как?! И лошади тоже любят? Надо же... Вот уж действительно везучий человек...

— Ну, как же, Ирина! Забыли, наверное... Это же классика. Трехединая формула: «женщины, лошади и дети». Одно без другого не бывает... Это что-то вроде как какой-нибудь закон в физике. Раз одно — так и другое. На этом мир стоит.

— А «Проминвест» — он тоже на этом стоит?

— Ну, «Проминвест» — это особая статья. Хотя... Как знать... Может быть, вы и правы. Может быть, и он тоже на этом стоит... Ну, ладно. С чего начнем? С «шампанского»? Или с чего-нибудь попроще? Скажем, с «божоле»?

... У нее была одна странная особенность, которая, надо сказать, поначалу ставила его в тупик, а иногда, признаться, даже и казалась, по правде говоря, унижительной... Да, она была, без всякого сомнения, здесь, с ним — в его руках, в его скомканной, взворошенной постели, или рядом вот тут, на сиденье в его машине, или же, касаясь плечом его плеча, в соседнем с ним кресле где-нибудь в гостях, в ресторане, в концерте или еще где-нибудь, где тоже было много света и много людей. Но одновременно она — он же видел, он чувствовал это! — была не здесь, не с ним, а где-то там, где его не было, а было что-то иное, к чему он не имел ни малейшего отношения: где-то там, куда его никто не звал, и где, может быть, в нем и вовсе не было никакой нужды.

Нет-нет! Это вовсе не означало, что она была какая-нибудь там замороженная-заторможенная... Наоборот! Уж тут-то никакого обмана быть не могло. Он это ощущал всем — ртом, языком, кончиками пальцев, он это знал по дрожащей, влажной коже ее живота и бедер, по ее дыханию, по изгибу ее поясницы, по тому, как она стискивала руками шею его и плечи, как прижималась всем телом к нему, переливаясь вся, без остатка, из себя в него. Нет, тут он, если бы что, сразу бы почувствовал, что это обман, что это не его... Опыта, правда, у барышни было, похоже, что маловато! Чего-то она вообще не знала, чего-то знала, но не умела... Но зато вдохновения — вдохновения было хоть отбавляй. И стеснения никакого не было, и никакое жеманство ей не было свойственно, и даже предохраняться ему — она и то не позволяла, чтобы только не портить ничего. Сама там загодя принимала какие-то меры... Нет, он никак не был безразличен ей! Она рвалась, именно рвалась всякий раз увидеться с ним, если была к тому хоть малейшая возможность. И все-таки каждый раз она была с ним и вместе с тем — не с ним.

В чем оно выражалось, это ее отсутствие? Да ни в чем. По крайней мере, ни в чем особенно конкретном... Ну, спросишь ее о чем-то, а она ответит не сразу, а чуть помедлив, как будто ей было нужно время, чтобы прийти в себя, проснуться на его голос. Но отвечала-то она всегда впопад! Значит, она слышала, слушала его, она все понимала, что он ей говорил — она только была в этот момент не здесь, не с ним, а где-то там, где его не было, и оттуда, издалека, и слушала его... Ну, бывало, замрет вдруг ни с того, ни с сего, голая, сидя на краю постели, уставится в одну точку. Но проведешь рукой по ее распущенным по спине волосам

или по прохладной, мягкой, как шелк, коже ее бедра — сразу очнется. Да мало очнется — сама же и засмеется, и повалится на него, и опять начнет его тормошить, целовать. И руки такие жадные, настойчивые! Как будто и не было ничего до этого, как будто они не виделись с ней неделю, а не только что отвалились друг от друга полчаса-час назад. А потом, когда все кончится — опять затихнет у него в руках. И все! И опять ушла, опять ее нет. А где она там — как ни спрашивай, так и не ответит ни за что, где.

— Куда уехал, воробышек? — спрашивал он ее иногда в такие минуты. — Опять в свои Хорошево-Мневники? А мы где — знаешь? Мы с тобой на проспекте Вернадского, у твоего друга Кости Мамонова. Забыла? Давай возвращайся назад. А то мне скучно без тебя.

— Нет, я с тобой, — встряхивала она в ответ головой. — Ты ошибаешься, Костя. Я все время с тобой. Если хочешь знать, я даже больше с тобой, чем ты со мной... Я про тебя целыми днями думаю. А тебе, я знаю, про меня думать некогда. Ты вкалываешь, деньги зарабатываешь... Костя, а вот скажи: когда ты все деньги, какие есть, заработаешь — ты про меня думать будешь? Ну, когда станешь, как это... мультимиллионер... Или найдешь тогда себе какую-нибудь самую главную манекенщицу? Прямо от Зайцева? В соболях и в кружевах?

— Манекенщицы — это уже было, воробышек! Это мы знаем, это мы проходили... А когда я... А когда я, как ты говоришь, заработаю все деньги, какие есть, мы с тобой тогда знаешь что? Мы с тобой получим визы, сядем в «Боинг» и махнем прямо на Багамские острова! Там, говорят, сплошной песок. И пальмы, и коралловые рифы... А я с детства мечтал самому, своими руками, отломить где-нибудь в море кусок коралла побольше и поставить у себя на столе. Не в магазине купить, а именно самому отломить... А тебе мы, знаешь, что? А тебе мы там купим ожерелье из акульих зубов. И сошьем тебе платье с голыми плечами... Представляешь, как ты будешь смотреться? С твоей-то грудью? Кожа смуглая, загорелая, а на ней акульи зубы светятся. Белые или с желтизной...

— А в волосах — орхидея?

— А в волосах орхидея. Сиреневая. Идет?

— Идет!

Первое-то время он, признаться, все думал, что причиной этого ее постоянного отсутствия был, скорее всего, тот прохвост из префектуры, с которым она, как выяснилось,

была вместе уже больше года. Что ж, год — это, что ни говори, срок! И не малый срок. На чем-то же продержалась барышня этот срок, чем-то он, этот прохвост, все-таки ее привлек... Чем-чем... А черт его знает, чем! Они, эта сволота, тоже ведь как-то умеют поначалу в душу ввинчиваться, умеют вокруг себя туману напустить. Как же! Чистенький, аккуратненький, слов никаких грубых не говорит, в скатерть не сморкается, из интеллигентной, небось, семьи... Небось, и стихи тоже читал! Блок там, Ахматова, Мандельштам... Пойди, разберись, что перед тобой просто-напросто мерзавец, уголовник! Вор с липкими руками да еще и со слюнявым ртом...

Но эти подозрения, надо сказать, продолжались недолго. Однажды — недели через три после той, первой их, как говорится, неформальной встречи — она сама, когда они опять были у него на Вернадского, сказала ему:

— Все, Костя... С префектурой покончено. Насовсем. Так что, дорогой мой, кончай меня ревновать! Никого у меня теперь, кроме тебя, больше нет.

— Покончено? Насовсем? Уверена в этом?

— Уверена, Костя... Мы вчера объяснились. Я сказала ему. Сказала, что у меня есть ты.

— Ну? А он что?

— Заплакал.

— Как?!

— Так. Так и заплакал. Как люди плачут.

— А потом?

— Потом? Потом спросил, кто ты.

— Спросил, значит, все-таки... Ну, а ты?

— А я сказала, что ты — это ты. Ты, Костя Мамонов.

— Да? Так прямо и сказала? А он?

— А он напрягся, потемнел весь... Стиснул зубы... Ну, это мы еще посмотрим, говорит, какой там такой Мамонов! Еще, голубушка, не вечер, еще и сама, будет день, обратно прибежишь... Я, наверное, плохо сделала, Костя, что сказала ему про тебя? Да?

— Да нет. Не плохо... даже, может быть, воробышек, и хорошо сделала, что сказала. Так хоть ясно, наконец, стало, где мы есть и кто есть кто...

— Это сильно повредит тебе в делах?

— Не думай, Ирина, об этом. Не надо. Это уж никак не твоя проблема... Конечно, и сомнений быть не может — попытается, сукин сын, чем-нибудь напакостить. Непременно попытается! Но, думаю, так — все больше по мелочам...

Мы, хорошая моя, с Фаридом этой-то гниде, слава Аллаху, уже не по зубам! Тем более что все они там в префектуре у нас на крючке. Давно на крючке... А тебе? А тебе, как думаешь, он может чем-нибудь навредить?

— Может.

— Чем?

— Ну, прежде всего... Как-нибудь — там... Как-нибудь с деньгами, конечно, интернат прижмет. Найдет, не сомневаюсь, способ... Или свет начнет вырубаться, или теплую воду начнут отключать. Или гуманитарную помощь мимо нас повезут... Много каких способов, Костя! Мы же нищие, беспомощные. Только на подаяние и живем...

— Это-то все дела! Это-то все ладно, воробышек. С этим мы как-нибудь справимся, уверяю тебя. Мы же тоже не пальцем тыканые... А тебе? Лично тебе — он опасен?

— Так я ж тебе и говорю — опасен... Какие такие дела, Костя? Я и есть эти все дела... Но ничего! Я его не боюсь. Я тоже про него знаю кое-что. Так ославлю, если что — век меня будет помнить...

— Ославишь? Как мужика? Или как, так сказать, официальное лицо?

— И то, и то, Костя... Поверь, я совсем не такая дура, какой иногда кажусь. У меня тоже коготки есть.

— Он ведь женат?

— Женат. И ребенок у него. Девочка, семь лет... Да нет, если ты по этой линии что думаешь — то зря. Там все в порядке! За то, что он домой каждый день таскает, она, жена его, и десять таких, как я, ему простит... Нет, у него другие уязвимые места есть. Да что тебе говорить! Ты их сам лучше знаешь, чем я...

— Знаю. А потому, воробышек, правильно: ничего не бойся... Не бэйся! Иди лучше ко мне...

Но и после, когда этот человек из префектуры перестал стоять то ли за ними, то ли, не поймешь, между ними, это ощущение постоянного ее отсутствия не только не прошло, а, как казалось ему, наоборот, даже еще и усилилось. Усилилось и само это ощущение, и его, Костино, недоумение, его желание понять: так где же она все-таки в конце концов? Куда она там каждый раз исчезает — исчезает, даже оставаясь у него в руках, лежа с ним голова к голове на одной подушке, касаясь его щекой, волосами, или даже вообще мышонком замерев, затихнув у него на плече?

Нет, она, несомненно, не была сумасшедшей. И, конечно же, не была какой-нибудь там баптисткой или кришнаиткой, или еще чем-то в этом же роде — никаких мантр, никаких молитв и бормотаний он от нее, по крайней мере, никогда не слышал... И никаких стихов она не писала! И синим чулком, свихнувшимся на всяких там высоких материях, она, безусловно, тоже не была. И на политику, и на судьбы российской демократии, он знал, ей было тоже в высшей степени наплевать... И все мелочи жизни, особенно если они касались его или ее, ей были не только что не безразличны, а, наоборот, можно было даже подумать, что только этим-то она на самом деле и жила...

Тогда, значит, что же? Не сумасшедшая, не философ в юбке, не активистка женского движения, не борец за чьи-нибудь там поправленные права, а во всем, кроме этих необъяснимых отсутствий, нормальная барышня, нормальный человек, как и все... Так, может быть, тогда дома было плохо, дома были сложности? Нет, вроде бы и этого тоже не было: жила вдвоем с матерью в двухкомнатной квартире, отец много лет, как от них ушел, мать, хотя и учительница в школе, но, судя по ее рассказам, человек вполне понимающий, в ее жизнь если и вмешивалась когда, то очень осторожно, ни в коем случае не давя на нее. И о ней она, Ирина, говорила всегда тепло, с заботой...

Может, нищета заела, мысли о куске хлеба замучили? Ну, заела, конечно. Но не больше же, чем других! Да и с появлением его, Кости, с нищетой-то тоже стало, надо думать, полегче. Конечно, никакого Креза он из себя разыгрывать не стал, не такой уж он фраер на самом-то деле, но кое-что все-таки удалось ее заставить от него принять, хотя, по правде говоря, и не без труда. Пару платьев хороших, полшубочек, благо дело уже двигалось к зиме, сапоги там, туфли хорошие, выходные, пуховый платок для матери... И с продуктами тоже иногда удавалось им помочь. Каждый раз, правда, со всякими там шутками да прибаутками: вот, дескать, хорошая моя — тоже, как видишь, взятки беру по черному. Это фирмачи мне за мою смышленность да податливость презентовали. Одну коробку я к себе отвез, а эту, вторую, ты уж не обижай меня, возьми, не пропадать же добру...

Нет, похоже, что объяснить и это все можно было все-таки лишь одним — все тем же делом, которым она была занята и которое так пугало его в ней, начиная с самого первого их знакомства... А согласитесь, Константин Алексеевич,

действительно не очень-то приятно было сознавать, что этот милый, столь близкий тебе человек, что сейчас вот, в эту самую минуту, лежит, пригревшись, у тебя в руках, на самом деле изо дня в день, с утра до вечера, занят где-то там, черт его знает, где, таким делом, о котором обычным-то людям без содроганья даже и подумать невозможно, не то что видеть это все своими глазами... Бр-р-р-р... С ума можно сойти! И как будто ты сам в этом во всем и виноват. А в чем ты виноват, по какой такой причине, по какой несообразности жизни — кто ответит тебе?

Нет, хорошо еще, что она и его, Костю, не втягивала во все эти дела. По крайней мере, напрямую не втягивала... Раз только или два всего лишь и попыталась пригласить его туда, в эти Хорошево-Мневники, в ее этот интернат. Один раз, он помнил, это приглашение вообще было сделано просто так, походя, как бы между прочим. И когда он отказался, сославшись на дела, на неподходящее настроение, она лишь кивнула понимающе головой, и больше у них никаких разговоров на этот предмет ни в тот день; ни долго после того не возникало. А в другой раз... А в другой раз, помнится, было все-таки несколько по-иному. В какой-то день, уже в начале зимы, она, оставшись, как это нередко теперь бывало, ночевать у него, проспала, а проспав, заторопилась и даже, чего она обычно не делала, попросила подбросить ее поскорей на его машине до интерната — кто-то нужный ее уже там ждал. А когда его «девятка» осадил у забора, у самой проходной приземистого кирпичного здания неистребимо казенного вида, спрятавшегося за каменным забором где-то в глубине жилых кварталов между Щукино и Серебряным Бором, она, держась уже за ручку дверцы машины и высунув одну ногу наружу, вдруг спросила, обернувшись к нему:

— Костя... Может... Может, зайдешь, а? Посмотришь, чем я тут живу?

— Не надо, Ирина. Не надо, хорошая моя — не зови... Не надо мне там появляться...

— Не надо? Почему?

— Не для меня это, ты же знаешь...

— И даже на что деньги твои идут, неинтересно посмотреть?

— Может, и интересно. Да только я знаю, не надо мне туда ходить... Я честно тебе скажу: я боюсь.

— Боишься? Ну, и зря боишься... Ладно, милый! Отложим. До лучших времен. Может, в другой раз когда себе-

решься... А бояться — чего ж бояться? Тут никто не кусается, тут все смирные... А когда ты мне теперь позвонишь? Завтра? Или опять до конца недели придется ждать?

— Завтра, воробышек! Завтра позвоню... До конца недели — это ж сколько ждать? До конца недели мне без тебя не дожить...

Помнится, расставшись тогда с ней и помахав ей вслед из окна машины рукой, он даже крикнул, даже покраснел задним числом от досады на себя. Ну, чего, в самом деле, испугался? Чего? Что там такого страшного, что ты даже заглянуть туда на минутку — и то не можешь пересилить себя? Тоже мне, хозяин жизни! Супермен, мать твою так... Кисель, размазня! Баба... Да нет — хуже бабы! Баба вон, видишь, пошла туда, как ни в чем не бывало. Только сумочкой вон помахивает... И будет там целый день с утра до вечера дерьмо за этим отродьем вывозить, и жаловаться никому не будет, а еще и песенки там всякие будет себе под нос мурлыкать, ночь, с тобою же вместе проведенную, вспоминать... Что, Константин Мамонов, это что — единственное уродство жизни, о котором ты знаешь? Да его на каждом углу невпроворот! Особенно в последнее-то время... Старухи несчастные всякие, калеки на костылях, старики в, Бог знает, какой рванине, со слезящими глазами, с трясущейся головой. Бабы прямо на полу в насквозь простывших подземных переходах, с грудными младенцами в коленях... И все руки тянут... Их-то ты не боишься? Нет, не боишься. Пятерку либо десятку в шапку бросил — и дальше пошел. И ничего! И настроение, между прочим от этого никогда особенно не портится: ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь...

Ну? Ну, так и что же ты тогда? А Бог его знает, что тогда. Не знаю, что тогда... Знаю только, что не могу я видеть этих уродцев — вот и все... Бр-р-р-р... Ужас просто! Особенно от болезни Дауна почему-то ужас. А там у нее не только дауны, там, она говорит, и похуже есть. Дауны — это что! С даунами просто. А вот когда совсем уж ни ручек, ни ножек у него, у этого существа, нет или когда даже головку ему — и то никогда уж в жизни не поднять, вот тогда действительно, она говорит, проблема... Но это для нее — всего лишь проблема! Рабочая проблема. А для тебя? А для тебя либо тут же изблюешься до посинения, увидев такое, либо вообще, не дай Бог, в обморок упадешь, как институтка. И возись потом с тобой, двухметровым верзилкой, откачивай потом тебя нашатырем... А вокруг народ, люди: кого это, дескать, Ирина Викто-

ровна, вы к нам привезли? Такой впечатлительный! А он, между прочим, кем, интересно знать, вам доводится, этот впечатлительный молодой человек?

И еще раза два-три он подвозил ее по утрам в эти ее Хорошево-Мневники. Но больше она уже не просила его зайти... Ни разу не просила...

А примерно месяц спустя у него в кабинете в офисе, по прямому его телефону, однажды вдруг раздался звонок. Он был в этот момент не один, у него как раз сидели их партнеры из Вологды, и поначалу он было даже и не хотел снимать трубку. Но звонок, как показалось ему, был какой-то особенный, вернее, особо настойчивый, тревожный звонок. И, извинившись перед сидевшими, он, наконец, все-таки поднял ее, трубку:

— Мамонов слушает...

— Костя, это я, Ирина! Прости, что так рано звоню... Ты один?

— Нет, не один... А что, что-нибудь очень срочное?

— Срочное, Костя! Мне очень надо тебя видеть. Как можно скорее видеть. Лучше всего прямо сейчас... Ты сегодня газеты читал?

— Нет, не читал. Ты же знаешь, я не очень их читаю... А что случилось?

— Случилось, Костя, то, что и должно было случиться: Эта гадина... Ну, этот, из префектуры... все-таки, как я и опасалась, показал зубы... И больно укусил, Костя! Так больно, что я прямо выть готова от боли. И от отчаяния... Я не знаю, что делать, Костя! Помогите мне! Умоляю, помогите...

— Хорошо. Договорились. Жду... Жду тебя ровно через час. Здесь. Успеешь?

— Конечно, успею! А меня к тебе пустят?

— Не беспокойся, пустят. Я скажу на вахте, чтоб пустили... Итак, через час? Значит, жду. Пока...

Ровно через час она уже сидела у него. Но такой он ее еще не видел: растерянной, растрепанной, с полубезумными глазами, с открытым, задыхающимся ртом. И она... И она даже не обратила никакого внимания на перемены в его кабинете! А на некоторые из них, между прочим, стоило бы обратить. Безусловно, стоило. Ну, хотя бы, например, на этот, еще один, авангард у него на стене, который он только на днях всего приобрел и который привлекал теперь внимание всех, кто бы к нему ни входил... Нет, она, войдя, даже и не посмотрела по сторонам: она просто плюхнулась, в изнеможении, в кресло и молча уставилась на него.

— Ну? Так что же случилось, воробышек? — прервал он, наконец, это, на его взгляд, слегка затянувшееся молчание. — Как, кстати, насчет кофе? И пожевать чего-нибудь, а?

— Кофе хочу. А пожевать — нет, спасибо, Костя. Не хочу. Не до этого... А случилось, Костя, то, что не сегодня-завтра я со всем своим интернатом попаду под следствие, а потом, возможно, и под суд. И сделал это все мой бывший драгоценный из префектуры. Мой покровитель, будь он проклят... Это он! Он, я знаю, натравил на нас журналистов, Костя. Поверь, больше некому, кроме него. Он один только знал все...

— Пстой, постой... Давай с самого начала, по порядку. Так я все равно ничего не пойму.

— По порядку? На, посмотри. Сегодняшний номер «Совроссии». Видишь заголовок? «Дожили, нечего сказать!» И дальше подзаголовок: «Торговля детьми. Рэкет в домах при-зрения...» Это про нас, Костя! Про нас... Про меня!

— Про вас? А что, Ирина, конкретно про вас? И что конкретно про тебя?

— Это долгая история, Костя... Понимаешь, есть у американцев такие чудачки, которые вполне сознательно, по своей воле усыновляют неполноценных детей. Причем, бывает, чем тяжелее ребенок, тем охотнее его берут. В семью берут, не в интернат, на всю жизнь... И не только в Америке. И в Европе тоже такие есть. В Германии, в Швеции, например... Тихо, без шума отыскивают таких детей и забирают к себе...

— Ты... Ты ничего не преувеличиваешь, воробышек? Правда такие есть? К себе, в семью, по собственной воле, на всю жизнь?

— Правда, Костя. Правда! Поверь мне... Я уже троих таких пристроила из нашего интерната. Самых маленьких. Один уже больше года как в Америке. А двое с полгода или около того...

— Ну? Ну, и какой же тут криминал?

— А такой, Костя, криминал, что по нашим законам, говорят, это запрещено... Понимаешь? Запрещено!

— Почему?

— Ты меня спрашиваешь — почему?! Откуда я знаю, почему? Ты что, забыл, где ты живешь? Ты сам-то что — все понимаешь, что у нас и почему?

— Нет, не понимаю. И более того: боюсь, никогда, наверное, и не пойму... Ну, хорошо. Это все лирика... А как так получилось, что ты их туда переправила?

— Получилось вот, Костя! Удалось. Между прочим, по наводке этой же гадины. Это он вывел их, тех американцев, на «Красный Крест», а через них — на нас... А оформили мы детей как якобы в поездку на лечение... да какое там лечение! Все трое безнадежны. Они такими уж и останутся на всю жизнь. Если, конечно, когда-нибудь в мире не придумают чего-нибудь такого... Ну, а как уж там эти американцы оформят их у себя — это уж их дело. Об этом они просили не беспокоиться...

— А вы их что, этих детей, действительно продали? Интернат за них что-нибудь получил?

— Да получили, конечно... Но только не деньгами. Медикаменты там разные, одеяла, кое-какую одежонку... Если это называется продали, то считай что так, что продали...

— А ты?

— Что я?

— Ты за это получила что-нибудь?

— Что я получила? Прости, я совсем, наверно, голову потеряла, не соображаю ничего... Что я должна была получить?

— Ну, не знаю, что.. В первую очередь я, конечно, про деньги. Про доллары...

— Костя, да ты что?! И это спрашиваешь ты? Ты — у меня?!

— Прости, воробышек... Я-то спрашиваю — это ладно. Это еще полбеды... Хотя, конечно, еще раз прости. Как говорится, за бестактность... Но вот когда действительно копать начнут... Ты что-нибудь подписывала сама? Какие-нибудь документы? Прежде всего, конечно, денежные документы?

— Нет. Все, Костя, было на честном слове... Хотя нет, вру! Подписывала, конечно. Ходатайства в инстанции о направлении этих детишек за границу, на лечение. За счет спонсоров... Подписывала как главный врач интерната...

— И это все?

— Все, Кося... Больше и не было никаких бумаг.

— И из-за этих-то твоих подопечных газеты и вцепились в тебя?

— Пока, Костя, не газеты. Пока только одна газета... Но это начало, Костя! Это только начало. Представляешь, что теперь начнется? «Родину продают! Детей наших продают!» А то, что эти самые дети здесь буквально с голоду подышуют, что под ними даже простыней иной раз нет, что на них всем вокруг наплевать...

— Ладно, моя хорошая. Ладно! Это все, воробышек, опять лирика... Это-то мы с тобой все знаем, что толку сейчас воздух зря сотрясать... Действовать, Ирина Викторовна, надо! Действовать, меры принимать, пока не поздно, пока это все не покатилося, как снежный ком... А ты действительно уверена, что это все он — твой прохвост из префектуры? Понимаешь, тут перво-наперво важно не ошибаться, важно знать, откуда ноги растут. А в зависимости от этого и меры искать соответствующие...

— Уверена, Костя! Уверена. Кроме него, никто эту всю историю от начала до конца не знал. Ну, еще и я сама, естественно, знала... «Красный Крест» ведь только познакомил нас с теми американцами. А потом посылки несколько раз нам от них пересылал. Но и «Красный Крест» тоже не знал, что детишек этих насовсем увезли... Это он, Костя! Больше некому. Я знаю — он.

— О-кей... Что ж, теперь вроде все пояснее стало... Знаешь что, воробышек? Нам с тобой сейчас очень нужен еще один человек. Подожди, дай-ка я позвоню... Фарид? Фарид, дорогой, зайди ко мне, если можешь... Сейчас? Да, прямо сейчас... Извини, но ты правда очень нужен... Хорошо. Жду...

Разумеется, ничего особенно долго Фариду растолковывать не пришлось — он, как говорится, врубился в ситуацию сразу, через пять минут. Почесал только лоб своим желтым от никотина пальцем, подумал и изрек:

— Скверное дело! Бесспорно, Ирина Викторовна, скверное. Но не безнадежное... Главное сейчас, конечно — не допустить разворота этой кампании. Или, если не удастся, то развернуть ее в нашу пользу. Понятно, со всем полагающимся в таких случаях шумом... Но это худший вариант. Лучше бы задушить это все в зародыше, сразу. Добиться крохотного опровержения, ссылаясь на имеющиеся уже у вас документы: детей, дескать, увезли на лечение, и отстаньте от нас, и все дела... А большая кампания — это вещь все же опасная! Обоюдострая вещь. Вопли возмущенных сограждан, потоки писем... В этом случае одни только неизбежные комиссии и всякие там проверки — одни они вас, Ирина Викторовна, до полного нервного истощения доведут...

— Хорошо, Фарид, — перебил его Мамонов-младший. — Это все понятно. Это все, скажем так, анализ... А синтез, а выводы какие? Что ты предлагаешь?

— А что я могу предложить, Костя? То же, наверное, что и ты. То же самое, что, уверен, и у тебя сейчас вертится в голове.

— А именно?

— А именно: надо заплатить. Надо заплатить, Костя, этому парню из «Савраски», чтоб больше не вякал, и дело с концом.

— Думаю, Фарид, он там не один.

— Ну, и другим тоже заплатить! И за опровержение в три строчки тоже придется заплатить... Конечно, это все будет стоить денег...

— Деньги, Фарид, найдем... А если он или они заартачатся?

— А и в этом случае тот же метод, Костя! Других на сегодняшний день и не существует. По крайней мере, я их, других, не вижу... Да и ты, уверен, ничего другого, шеф, не придумаешь. При всем моем глубоким уважении к тебе и к твоему уму... Но если, как ты говоришь, заартачатся, это, конечно, будет стоить больше. Тогда уж истинно кампания! Вернее, антикампания. Тогда уже придется других писателей нанимать. В пику этим... А это все, шеф, расходы, расходы...

— Фарид, давай не будем о деньгах, а? Дело это в своем роде семейное...

— Ого! Уже?

— Да нет! Я не так выразился. Вернее, ты меня не так понял... Просто я, лично я, очень заинтересован, чтобы не дать этому делу хода. По некоторым, так сказать, общим и частым соображениям... Одним словом, что касается денег, Фарид, предел — моя доля в операции «золотые рыбки». Как думаешь, хватит?

— Да ты что, Костя? Ошалел?! Ну знаешь... Хватил! Ты шеф... как бы тебе это сказать... Ты явно переоцениваешь рынок! Сильно переоцениваешь... Ты это брось, Костя! Так ты нам всю коммерцию подорвешь... Да за глаза — десятой, а то и сотой доли хватит от этого твоего предела! Ишь ты, размахнулся... «Ты не в Чикаго, моя дорогая...»

— Мальчишки... Господа предприниматели... Можно мне слова, а? — прервала из вдруг молча покусывавшая до того губы Ирина. — Конечно, я мало что понимаю в делах... Но мне кажется... Мне кажется, вы в этих ваших рассуждениях упускаете еще один момент. Может, даже решающий момент... А эта гадина из префектуры, от которого все пошло? С этим-то как? Боюсь, его деньгами не остановить...

— Думаешь, Ирина, не остановить?

— Нет, Костя! Не остановить... Он, конечно, очень жадный на деньги, это правда. Но тут, ты же понимаешь, совсем другие мотивы...

— Понимаю, дорогая! И не только понимаю — согласен с тобой... Что ж... А к нему... А к нему, к сожалению, придется, значит, тогда применить другую методику... Фарид, как думаешь, эти наши с тобой новые партнеры, что к нам недавно присоединились — они еще не дисквалифицировались?

— Ты что имеешь в виду, шеф? Их начальное ремесло?

— Ну, да. А что ж, по-твоему, еще?

— Да нет, это я так просто... Нет, уверен, не дисквалифицировались.

— Ну, а раз так... Раз деньгами этот вопрос, как говорится, нерешаем... Придется, значит, попросить их содействия. Не хотелось бы, конечно, но куда денешься? На войне как на войне... Фарид, но только чтоб не уродовали! Чтобы только пугали, но так, чтобы маму родную забыл. И никогда бы больше в такие дела, сволочь, не лез...

— Идет. Будет сделано, шеф.

— Мальчики, мальчики! Пойдите! Вы что задумали? Вы что, Костя...

— Ирина, а вот тут осади! Понимаешь? Осади... Ты думаешь, что — это все шутки? Что мы здесь шутки шутим? Раз уж попали в такой переплет... причем, извини, по твоей милости... значит, и полагайся тогда на нас! А эта сволочь другого языка не признает, ты же сама этого знаешь... Да ты же слышала! Я же сказал: не уродовать, не калечить, только пугать. Но пугать всерьез, без глупостей, чтобы дошло... Кстати, Фарид, ты-то все понял? Они там ничего не перепутают?

— Не перепутают, шеф! Не беспокойся. Ребята специалисты, дело свое знают... В крайнем случае — одно-два словечка, не больше...

— Ну, вот! А «Совраску» и этого шелкопера я беру на себя... А не получится — тогда и будем думать, что дальше делать. Вместе будем думать... Не бойсь, Ирина Викторовна! Не бойсь. Хрен нас просто так с тобой достанешь... Кстати, а где это там Регина-то с кофе запропастилась, а? Ты же ведь еще, помнится, обещалась кофе с нами вместе попить...

Фарид был прав: журналист стоил в общем-то недорого, хотя и затребовал сразу, сукин сын, в «зелененьких», а не в рублях. Побольше, но тоже не так уж дорого, стоила коротенькая заметка в газете, что конкретно в отношении данного интерната редакция ошиблась и приносит свои извинения. Но в целом проблема, дескать, поставлено верно, вопрос, что называется, созрел и перезрел, и мы, истинные пат-

риоты, не можем допустить, чтобы кто-то там, какие-то бесовестные, безответственные люди торговали нашим национальным достоянием — детьми! Пусть даже и неполноценными детьми.

Никакого дальнейшего продолжения эта история и в других газетах тоже не имела, по крайней мере, на данный момент. Новые партнеры «Проминвеста», как подтвердилось, действительно знали свое дело. И если и были у того прохвоста из префектуры какие черные замыслы на дальнейшее, то после встречи с ними, с партнерами, пришлось ему эти замыслы — может, и на время, конечно — но отложить. Фарид рассказал потом, что, по докладу исполнительской операции, прохвост вел себя жалко, сразу заскулил, заплакал, а когда его били, причем в его же собственном подъезде, не сопротивлялся, не кричал, не звал на помощь, а только лишь повторял, сжавшись в комок и пряча голову от ударов: «Не надо, не надо, парни... Это ошибка! Клянусь, это ошибка...» Но, приставленный потом к стене — все обошлось, кстати говоря, пустяками, никаких сломанных ребер не было, — проявил правильную реакцию и на вопрос, понял ли, за что его учат, ответил, что понял и делает все, что от него хотят.

Правда, несколько дней спустя из префектуры пришло распоряжение, что в связи с инфляцией аренда за помещение с «Проминвеста» повышается с нового года еще впятеро. Но это был, как ни крути, уже другой, отдельный вопрос, и требовал он от них с Фаридом иных, более привычных и уже достаточно обкатанных ими еще прежде действий. Да, в конце концов и это тоже было все, на самом-то деле, пустяки! В новом году они и так собирались выкупить у города свой особняк полностью, совсем, и вся необходимая подготовительная работа для этого была уже проделана. Так что и это тоже был только мелкий укус напоследок, и больше ничего...

— Слушай, воробышек, — спросил он, Костя, как-то у нее, когда все их тревоги и волнения по поводу столь неожиданно возникшей угрозы стали уже вроде бы затихать. — А может, ну его все к ляду, а? Бросила бы ты эти дела! Одно расстройство от них... Давай, слушай, найдем тебе чего-нибудь полегче? Правда, хочешь, я тебя куда-нибудь в другое место устрою? Ты же доктор... Ты всюду нужна...

— В другое? В какое другое, Костя? Не надо, брось ты, не занимай себе голову... Помнишь, что, говорят, было написано на воротах Освенцима?

— Нет. Не помню... А что?

— «Каждому свое». Ну вот, это, наверное, и про меня было написано... Не надо, дорогой мой, не хлопочи. Пусть уж оно лучше остается все, как есть...

Сказала — и опять исчезла куда-то. И опять он остался один! Пусть до нее можно было вот, дотянуться рукой, можно было сию же минуту вновь сгрести ее и притянуть к себе — и все-таки один.

ГЛАВА XIII

Как же, однако, долго, если смотреть на большие, старинные, еще с гирями, часы на стене, на их даже не часовую, а минутную стрелку, тянется оно, время... Перебираешь вязальным крючком, ждешь чего-то, пытаешься уследить, как это стрелка — длинная, узорная, с венчиком на конце — переползает от одного деления к другому, но как ни силишься, даже малейшего движения ее, и то не заметишь. И только когда раздастся в ушах этот хриплый, глуховатый звон, бьющий в доме через каждый час, понимаешь, что и еще шестьдесят минут твоей жизни ушли куда-то, неизвестно, куда, и ни одна из них уже не воротится назад, а сколько их, этих минут, если посчитать, еще осталось, Татонька, у тебя, в твоей жизни? Всего-то, надо думать, ничего. А ты все ждешь чего-то, ждешь... А чего?

В самом деле, чего ей, пенсионерке, считай, уже старухе, ждать от нее — от жизни? Ждать, что вот-вот явится домой муж? Что ж, ну, и явится: хорошо, если трезвый, а то уже и с порога пьяный. Явится и молча пройдет к себе или сядет у окна на кухне, и еще достанет из холодильника бутылку с этим сатанинским зельем, и еще нальет себе стакан, а потом и другой, а потом рухнет головой об стол, и захрипит, и застонет, а ты потом тащи его до дивана, и укладывай, и снимай с него ботинки — хотя бы их, потому что ни пиджак или свитер, ни даже брюки тебе с него уже не стянуть, сил не хватит, слишком он уже для тебя стал тяжел. А где он там был целый день, а то и весь вечер, кого видел, с кем говорил — лучше и не спрашивай, потому что самое большее, чего добьешься от него, это какой-то жалкой, вымученной улыбки, и не улыбки даже, а вроде как упрека. Упрека от перебитого пополам человека: чего зря спрашиваешь? Чего ж спрашивать, Татонька, у больного, где у него болит, когда у него все болит, везде?

И про Светлану... И про Ксюшку язык тоже никак не порачивается спросить... Спросить, какие книжки он Ксюшке сегодня читал, какие сказки ей рассказывал? Где он ее там по двору на санках катал? А читал ли, а катал ли? А может, и там тоже лежал так же вот на диване, отвернувшись к стене, и так же молчал или просто спал, хлебнув опять, сколько надо, из своей фляжки, что у него теперь всегда торчит из заднего кармана брюк. А сколько ему теперь надо, чтобы вырубиться? Глоток-два, и хватит, и, как он сам говорит, ваших нет... А был когда-то на выпивку орел! Помнится, всегда только удивлялась, глядя на него: Мать Божия, сколько ж в них, в мужиков, влезает, когда они всерьез возьмутся пить...

Так что же еще ей ждать? Ждать, когда Костька позвонит? Или — Бог ты мой, счастье-то какое! — явится сам, собственной персоной, к ним? Но и здесь, Наташечка, тоже не надо обольщаться, тоже не надо строить иллюзий... Костя — отрезанный ломоть! И хорошо, что он хоть не забывает их, звонит, появляется иногда. Но это уже другая жизнь — чужая жизнь... Сама-то ты, Татонька, много думала о матери с отцом, когда усвистела от них вон аж куда — в Норильск? А тоже, небось, ночи не спали, ворочались, все думали, как ты там, что с тобой. И жизнь их тоже, небось, была от письма до письма, от звонка твоего до звонка... И жаловаться тебе не на что: добр он к тебе, Костька, внимателен — ну, так чего же тебе тогда еще? Вон, даже и продукты в дом, не спрашивая тебя, стал таскать, несмотря на все твои протесты. А чего, положила руку на сердце, протестовать? Да вы с отцом-то уже, наверное, давно бы ноги протянули, кабы не он. А так и горя не знаешь, и думать не надо ни о чем. Ну, разве что за хлебом сходишь или за молоком, или белье в прачечную снесешь. А чего еще надо? Ну, Алексею-то, ему, положим, надо. Но тоже вон, видишь — обеспечил, нашел способ...

О, Господи — страшно! Как страшно... И сделать ничего не можешь. Насильно же в ЛТП его не сдашь! Да и не веришь никак, что это все, может быть, уже необратимо... Чтобы он, Алексей Мамонов, и спился?! Попросту говоря, спился, как последний алкаш? Не может этого быть. Никогда этого не может быть! Это пройдет, непременно пройдет. Он сам, как та собака в овраге, найдет свою травку. Найдет, сам вылечится, когда придет срок, не надо только ему мешать... И сын тоже вон не верит, что он сопьется. Не верит, хотя и все время спорит, и даже ссорится с ним... Грустно, но

не ладится что-то у них. И давно уже не ладится... А с другой стороны, у кого с ним, с Алексеем, теперь ладится? У него с самим собой-то ничего не ладится, что уж тут говорить про сына или еще про кого...

Ну, а еще? А еще чего, Татонька, ждать? Ждать, когда сын, Костыка, наконец, притомится, отбегаются, когда он женится? Когда внуки у тебя пойдут? О, это еще сколько ждать... Не хотят они теперь, молодые, жениться! Все чего-то вычисляют, прикидывают: как бы не ошибиться, не промахнуться зря. Такие теперь времена... Или вообще жизни боятся? Боятся в этом кошмаре, что творится вокруг, еще и других, подобных себе, на свет пускать? Не зная и не имея ни на грош веры в то, что их всех дальше впереди ждет? Да нет, сами-то они, по всему видать, жизни не боятся. Ишь, как лихо взялись! Отчаянные ребята. Посторонись! Константин Мамонов идет... А может, это тоже напускное? Тоже больше от страха, чем от уверенности в себе? А у самих, небось, поджилки трясутся, только виду не подают: а вдруг всех их разом прихлопнут, как мух? А чего? И прихлопнут, и это может быть. У нас это все запросто, нам не привыкать. У нас это очень даже может быть.

О, Господи! Костенька, Костенька... Как бы хоть одним глазком заглянуть туда, в даль неведомую, узнать, что тебя там ждет, что там будет с тобой... Но будет уже без нас — без двух глупых, растерявшихся стариков, которые уже не в силах ничем тебе помочь, ни в чем тебя защитить... А может, и хорошо, что нельзя туда в эту даль, заглянуть? Может, в этом и есть оно, милосердие Божие, чтобы не знать человеку ничего о том, что ждет его самого и какой будет его конец? И что ждет его детей и внуков, и какой она вообще там дальше будет — жизнь? Сказано человеку: живи одним днем и не тревожься. А ему все нейдет, все мало! Все он куда-то дальше рвется, пока рога в землю не воткнет. Пока не успокоится. Пока не упокоится, наконец...

Так что ждать тебе, Наташечка, похоже, что действительно нечего. Разве что вот, кто-нибудь из подружек твоих старых по музею позвонит, вечером, поболтаете, посплетничаєте, кто ушел, кто остался там, в музее, кто с кем живет, кто с кем разошелся, и каким чудом он, музей, еще держится, не закрылся, и что еще интересного они там за последнее время приобрели... Ну, еще, конечно, и пожалуетесь друг дружке на жизнь, на то, как это люди умудряются в таких условиях выжить, и почему теперь в магазинах стало масло, и хлеб, и колготки, и стиральный порошок, и какой

транспорт стал ужасный, и до чего, мерзавцы, Москву довели — скотный двор, истинный скотный двор, хлев, а то еще и хуже, чем в хлеву... Или очередной какой бесконечный сериал по телевизору включишь: скука смертная, глупо, примитивно донельзя, но ведь оттягивает же! Сидишь, смотришь, как приклеенная, переживаешь, а там, глядишь, уже и ночь, и спать уже пора... Читать? Нет, читать ничего не хочется. Ни про любовь, ни про войну, ни про политику — ни про что уже не хочется. Даже и детективы, даже и любимые ее мемуары — и их не хочется не только что читать, а даже и в руки брать. И от газет тоже тошнит, форменным образом тошнит...

Может, опять цветы полить? А их сколько можно поливать? Так и зальешь их совсем, еще чего доброго и погибнут от такого твоего усердия. Тоже ведь меру надо знать... И пыль.. И пыли нет нигде в квартире ни пушинки, ни пынышка, хоть носовым платком проверь... Нет, Наташечка! Сиди, где сидишь. Сиди и жди, когда он наконец раздастся — этот его звонок в дверь..

Ну, вот... Ну, вот и дождалась! Вот и он, наконец, этот твой долгожданный звонок... Господи, и звонок-то — и тот стал какой-то другой. Прежний был всегда звучный, полный, громогласный! Сразу было ясно, что хозяин пришел, что это он звонит. А этот слабый какой-то, жалобный, будто малый ребенок чей балуется: ткнул пальцем в кнопку звонка и сам же, испугавшись, тут же и убежал. Можно было бы и вообще не услышать его, этот звонок, если бы радио, скажем, играло или телевизор был включен... Ах ты, черт! Еще и цепочку, как на грех, заело... От кого, Наташечка, спрашивается, прячешься, от кого запираешься? От воров? Как же, от воров... Что им твоя цепочка, плевать они на нее хотели. От себя, милая моя, запираешься, не от них... Ну, слава Богу, кажется, все! Кажется, отцепилась, проклятая, наконец...

— Боже мой, Алексей?! Что... Что с тобой?!

Перед нею, у двери, привалившись к стене, действительно стоял Алексей. А вернее, нечто, похожее на Алексея. Но это нечто было без шапки, с вздувшимся, залитым кровью, наполовину заплывшим сплошным багровым синяком лицом, и одного глаза на нем вообще не было видно, и оно, это нечто, было покрыто все грязью с головы до ног, и как-то странно скособочено, и один, левый, рукав пальто свисал у него безжизненно вниз. И не падало оно, нечто, видно, только потому, что другой рукой ухватилось за дверной косяк и так, казалось, и повисло на нем...

— Упал, Тата... Упал... Помоги мне.. У нас перед домом упал. Там наледь. Там всю зиму наледь... И я упал... Сколько лежал — не помню. Люди подняли... А потом я уж сам дополз, по стеночке. Долго полз... Но видишь — дополз...

— Господи, Алеша... Как же так... Ох, беда! Беда, несчастье-то какое... Осторожно, осторожно! Обопрись, Алеша, на меня... Давай сначала пальто снимем. Сначала пальто, остальное потом... Ох, мокрый же ты какой! Насквозь мокрый...

— Я, наверное, долго лежал, Тата... А там мокро сегодня. И снег идет мокрый... Наледь-то, Тата, под снегом. Да ты ее знаешь, наверное, — это та, у самых наших ворот. И темно там — глаз выколи. Ничего не видать... О, Тата! Погоди немного... Не тяни так за рукав. Больно... Больно, Тата! Я сейчас опять упаду... Я, наверное, руку сломал. Или ключицу... Больно, Тата! Погоди. Дай дух перевести...

— Ты, Алеша, пил сегодня?

— Нет, Тата. Считаю, что не пил... Так, днем только глоток-другой... Может, потому-то и упал, что не пил.. Я же говорил тебе, помнишь? Останавливаться нельзя — упадешь. Помнишь, говорил? Ну, вот... Ну, вот и упал...

— А, иди ты... Иди ты со своими шуточками! Нашел время... «Скорую» — то как, кстати, вызвать, не помнишь? Ноль-два или ноль-три? Совсем со страху память отшибло...

— Ноль-два — это, Тата, милиция... «Скорая» ноль-три...

— Да, конечно, что я в самом деле! Алеша, постой так сам на секунду у стенки, а? Можешь? Я только до телефона дотянусь.

— Погоди, Тата! Погоди... Ты вот что... Ты мне налей немного. Мне надо, Тата... Мне больно! Я боюсь, я опять сознание потеряю... Ну, а потом уж и «скорую» вызывай... А может, Тата, лучше «неотложку», а? «Скорая»-то, может, еще и откажетя, не приедет. Им сейчас, небось, не до нас, до всякого старичья... у них, наверное, другие теперь все больше вызовы. Кого пристрелили, кого динамитом рванули. А ехать-то все равно им...

Опасения их с Алексеем оказались, однако, напрасны: «скорая» приняла вызов и даже, к удивлению, без особых препирательств. Пока они, «скорая» то есть, ехали, Алексей, проглотив одним глотком те полстакана, что, поколебавшись, она все-таки налила ему, молча сидел в кресле, откинувшись головой назад, прикрыв глаза и лишь изредка постанывая сквозь стиснутые зубы. Сидел он, вмявшись в крес-

ло правым боком, а левый бок как-то неестественно выдвинув и приподняв чуть-чуть вперед, и левая рука у него беспомощно, плетью, свисала книзу — вдоль бедра и ниже колена, почти что до ковра.

Поначалу Тата было хотела хотя бы ватой, смоченной в водке, чуть промыть ему левую, окровавленную часть лица, но потом решила не прикасаться ни к чему до приезда «скорой», тем более что кровь у него, похоже, что сама собой уже перестала течь. Она лишь стянула через голову с него вымокший в крови галстук и расстегнула ему ворот рубашки, а пиджак тоже стаскивать не стала: побоялась, что он, чего доброго, еще и впрямь опять сознание потеряет, пусть уж лучше это сделает, когда приедет, врач... Лучше уж все-таки еще немного подождать. По телефону ей же твердо сказали: ждите, будут не позже, чем через полчаса-час...

Когда молодой, плотный, лет тридцати, с короткой бородкой доктор и с ним фельдшер с чемоданчиком, тоже молодой, по виду совсем еще студент, наконец приехали, они действительно сделали это все так сноровисто и быстро, что Алексей только раз-другой и застонал, когда они, приподняв его, стаскивали с него пиджак: застонал, но сознания не потерял. С рубашкой же, тоже залитой по груди кровью, они и вообще церемониться не стали: фельдшер просто полоснул ее ножницами снизу до ворота, а потом и по левому рукаву — рывком и тут же вниз.

Диагноз был поставлен сразу: закрытый перелом предплечья, перелом или глубокая трещина в ключице и, вероятно, легкое или средней тяжести сотрясение мозга. Но это уже, сказал доктор, как рентген покажет — надо еще на рентгене посмотреть. В любом же случае, конечно, подлежит немедленной госпитализации — сомнений в этом никаких.

— А транспорт у вас как — есть, мамаша, а? — спросил ее, закончив осмотр, доктор. — Знаете, лучше вы сами его туда доставьте. Вот вам направление, это ближайшая к вам больница. В травматологию.. А на нас прошу не обижаться. Задыхаемся, мамаша, от вызовов! Вот, прямо от вас, на вашей же улице — еще вызов. Старушка какая-то кончается. И тоже, кажется, после падения... И с бензином, сами знаете, теперь как — каждый литр на счету... Он что, пьяный был? Дед-то ваш?

— Нет, доктор, не пьяный. Это я сама ему налила, пока вас ждали. Чтобы боль заглушить... А вы, кстати, ничего

ему не дадите? Ему очень больно, доктор. Может быть, вы сделаете ему какой-нибудь укол? Надо же время, чтобы собрать его для больницы. А ему, я знаю, очень больно... Смотрите, ведь белый весь...

— Эх, мамаша! Какой укол... нищие мы, понимаете? Нищие! Ничего у нас нет... Мой вам совет — не канительтесь. Какие там сборы? Как есть, так и везите. Тапочки только ему захватите да шерстяные носки. Там, в палате, может быть холодновато. А остальное все завтра ему поднесете... А укол ему там сделают! И не один. У них там все-таки еще кое-что есть... Так, пишу... Как фамилия пострадавшего?

— Мамонов.

— Имя, отчество? Возраст?

— Алексей Иванович. Пятьдесят шесть.

— Так... Мамонов Алексей Иванович. Пятьдесят шесть лет... Пойдите, пойдите... Мамонов? Это, случаем, не тот Мамонов, что в газетах, помнится, писал? И по телевизору выступал?

— Он, доктор.

— Господи, как же его разукрасило! Не узнать... Вы вот что, мамаша. Вы тоже нас поймите... Укол я ему, конечно, сделаю. Из нашего НЗ... Ну, вы понимаете, на случай, когда совсем уж плохо, мы все-таки чего-то еще держим. Еще как-то умудряемся кое-что доставать... Ему часа на три хватит. Но еще раз говорю, не тяните. Везите его сразу... Так, значит, Андрей батькович! Вгони-ка, друг, Мамонову Алексею Иванычу, пятидесяти шести лет, одну ампулу... Великий был, скажу тебе, человек! Ты-то молодой, ты-то уж, небось, не помнишь... А это что? Деньги? Нет, мамаша, не надо! Лучше на такси потратьте. Румынский офицер, как известно, с женщин денег не берет... Ну, все, кажется? Все. Прощаюсь... Где у вас тут, кстати говоря, мамаша, руки помыть?

Как он сказал, доктор-то? Такси? А, да какое там такси... Ни о каком вызове такси она, Тата, конечно, и думать не стала. Как ты его теперь вызовешь, это проклятое такси? Это все теперь уж не про нас. Они теперь только иностранцев с валютой возят, да всякий там сброд, всяких этих рэкетиров да ихних шлюх... Нет, она позвонила, конечно, сразу сыну, на работу. И вот счастье-то — удачно позвонила! Он сам и снял трубку. Повезло тебе, Наташечка, определенно повезло: было-то уже около восьми вечера, рабочий день давно кончился, вовсе не обязан был он, Костя, сидеть там у себя в «Проминвесте», как привязанный, допоздна...

— Мать... Мать, погоди... Ты не надо, ты успокойся. Ну, бывает — всякое бывает, мать... Ведь жив же? Жив. Доктор что сказал? Несмертельно? Ну, вот видишь, несмертельно. А переломы эти заживут, не сомневайся. Обязательно заживут! Он у нас с тобой еще не старый, ему еще рано помирать... Я сейчас, мать, я минут через двадцать приеду. Вместе и отвезем его. Ты там пока собери, что надо... И не плачь! Перестань плакать. Главное, что жив. Жив, понимаешь? Ну, чего ж тебе еще? Бога не гневи, мать...

Дергая один за другим ящики в стенке, чтобы достать оттуда, что было нужно — пижаму там, носки, полдюжины носовых платков, теплый, на пуговицах жилет, — и в то же время поглядывая искоса на него, на Алексея, через плечо, она в какой-то момент даже подумала, что он либо заснул, либо опять все-таки потерял сознание: до того тихо, не шевелясь, он лежал в кресле — лежал и даже не стонал. Но когда она, схватив все, что достала из шкафа, в охапку, осторожно, на цыпочках стала было пробираться на кухню, чтобы уложить это все в сумку, он вдруг, открыв глаза, позвал ее:

— Тата... Прости... Но я прошу... Ты, я знаю, поймешь... Позвони сегодня же туда... Ну, ты понимаешь, на Преображенку... Скажи ей, Светлане, что случилось. Скажи, чтоб они там не волновались... И еще, знаешь, что... Обещай мне, что сделаешь. Больше мне некого просить... Или сама съезди к ним, ты ведь была там, ты знаешь адрес. Или где-нибудь в городе встретиться с ней... И передай ей конверт, он у меня в правом кармане, в пиджаке... У них, я знаю, денег нет. А я как раз сегодня по почте перевод получил. Небольшие деньги, но на первое время, надеюсь, им хватит... Сделаешь, а? Прошу тебя сделай... И прости мне это. Вместе со всем другим — прости...

— Хорошо! Хорошо, Алеша... Ты не думай! Я все сделаю, как ты говоришь... Ты лежи, молчи. Тебе сейчас, наверное, трудно говорить...

— И еще... И еще одно, Тата... Только не бранись, прошу тебя... Скажи соседу, Алексею Прокофьичу, что наш с ним уговор остается в силе. И пока я в больнице, пусть он, что мне по уговору полагается, у себя там держит...

— Алеша, ну, ты право! Ну, как ты можешь? Несчастье-то какое... А ты, Бог знает, про что...

— А теперь ты молчи! Молчи, Тата... Это уже не в твоей власти. И даже не в твоей компетенции... Это уже мои отношения с Богом. Да с самим собой... А ты молчи! Знаешь — и молчи...

Костя действительно приехал очень скоро, минут через двадцать — через полчаса, как и говорил. И не один приехал — с охранником: оба здоровые, косая сажень в плечах мужики, они осторожно, на руках, снесли Алексея вниз, в «мерседес», и устроили его на заднем сиденье. Ничего тяжелого они на него одевать не стали, чтобы лишний раз не мучить человека. Охранник подогнал машину задом к подъезду, а потом они укрыли его китайской пуховкой и еще набросили сверху на нее плед: мокрый снег на улице кончился, появились звезды и, судя по всему, опять должно было вот-вот сильно похолодать. Но и эта предосторожность была, похоже, что излишней. Доктор был прав: ехали они от силы каких-нибудь пять—десять минут, не более того.

Пока его везли, Алексей не издал ни звука. И в приемном покое, пока оформляли документы, он тоже сидел молча, прикрыв глаза и привалившись спиной к белой, в кафеле стене. Когда же наступило время прощаться, он лишь страдальчески улыбнулся ей, Тате — ей, не Косте — и, неловко как-то шевельнув здоровой рукой, будто желая ее привлечь к себе напоследок, сказал ей тихо, так, что слышала, наверное, только она:

— Прости, Тата. Еще раз прости. Я знаю, ты поймешь...

Домой ее потом подбросил тоже Костя. Но подниматься вверх он не стал: его еще где-то там за ужином ждали партнеры, и он обещал Фариду туда к ним хоть на часок, но заглянуть. На прощанье, приложившись к ней своей холодной, колючей к вечеру щекой, он обнял ее за плечи и сказал, оттягивая перед ней тяжелую, уже схваченную морозом дверь в подъезд:

— Не горюй, мать! Все обойдется. Верь мне — все обойдется... А вдруг, знаешь, оно и к лучшему? Вдруг это судьба ему пальцем погрозила? Может, и пить теперь перестанет, наконец. Отвыкнет — теперь ему ведь там с месяц, не меньше, ничего не пить. Негде взять! Если, конечно, ты сама ему туда не принесешь...

Какой же пустой, гулкой показалась ей ее собственная квартира, когда она, поднявшись на свой этаж, открыла ключом входную дверь и, щелкнув выключателем, включила свет... После всей этой-то суеты, волнений, одевания его, Алексея, после топтанья в коридоре двух здоровенных, неуклюжих мужиков, а до них доктора и его этого фельдшера с чемоданчиком, а до них... А до них всего, что здесь было за долгих два десятка, нет, больше уже лет! С тех самых пор, как они с Алексеем, счастливые, гордые собой — как же,

одолели кооператив, сами одолели! — переехали сюда из той комнатенки в коммуналке на Бронной, которую они, молодые, снимали тогда, чтобы не быть обузой ни ее, ни его старикам. И где у них и Костька родился... И этот запах эфира от «скорой помощи» еще не выветрился, и табаком еще пахнет на кухне — то ли Костька, то ли этот его охранник курил, пока она все сновала по квартире туда-сюда, все проверяла, чего еще она забыла с Алексеем взять... И пиджак его в крови вон еще валяется в углу на полу, надо его прибрать, в кладовку положить, а завтра, если, Бог даст, все будет хорошо, в химчистку не забыть его снести, благо она, химчистка-то, рядом, за углом... И ножницы, которыми фельдшер ему рубашку распорол, тоже все еще лежат на столике рядом с креслом, где он сидел — тоже непорядок, тоже надо прибрать...

Господи! Ну, а вдруг... Ну, а вдруг это конец? Вдруг он, Алексей, уже оттуда не вернется, из больницы? Ведь не только перелом: доктор говорит, еще и сотрясение мозга, это же еще страшнее! А он и так слабел последнее время прямо на глазах. Да еще и пил — как больной, уже пил... А вдруг сердце не выдержит, сосуды не выдержат? И осталась ты тогда, Наташечка, одна. Одна во всей этой пустоте... И будешь ты тогда, дорогая моя, одна ползать по квартире, и смотреть на книжки на полках, на безделушки всякие, и бумаги, оставшиеся от него, будешь перебирать, и кашу себе овсяную в одиночестве на кухне варить, и кактусы на подоконнике поливать, и пыль тряпкой отовсюду, будто во сне, вытирать... О, Бог ты мой! Какая же тоска... Какая тоска... Лучше бы уж тогда, наверное, как когда-то в Индии: он туда, и ты за ним. В тот самый, как его... в погребальный костер...

Так... Так что же он, Алексей, ее просил обязательно сделать? Что-то ведь очень важное просил... Да, ну, как же! Во-первых, насчет Светланы. Ну, это-то нужно сделать сейчас, сразу, же, не откладывая на потом. Может, она его там ждет, сегодня же вечером ждет. А он... А он вот уже где — в больнице! И, наверное, уже в палате лежит. А может, уже даже и заснул. Они там наверняка уже вкололи ему что-нибудь обезболивающее. И что-нибудь снотворное... Не могли же они, в самом-деле, просто так его принять и положить: жди, мол, до завтра, завтра и займемся тобой. Уж уколоть-то его они, надо думать, догадаются, даже если и действительно до завтра им не будет заниматься никто. Им же тоже лучше, чтобы он заснул, чтобы не беспокоил никого — ни персо-

нал, ни соседей по палате... По палате? Это, Наталья Владимировна, еще хорошо, если по палате. Кто знает, как там у них сейчас... А то, говорят, и в коридорах лежат, ждут пока место где-нибудь в палате освободится... По дням, по неделям лежат...

Ну, ладно, это все пустое! Сейчас все равно не отгадаешь, где они его там положили, как ему там сейчас... А другое... А другое что он еще просил? А другое насчет соседа... Ну, это уж никак не к спеху. Это-то вполне теперь может подождать... А Светлане надо позвонить сейчас. Прямо сейчас... Телефон-то как, Наташечка, помнишь, не забыла еще? Помнишь! Конечно, помнишь — наизусть. Сколько раз, бывало, набирала его до последней цифры. А ее, эту цифру, только раз за все время и решила набрать — тогда, прошлым еще летом, когда ездила к ним. Когда Ксюшка болела, и ты еще — помнишь? — сказку какую-то там, у них, рассказывала ей...

— Светлана? Это Наталья Владимировна говорит. Извините, что столь поздно... Дело в том... Дело в том, что... Что? Да, с Алексеем. С ним. С ним, к сожалению, случилось несчастье... Нет-нет! Не пугайтесь. Он жив и будет жить. Но он сейчас в больнице. У него рука сломана. И ключица, наверное, тоже сломана... Он упал. На улице упал... Да, разбился сильно. Но, доктор говорит, ничего особенно уж страшного в общем-то нет... Что? В сознании? Да, конечно, в сознании. Это он, между прочим, и просил меня вам позвонить. Предупредить вас и сказать, чтобы вы там зря не волновались... Да, завтра, наверное, будет рентген, и тогда мы с вами будем знать уже все более точно... Конечно, конечно! Не беспокойтесь. Я как узнаю, так сразу же вам и позвоню... Что? Вы тоже хотели бы его там завтра навестить? Да, пожалуйста... Нет, что вы! Я не буду против. Но, может быть, все же лучше не завтра? Может, лучше послезавтра? Завтра его, наверное, будут очень мучить. Рентген там, осмотры, анализы всякие. И, наверное, завтра же и гипс ему наложат. А может, и этот, как его, поставят... Ну, вы знаете... как его... штырь, прут, спицу эту специальную — в общем, забыла, как это у них там называется... Так что, Светлана, лучше, наверное, не надо завтра. Завтра я сама, думаю, справлюсь... Да, простите, вот еще что. Он просил конверт вам передать. С деньгами... Что? Можем где-нибудь в городе встретиться? Конечно, можем и в городе. Как вам удобно... Но знаете, Светлана, что? Если совсем уж откровенно... Я бы уж лучше сама к вам подъехала. Призна-

юсь, мне очень хочется на Ксюшу посмотреть. Хоть одним глазком посмотреть... Согласны, не возражаете, да? Ну, вот и прекрасно! Стало быть, я и звонить вам тогда завтра не стану. Сразу, как освобожусь из больницы, так прямо и к вам... Когда? Ну, я не знаю, когда. Наверное, все-таки поближе уже к вечеру... Нет-нет, что вы! Конечно, если, не дай Бог, что-нибудь очень серьезное, никакого вечера я ждать не буду — я вам сразу же позвоню. Но, знаете, меня врач из «скорой помощи» сегодня сразу же, что называется, с порога обнадежил: не тревожьтесь, говорит, поправится ваш дед, ничего непоправимого говорит, с ним не произошло. Грубоватый такой, но в общем-то приятный молодой человек. И, похоже, что дело свое знает. Сразу сказал диагноз: что с Алексеем, что он там себе сломал. Ну, это я вам потом, при встрече все в подробностях расскажу. Все расскажу, ничего не забуду... Ксюша-то как там сейчас? Спит? Уже спит? Да, конечно, поздно уже. Пора ей уже спать... Светлана, знаете что? У меня к вам просьба. Маленькая просьба. Конечно, вам она может показаться странной, вы человек вроде бы неверующий... Перекрестите ее там от меня, хорошо, а? Как? А так. Как спит, так и перекрестите. Обещаете?.. Ну, вот и ладно, вот и хорошо. Так, значит, до завтра? Всего вам хорошего, Светлана. Завтра, значит, я у вас. Как договорились: как выйду из больницы — так сразу же и к вам...

И все-таки назавтра получилось не так, как она ей обещала. Вернее, не совсем так. Выйдя (уже действительно к вечеру) из больницы, она не поехала сразу туда, на Преображенку — она опять сделала крюк и, добравшись на скрипучем, заиндевелом от мороза троллейбусе до Крымского моста, опять зашла в эту любимую свою церквушечку в Теплом переулке. В ту самую, которая за последнее время, незаметно как, стала для нее совсем уже, видно, своей...

Шла вечерня. Народу в церкви, как и всегда, было немного. Все те же высохшие, сгорбленные или, наоборот, расплывшиеся от старости старушки в повязанных низко на лоб, почти до самых глаз платках, два-три лысых старика без шапок в зимних пальто, почему-то обязательно с черным каракулевым воротником. Какой-то пожилой полковник, забредший сюда, видимо, из чистого любопытства.. Было, конечно, и несколько помоложе, и совсем еще юных лиц: длинный худющий парень вон в очках, застывший, как истукан, перед алтарем, молодая женщина в черном платке (видно, вдова, видно, мужа только недавно похоронила), а поодаль от нее молоденькая девица, весьма, между прочим,

модная на вид, и свечку держит тоже так по-особому, фасонисто так держит, а рядом с ней другая девица, тоже лет восемнадцать—двадцать, не больше, но эта попроще, этой-то, что называется, лишь бы срамоту прикрыть, судя по какой-то жалкой курточке на ней на рыбьем меху. А на улице-то мороз, сердитый мороз...

Нет, плохо она, Тата, верила! Нехорошо она верила... Так разве верят истинно-то верующие люди? Ни молитв никаких толком ни раньше не знала, ни теперь не выучила, ни святых никаких не различала и не поминала, и не постилась, и на исповедь, и к причастию не ходила никогда... И службу не знала — совершенно не знала! И никогда даже и не пыталась разобраться: о чем это там священник бормочет, чего он подпевает сам себе под нос, зачем дьякон кадилом кадит, о чем это хор на клиросе поет... «Аллилуя, аллилуя, слава Тебе, Боже!» — вот и вся, видать, и грамота ее по вере. А больше ничего ей, похоже, и не дано понять: смолоду, Татонька, надо было всему этому учиться, время-то, дорогая моя, прошло... И как нашла она себе в тот раз, в первый еще свой приход сюда, Деву Марию с младенцем на руках, да синенькую лампадку на цепи перед Ней, да подсвечник этот высокий серебряный, куда свечки ставить, так ничего-то другого, нового, и не узнала она для себя с тех пор в церкви. А сколько уж раз приходила сюда! А сколько простаивала здесь, и на коленях простаивала, перед Ней, перед Божьей Матерью. И о чем только ни думала, о чем только ни молила Ее, Заступницу...

Но вот что удивительно: ничего нового она, положила руку на сердце, и не хотела знать. Ни от старого, ни от молодого священника, сменявших время от времени друг друга по ходу службы, ни от чернобородого дьякона с кадилом, ни от молитв, читаемых с амвона, ни даже, честно сказать, от Библии у себя там дома, в книжном шкафу... Правда, да так ли уж это все было и важно в конце-то концов? Был где-то там Бог, где-то наверху, неизвестно, где, а еще больше Его, Бога, была Дева Мария, мать того младенца, что потом, когда вырос, взял на себя все печали и страдания этого мира, все грехи людские — ну, и хватит, и довольно, и не нужно больше ничего.

Что ей, по совести-то говоря, все эти молитвы? Что ей этот седенький и, по всему видно, славный старичок в епитрахили на плечах, которых давно уже, небось, и сам-то не слышит себя, а все бубнит по доброте своей и по привычке то, чему его научили когда-то давно, еще в семинарии, в не-

запамятные времена? Ведь не расскажешь же ему, старичку, что жизнь прошла, и прошла незаметно как, и не спросишь же его, почему ты стала стара, а вон девчушка рядом с тобой стоит — она еще молода, и ей еще жить и жить, а тебе умирать, и зачем, и кому это нужно было, чтобы ты стала стара, и зачем это должно быть так, чтобы тебе непременно нужно было умирать. А умирать придется и, вероятно, довольно скоро, а больше всего хотелось бы умереть до него, до Алексея, чтобы не он ушел вперед тебя, а ты ушла раньше, чем он — чтобы не быть одной, без него, не варить себе одной овсянку на кухне, не ползать в одиночестве по квартире, и не быть ни себе, ни кому другому в тягость, и не ждать уже больше ничего и ни от кого... Заступница! Владычица! Молю тебя, об одном молю: пошли мне, если это в Твоей власти, скорую смерть — смерть в одиночестве, без боли и без мучений, забери меня к Себе, не оттолкни! Ибо, знаю, нет никакого такого уж тяжкого греха у меня на душе, чтобы Тебе оттолкнуть меня... Нету такого греха, Владычица! И я верю, я знаю: у Тебя там будет тихо, у тебя там будет Свет, и, может, и Алексей когда-нибудь опять присоединится там ко мне, и Костя, и Ксюша, и родители мои покойные где-нибудь тоже там будут недалеко от Тебя — чем уж так они все виноваты перед Тобой, чтобы и им не быть там где-нибудь подле Тебя? Не верю, не хочу я, Владычица, никакой мировой идеи. И никакого слияния с Богом не хочу! Я хочу просто видеть Тебя, Заступницу, и младенца Твоего Божественного, и знать, что все страшное уже прошло, и больше не вернется, и теперь будут только тишина и Свет... Алексей вон все смеется, дразнит меня: а что, дескать, ты будешь делать там, в райских-то садах и кущах? Ты же там во второй раз помрешь — от скуки помрешь да от безделья... Неправда! Не слушай его, Владычица, не верь ему. Это он просто так, балаганит, как всегда. Я и там найду себе дело! Буду какую-нибудь звездную пыль просеивать, планеты тряпкой протирать, покрывала плести из каких-нибудь там лучей. Буду за стариками за своими ухаживать, что им недодала здесь, на земле, а если они и там все еще ссорятся — буду и там их мирить. И за Алексеем буду присматривать — он и там, небось, начнет тосковать, метаться, все правду какую-нибудь и там станет искать... А еще Костя. А еще Ксюша... Господи, да не может же быть, чтобы там было одно мертвое оцепенение... Хватит мне и там дела! Покой — это же не значит оцепенение. Не исчезнут, не сольются и там люди в едином Боге. Каж-

дый и там останется самим собой — иначе тогда зачем Ему было их всех и создавать?

И не «миром»... Нет, не «миром» я молю Тебя, Владычица... Пусть каждый молит Тебя за себя, а я — за себя. Страхушь: не дойдет до Тебя мой голос в общем-то хоре, каким бы громким и согласным он ни был, этот хор. Не верю я в это! И милость Твоя, если уж она будет, то будет она, верю, ко мне, взывающей к Тебе. И к другой, такой же, как я... А ко всем... Не верю я во всех, Владычица! Изверилась я во «всех». Именно они, «все», и устроили эту всеобщую психбольницу, в которой мы с Алексеем прожили всю жизнь. И которая, чем дольше я живу, делается только лишь все непонятней, все страшней... Ничего я вокруг не понимаю, Владычица, Мать Божия. И отвечать за всех, за мир я не хочу! И молить Тебя за «всех» тоже не хочу. Пусть они, «все», сами там разбираются, как могут и как хотят. А моя надежда — это моя надежда, и пусть она и останется только моей. И пусть будут только я и Ты, а между нами чтоб больше никого... За Алексея молю Тебя, Заступница. За Костю. За Ксюшу... И за нее, за Светлану, тоже молю. И ей я тоже не хочу никакого зла... Ну, и за себя... Ах, устала я, Мать Божия! Устала. Дай мне силы хоть дотянуть-то здесь до конца. Не сломаться, не смалодушествовать, не устроить чего-нибудь над собой... А про звездную пыль да про райские сады — это я уж так, Владычица, от отчаяния! Это уж как получится, это уж как Ты там у себя решишь. Тебе там виднее: кому звездная пыль, а кому что. Уповаю лишь на доброту Твою, Мать Божия! А достойна ли я ее или нет — этого мне не узнать. А может, оно и к лучшему, что не узнать. Может, и не надо никому того знать...

... Бог ты мой! А на улице-то... А на улице-то как хорошо! Воздуху-то сколько, снегу сколько! Чистого, нетронутого снегу — недаром три дня, не переставая, валил... Смотри ты: и Москва вроде как другая стала! Тоже вроде как притихла, задумалась о чем-то, перестала сновать туда-сюда... Да нет, не обольщайся, Тата! Это только здесь, в переулочке, до ближайшего угла. А повернула за угол — и опять все, как всегда! Прет народ, не разбирая дороги, чертыхается, толкается, вязнет в сугробах, сопит, волочит на себе всякую поклажу, шумит, торгуется у лотков, глазеет на всякие чудеса в поставленных везде ларьках, давит друг друга в дверях метро... Одно слово — толпа! Московская толпа: такая же свирепая, плотная, прущая напролом, какой она и была всегда. Одно только, похоже, в новые времена в ней, в толпе,

и изменилось: откуда-то появилось несметное множество длинных, страшной, наверное, тяжести баулов у людей в руках... И чего они все в этих баулах тащат? И куда, интересно знать, они это все везут?

Куда-куда... Как куда? Спасается, Татонька, народ, как может! Торгует, чем ни попадя. На жизнь копейку добывает... Это вы вон с Алексеем лапки кверху — и долой, и сдались. А народ сдаваться не собирается! Он, народ, жить намерен. Ему некогда всякую там меланхолию да мерлихлюндию разводить... Жизнь с ним так — а он с ней этак! А он ей фигу: накося, выкуси — что, взяла? Нет, врешь, не возьмешь — все равно мы выкрутимся, все равно будем жить. И дети наши будут жить, и внуки! И ничем — никаким купоросом, никакой соляной кислотой нас ты, проклятая, не возьмешь. Где украдем, где продадим, где сами заработаем — но вывернемся!.. А кто там наверху: большевики или демократы, или другая какая сволочь — да плевать! Все равно никакого добра ни от кого из них не дождешься. Так что, давай, брат, грузи баул, запихивай в него все, что можешь — и не раскисай, и не ропщи! Волка, как известно, ноги кормят. А иначе нельзя — иначе пропадешь...

Но, Господи, какая же все-таки давка в метро! Какая давка... В вестибюле, на эскалаторе, на платформе, в вагоне — везде. И это, Наташечка, заметь, уже после того, как схлынул главный час пик. А что же тогда творилось здесь всего час-полтора назад? Страшно подумать... Нет, как ни урезонивай себя, как ни взывай к человеколюбию, а все-таки нельзя ее не возненавидеть — эту Москву. И эту московскую толпу... В буквальном смысле возненавидеть... Кажется, ведь только что вроде бы с Девой Марией беседовала, на коленях перед Ней стояла, душою умилялась, молила Ее... И вот, пожалуйста! Вот ты и опять часть этой толпы... И, честное слово, после всех тех молитв да ангельских песнопений с таким бы удовольствием трахнула бы сейчас чем-нибудь тяжелым по башке этому хаму, этому юнцу, что так нагло развалился на сиденьи прямо перед тобой! Дубина стоеросовая... И рожа-то какая! Господи, что за рожа... Тьфу! Прыщавая, наглая, самодовольная... Животное, право слово, животное! И мало, что плевать ему, что перед ним пожилая женщина стоит. Еще, наглец, и ногу на ногу закинул, еще и ботинком своим вонючим прямо в кость, прямо в голень тебе упирается... А скажешь — только на мат нарвешься! И больше ничего... Ну, слава Богу! Слава Богу, не долго ехал. Убрался, наконец, животное... Но,

между прочим, Татонька, синяк-то на ноге у тебя будет. Будет, не сомневайся! И что это, черт бы их всех побрал, за мода теперь такая пошла, а? Все они, молодежь то есть, теперь в этих ужасных солдатских бутсах. Да еще с такой подошвой — только гвозди ею; этой подошвой, забивать...

А на Преображенке, в ее дворах и переулках, тоже было уже темно и пусто, как и там, у церкви, где она только что была. И тоже белым пуховым покрывалом, лишь кое-где простеганным редкими стежками следов, лежал снег. Это только завтра, наверное, он и здесь опять станет бурым, и здесь поплывет и превратится в рыхлую, чавкающую грязь — назавтра опять обещали оттепель. А потом опять, конечно, будут морозы, а счищать его, снег, и здесь, как и везде теперь по Москве, никто, конечно, не станет, и вместо снега потом и здесь будет бугристый, скользкий, весь в ямах и сизых наледях каток... Но сегодня снег чист и бел, как в первый день творения, и идти по нему одно только удовольствие — до того он мягок и до того он свеж. И даже не хочется петлять, не хочется искать никакой протоптанной тропочки: лучше уж идти прямо по дворам, по снежной целине, благо снега все-таки не настолько уж навалило, чтобы было трудно идти и чтобы он был выше обычных женских сапог...

А вот и он, тот подъезд, где ее сегодня ждут... А вот и те же почтовые ящики внизу, и чуть не половина из них — с оторванными дверцами, а другая половина на замках. А вот и та же обшарпанная, замызганная лестница вверх, и облупившиеся, изрисованные мелом и фломастерами стены, и заделанное на треть фанерой окно на втором этаже. А вот и та площадка. И дверь, и пуговка звонка в углу... Ну? Позвонили? Интересно, как-то нас сегодня встретят... А что? А, может быть, и хорошо встретят. Чего ж нас плохо-то встречать? Слава Богу, не чужие уже. Давно уж, дорогие мои, не чужие! Ни много ни мало — уже семь лет...

Дверь эта, между прочим, как и тогда, открылась сразу, как она только позвонила... И Светлана была так же аккуратно причесана, как и в прошлый раз, и так же была ни в каком не в халате, а в брюках и кофтеночке, наброшенной на плечи. Но в отличие от той, прошлой их встречи, глаза ее, Светланы, смотрели уже не настороженно, а просто так, как смотрят обычно на того, кого давно в доме ждали и кто наконец — правда несколько замешкавшись где-то там по пути — все-таки пришел...

А поздороваться они так и не успели: откуда-то из-под руки Светланы сразу же вдруг вывернулась Ксюшка с сияющими глазами и синим бантом в волосах и, со всего размаху ткнувшись головой гостье в живот, затараторила свое:

— Ой, тетя Наташа! К нам? К нам, к нам! Тетя Наташа — к нам!.. Ой, тетя Наташа, смотри: у тебя весь нос белый. И щеки белые... Ты их отморозила, да? Ты их варежкой потри... Потри, потри! Долго три... Я знаю, они тогда красные станут. Как морковка. Или как помидор... А что ты так долго не приезжала к нам, тетя Наташа? Я тебя ждала, я у мамы спрашивала... А чего ты мне сегодня привезла? Опять пирожки, как в прошлый раз, да? А сказку ты мне сегодня расскажешь? Только чур — длинную, не из книжки... Расскажешь, да?

— Расскажу! Непременно расскажу, Ксюшенька. Если, конечно, дашь мне раздеться. И если мама нам с тобой разрешит...

— Она разрешит! Тетя Наташа, она разрешит! Мне еще рано спать. Мне еще можно... А у нас папа в больнице, тетя Наташа! Ты это знаешь? Он руку сломал. Но он не пьяный был — он ее так сломал. Поскользнулся и сломал... Но он не сильно сломал! Он скоро придет, его там долго держать не будут... Ведь придет, мама? Да? Ну, мама! Ну, что же ты молчишь? Ты же сказала — придет. А сама молчишь... Придет? Скоро? Так, да?

ГЛАВА XIV

Когда он, Алексей Мамонов, вышел наконец из больницы, была уже весна, была последняя декада марта. Снег в Москве почти всюду уже сошел, на улицах подсохло, и днем делалось так тепло, что в пальто ходить было тяжело, куртка или плащ были уже в самый раз.

Провалился он в больнице долго — даже дольше, чем поначалу ожидалось. Помимо всех этих его травм, у него еще обнаружили какие-то там нелады с сердцем, и после травматологии его еще порядочно продержали в терапии — до тех пор, пока кардиограмма и всякие другие его показатели не пришли, наконец, более или менее в норму. Но и тогда лечащий врач все еще колебался, отпускать его или не отпускать.

«Куда вы, Алексей Иванович, все торопитесь? — уговаривал он его. — Лежали бы себе и дальше. Никто же вас отсю-

да не гонит! Мы, слава Богу, пока еще по-старинному, страховая-то медицина до нас еще не дошла. Это вот когда дойдет — тогда другое дело. Тогда и нам придется на конвейер переходить: спи скорей — подушка нужна...»

Ну, хорошо — вышел... Выйти-то он вышел! А куда теперь, когда вышел, прикажете идти? Куда, в какую сторону направить, как говорится, свои стопы? К Новодевичьему или уже прямо туда, на Преображенку? Кстати, потому-то он и запретил вчера всем приезжать за ним... Да-да! Именно поэтому и запретил. Не хотелось никакого давления, ни скрытого, ни открытого — хотелось, чтобы ноги его сами, без всякой подсказки извне, повернули туда, куда им и надлежало повернуть.

Постояв у тяжелых, узорного чугунного литья ворот больницы, пожмурившись на мартовское солнце и потоптавшись немного в нерешительности, он все-таки повернул не в сторону Новодевичьего, а к Арбату, вернее, к Смоленской, к метро... От столь долгого пребывания в четырех стенах, от всех этих лекарств, процедур, гипса, больше месяца, как броней, сковывавшего его, от тяжести сумки с бельем и прочим его больничным достоянием, оттягивавшей единственную здоровую руку — от всего от этого, а еще, конечно, от пронзительного весеннего воздуха, раздиравшего ему грудь, и от множества машин на улицах, и от толпы, обтекавшей его со всех сторон, и от вороньего грая, неумолчно стоявшего у него над головой, идти ему было нелегко. Несколько раз он останавливался, привалившись спиной к очередному столбу, несколько раз присаживался на случайно встретившуюся по пути лавочку или на какой-нибудь бетонный блок, забытый, на его счастье, строителями где-нибудь в неположенном месте: голова его кружилась, ноги плохо слушались, а глаза, когда он присаживался, тут же то ли от солнечного света, то ли от усталости начинали слипаться, и ему каждый раз нужно было сделать усилие над собой, чтобы не задремать, не заснуть здесь же, где и сидел...

В метро-то, правда, было уже полегче! В метро-то он опять почувствовал себя не стариком, не инвалидом; а тоже более или менее человеком. Все чего-то тащат — и он тащит, все куда-то едут — и он с ними, всем друг на друга начхать — и ему начхать. Начхать на всех и на все, а, может быть, если здраво рассудить, то и на самого себя... Что ж! Поехали! Теперь только одна пересадка в «Охотном ряду», а там пятнадцать минут до «Преображенской» — и

считай, что ты дома. Там-то до дома от метро совсем уж, считай, рукой подать, как-нибудь уж, спотыкаясь, да до-ползем.

Который, кстати говоря, сейчас час? Ага, половина двенадцатого... Это хорошо, что еще половина двенадцатого. Ксюшка, конечно, в саду, и уж раньше-то пяти-шести Светлана ее оттуда, надо думать, не возьмет. Ну, что ж, естественно: нужно же им хоть немного, но и вдвоем побыть, не виделись-то вон сколько времени...

А! И хочется, конечно, ее, Ксюшку, поскорее увидеть, и, по совести, боязно, страшновато ее увидеть. Да еще в таком состоянии, в таком жалостном его послебольничном виде... Ни с кем за последний год, надо сказать, ему не было так трудно, как с ней, с крохой. А отчего так уж трудно? А от всего! От того, наверное, трудно, что ты уже старый, пьяный, тяжелый, как бурдюк... Что голова у тебя лысая, а под глазами сизые мешки, что пахнет от тебя наверняка плохо, вчерашним пахнет, и ты боишься даже ды-нуть на нее, на маленькую... Что ты забыл уже все сказки, которые знал, и даже пробежать десяток метров с санками, покатаь ее по двору, как катают других детей, ты уже не можешь, потому что через шаг-другой уже начинаешь хватать воздух ртом... А она не виновата в том, что ты старый и пьяный и что ты ее отец, а ей действительно хочется, чтобы ты рассказал ей сказку или покатаь ее на санках, а глаза у нее до того чистые, без единой задней мысли в них, что даже страшно в эти глаза и заглянуть. А на голове у нее огромный синий бант, а руки ее тянутся к тебе, и ладошки гладят тебя по щекам, а щеки твои колючие, плохо выбри-тые, и горько тебе за себя, и страшно тебе за нее, что она сейчас уколется, испугается, отдернет ладошки от твоего лица и больше уже никогда не притронется так к тебе... И в куклы ты с ней не умеешь играть, и все дома из кубиков или из деревянных панелек рассыпаются у тебя под рукой всякий раз, как только ты лишь прикоснешься к ним, и не смеешься ты почти уже больше никогда, и сидишь ты за столом некрасиво, и чай ты пьешь некрасиво, и с матерью ее ты, бывает, уже не столько разговариваешь, сколько молчишь...

Ох, как кружится голова... Кружится, кружится, плывет... Давай, Алексей Иваныч, все-таки передохнем, посто-им немного вон у того столба... Не спеши! Всего-то ничего осталось. Два квартала всего — и ты дома. И можно будет и эту пуховую куртку стянуть, и пот вытереть со лба, и эту чер-

тову сумку куда-нибудь поставить — всю руку оттянула, проклятая, хоть брось. А потом... А потом вдавиться, вмяться в свой любимый угол дивана, и притянуть ее, Светлану, и положить голову ее к себе на плечо, и погладить ее по волосам:

— Ну, как ты тут без меня? Скучала, да?

— Скучала, Алеша. Так скучала...

— И я, знаешь, скучал. Очень скучал... Плохо мне, Светик, без тебя! Очень плохо... Ну... Ну, иди же ко мне... Господи, сколько пуговиц всегда не тебе... И «молний» этих, и крючков... А в халате не могла меня встретить, да? Постеснялась? А еще бы лучше совсем без ничего... Ты так мне часто там, в больнице, по ночам снилась, если бы ты знала...

А она... А она тоже начнет его раздевать, тоже начнет целовать его и в губы, и в глаза, и за ухом, куда она особенно любила его всегда целовать... И руки у нее тоже будут дрожать, торопиться, и какую-нибудь самую неподдающуюся пуговицу она у него в нетерпении, конечно, просто оторвет, и все, что на них, полетит на пол, а потом она вопьется всем телом в него, и застонет, и замотает головой, и он утонет в ней, и на минуту-другую они опять с ней станут самые счастливые люди на земле...

О, Господи... Старый ты черт! Размечтался... Ты до дома-то доползи, не упади. А то туда же... Счастье, видишь ли, ему подавай... А что? И подавай! И дойду, и не упаду. В конце-то концов, что, это — все, что ли? Пятьдесят-то шесть лет? «И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских поседельный...» Ну? Ну, что, легионер? Отдохнул, отдышался? Кажется, отдохнул, кажется, отдышался... Ну, а раз так... Ну, а раз так — значит, пошли...

О, как же она встретила его! Нет, конечно, надо было — надо было ехать сразу же прямо сюда, на Преображенку... Как повисла она у него на шее! Как замерла, прижавшись к его груди, как затряслась у нее плечи, когда он, опустив, наконец, на пол сумку, обнял ее здоровой рукой и притянул ее поближе к себе... И какие сияющие, прямо брызжущие счастьем были у нее глаза, когда она, сквозь слезы, смотрела на него, и стаскивала с него шарф, и пыталась, ощупью, растегнуть у него «молнию» на куртке, а ее заедало, а пальцы не слушались ее...

И так, между прочим, вначале все оно и было, как он себе, стоя там, у столба, и представлял... И солнца в комнате было много, и кисейные шторы на окне были раздвинуты, и в мягкий, привычный свой угол дивана, куда не доста-

вал солнечный свет, он вмялся сразу же, как вошел, и она тут же устроилась на диване рядом с ним, и положила ему голову на плечо, и сейчас же нашла губами у него за ухом то, любимое, свое место, и волосы ее пахли все тем же, что он всегда любил... И «молния» у нее на джинсах поддалась сразу, лишь только он потянул за нее, а лифчика на ней и вовсе не оказалось, и руки ее так же, как и всегда, быстро-быстро заторопились по нему везде, где только надо было что-нибудь расстегнуть. И, конечно, тут же это все и было долой, без всякой жалости, сброшено на пол... И грудь ее была та же, что снилась ему там, в больнице по ночам, и бедра, и эта ее прохладная везде, бархатистая кожа была та же... И голова его тут же, как и всегда, пошла кругом, опять унося его куда-то прочь из этой жизни... И... И больше ничего.

Ничего! Вот в чем был весь ужас-то — больше ничего... Как она ни гладила, ни целовала его, как ни шептала ему на ухо всякие, известные только им двоим слова — больше ничего... В первый раз за все их семь лет вместе, более того, в первый раз за всю его жизнь — ничего. Пьян ли был, не пьян ли, устал, не устал, но никогда этого раньше не было с ним, чтобы ничего, а вот оно, наконец, и произошло — ничего.

...Они потом еще долго лежали так вместе, обнявшись и не говоря ни слова. Не о чем было говорить, вернее, не надо было ни о чем говорить... Что он мог сказать ей? Попросить у нее прощения, понимания, снисхождения к своему возрасту? К своему состоянию? Ведь, что ни говори, он только что вышел из больницы, где провалялся почти полтора месяца. И грудь, и сломанная рука у него еще не зажили до конца, и каждое неосторожное движение все еще доставляло ему пусть не сильную, но боль. Да и голова еще после того падения временами все еще была как не своя... Ах, да разве в этом было дело — в понимании, в снисхождении? Дело было в факте, в самом факте. А как его, этот факт, трактовать, как его объяснить — это уже теперь не имело ровным счетом никакого значения. Все равно это случилось! А раз случилось, то отчего и почему — какая кому от этого была разница, в конце-то концов?

А и ей... А ей что было сказать ему? И ей тоже нечего было сказать, и она тоже не говорила ничего. Она лишь длинными своими пальцами тихо гладила то место у него на груди, где была сломана ключица, и целовала его в шею и за ухом, и дышала ровно у него на плече. И даже глаза

свои, и те она закрыла — за тем, наверное, чтобы как-нибудь ненароком еще больше не смутить его, не сделать ему еще больше больно.

Ну, а что у нее сейчас было там, в голове — это-то он мог и так, без всяких слов догадаться. Слава Богу, жизнь целую прожил, чтобы не понять, что она там сейчас думала и о чем... О чем, о чем... О том же и думала... Конечно же, жалела себя, жалела его, и корила себя, наверное, за что-нибудь, за какую-нибудь выдуманную свою вину, и сокрушалась, что вот, все у нее в жизни не так, все не как у людей, и страшилась, и гнала от себя, наверное, мысль, что все это теперь уже так и будет и дальше, что все это теперь уже навсегда...

— Может, кофе, Алеша? — спросила она, наконец. — Хочешь я сварю, а? Или, может быть чаю? Тебе чего сейчас лучше — чаю или кофе?

— Лучше, Светик, сама понимаешь, водки. Водки стакан... Да, небось, у тебя и нет ее... Нет, да?

— Нет, Алеша. Прости. Я было хотела купить, но потом подумала, что ты только из больницы, что не надо тебе ее... Тебе окрепнуть надо, Алеша. Лучше бы тебе пока без нее...

— Ну, без нее — так без нее... Лежи, Светик, не дергайся. Не хочу я кофе. И чаю не хочу... Ты мне лучше про себя, про Ксюшку расскажи. Как вы тут жили без меня...

— Плохо жили, Алеша. Вернее, так-то не очень плохо. А без тебя было плохо. Мне плохо... И она все время спрашивала, когда ты из больницы придешь, сколько тебе еще там лежать...

— Так... Ну, а дальше как будем жить, Светик? Дальше-то как? Ты думала над этим? Или нет?

— А чего, Алеша, думать? Как скажешь, так и будем жить... Что ты меня спрашиваешь? Ты себя спрашивай. Не меня... А про меня ты и так давно уже все знаешь. Куда я денусь? И куда Ксюшка денется? Как раньше ждали тебя каждый день, так и теперь будем ждать...

— Иными словами, хорошие мои, бери-ка ты, Алексей Иванович, чемодан и давай сюда? Решайся, наконец? Так?

— Не надо, Алеша. Не мучь меня... Я же сказала: как ждала... вернее, как ждали... так и будем ждать.

— И даже после того, что сейчас произошло, будешь ждать?

— Ничего не произошло, Алеша! Понял? Ничего! Говорю тебе: ждала и буду ждать.

— А на кой черт, скажи на милость, я, такая развалина, тебе нужен? Тебе жизнь свою надо устраивать, пока не поздно. Ты еще молода...

— Алеша, милый, прекрати! Прошу тебя — прекрати. Моя жизнь — ты. И Ксюшка. И больше мне, ты же знаешь, никто не нужен... И не надо больше об этом, прошу тебя! А то я сейчас разревусь. А мне уже хватит. Я уже наревелась без тебя тут всласть... Я не реветь — я радоваться сейчас хочу. Радоваться, что все позади, что ты опять здесь... Что ты опять, наконец, со мной...

— Радоваться? Ничего себе, получается, радость...

— Да брось ты! Ты все об этом, да? Господи, как ребенок... Подумаешь, не получилось! Ну, не получилось, ну, завтра получится... Ты что, в самом деле? Ты, правда, так расстроился? А про ключицу, а про руку, а про голову свою разбитую ты забыл? Забыл, да? А тебе, между прочим, не семнадцать лет...

— Не семнадцать? Это ты верно, Светик. Действительно, не семнадцать... Вот это-то и плохо, хорошие мои, что не семнадцать... И когда ты, наконец, дашь мне пинка под зад — вот тогда-то и ясно станет, что не семнадцать. И тебе ясно станет. И мне, старому дураку...

— Прекрати! Прекрати, Алеша, прошу тебя... Ну, вот... Ну, вот, и слезы покатались. Не сдержалась, разревелась-таки... Ах, ну, зачем ты это все, Алеша? Зачем? Добился все-таки своего... Этого ты добивался? Этого, да? А зачем?

Нет, еще и Ксюшка сегодня — это было бы для него уже слишком... Слишком много для одного дня! Ксюшку он так и не дождался: решил, что лучше завтра придет пораньше, завтра сам заберет ее из сада и проведет уж весь вечер с ней... Поиграет с ней во что-нибудь тихое, почитает ей, а может, и спать ее сам уложит, и еще, может, даже что-нибудь там такое занятное ей на ночь сочинит, посмешит, порадует ее... Нет, действительно: поскребет малость у себя в затылке, покопается в том, что еще осталось у него в ней, в голове. Не все же оно совсем уж выветрилось оттуда, что-нибудь еще там, надо думать, и осталось. Какая-нибудь извилина там все-таки, наверное, еще жива, еще шевелится, если, конечно, ею пошевелить... А сегодня уж нет — хватит! Сегодня уж, дорогие мои, простите меня, сегодня я уж лучше пойду. Пойду, побреду куда-нибудь... Куда пойду? А куда-нибудь, куда ноги несут... И не бойтесь за меня! Я вас обеих очень люблю. Но сегодня больше уж нет. Сегодня больше не могу...

Как он очутился потом на Тверском бульваре, как, зачем его туда занесло? А Бог его знает, как... Все было вроде, как во сне, а, вернее, в полусне. Помнится, ехал в метро, потом, помнится, почему-то, без всякой цели, вылез в «Охотном ряду», потом шел по Тверской вверх, кажется, по той ее стороне, где Долгорукий... Да-да, верно! Еще солнце, помнится, сильно было ему в глаза оттуда, из-за Моссовета, и он даже вынужден был отворачиваться от него, пока пересекал Советскую площадь или как они ее там теперь зовут... Потом, надо думать, спустился в подземный переход у «Елисеевского», не прямо же поперек движению он ее, эту Тверскую, пересек... А вот как спускался, как шел по подземному переходу — вот этого он уже совсем припомнить не мог. И почему он потом не пошел по любимому своему Тверскому бульвару дальше туда, к Никитским воротам, а уселся вот тут, в самом его начале, где когда-то, в теперь уже незапамятные времена, всегда стояли в ряд газетные стенды со свежими республиканскими газетами — и этого он тоже, наверное, не сумел бы объяснить...

А впрочем... А впрочем, чего ж там гадать, почему уселся здесь, а не где-нибудь дальше? Потому, верно, и уселся, что отсюда были видны и Пушкин, и все эти три газетных здания вокруг него на площади. И не только сами здания — даже и окно его бывшего кабинета было видно в одном из них. То самое окно, за которым он там просидел столько лет... Ну, а уж когда сел на скамейку, то, естественно, закинул ногу на ногу, расстегнул куртку и, откинувшись на спинку скамейки, наконец, на свободе закурил... Всю жизнь, между прочим, терпеть не мог курить в спешке, на бегу. Не на то, надо думать, создал Господь Бог эту маленькую радость человеку, чтоб метаться ему, как оглашенному, туда-сюда с сигаретой в зубах...

Да... А интересно все-таки знать: а если он, Алексей Мамонов, скажем, завтра умрет, изменится ли хоть что-нибудь здесь, на этой площади, без него? Хоть на самую малейшую малость — изменится? Хоть на дрожание какой-нибудь веточки у людей над головой, на какой-нибудь один-единственный звук в неумолчном этом гуле, что стоит в ушах, на какую-то пусть самую микроскопическую, самую малюсенькую мелочь во всем этом столпотворении вокруг — людей, машин, троллейбусов, вывесок, домов... Нет, ни черта, Алексей Иваныч, не изменится! И не мечтай. Как будто и не было тебя, брат, и вовсе здесь никогда — ни сегодня, ни вчера, ни тридцать лет назад...

О... А где же между прочим его сумка? Та, что так досаждала, так оттягивала ему руку, пока он добирался туда, на Преображенку... Неужто где-нибудь оставил, потерял? А где он мог ее оставить? Одно из двух: либо там, на Преображенке, либо уже потом, в метро, когда он возвращался оттуда... Господи, совсем уж видно из ума выжил, старый дурак, совсем память потерял! Не может же так быть, чтобы он никак не помнил, с ней ли он уехал с Преображенки или без нее... А вдруг с ней уехал? Вдруг он не на Преображенке, а в метро ее оставил? И поехала она так в вагоне без него до самой до «Юго-Западной», и ищи-свищи ее тогда... А, да что ты, в самом-то деле! Да пес с ней! Нашел о чем тужить — о каком-то тряпье, да о тапочках, да о бритвенном приборе. Ну, и уехала она, эта сумка, от тебя, ну, и что? Книжки, правда, там еще кое-какие были. Хорошие, помнится, книжки. Их-то, если уж так оно все случилось — их-то все-таки жалко... Ну, да положим, а их чего жалеть? Ты их прочел? Прочел. Ну, а по второму разу и не надейся, по второму разу тебе уж их никогда больше не прочесть. Таких-то надежд для тебя больше нет, Алексей Иванович. Их и не может быть...

Нет, но главное-то? Главное-то ты забыл? Причем тут тряпки, тапочки, бритвенный прибор. Причем тут книжки... Коробочка! Коробочка заветная там была. Так, на всякий случай коробочка... Ох, даже в пот вдарило... Неужели и она пропала? Ах, нет... Нет же! Вот она. Вот она где — в другом кармане пиджака... Уф! Слава Богу, здесь. Здесь она! По таблетке ведь в больнице-то скоплена. По одной, строгим счетом, день за днем... И так по-дурацки, за здорово живешь, ее потерять? Ну, слава Богу, что так. Слава Богу, что обошлось... А на сумку плевать! Плевать на сумку. Пусть ее, кому надо, там на «Юго-Западной» и берет. Если, конечно, ее давно уже по дороге кто-нибудь не прихватил...

Он как раз запихивал ее, эту пластиковую коробочку, обратно в карман, когда кто-то невидимый сзади, из-за скамейки, закрыл ему вдруг, как бывало когда-то в детстве, ладонями глаза... Черт! Ах ты, досада какая... И кого это еще там принесло? Вот же невезенье! Шагу в этой проклятой Москве нельзя ступить, чтобы обязательно не наткнуться на кого-то. Стоило только вылезти на свет Божий — и вот, пожалуйста, объясняйся-обнимайся там теперь неизвестно с кем...

Ладони эти были маленькие, мягкие, холодные — явно женские ладони. И сейчас же острый, сладковатый запах от

этих ладоней и вообще от того, кто стоял там у него за спиной, коснулся его ноздрей. Откуда же он знал этот запах? А он его знал! Совсем еще недавно он его знал. Знал и не любил... Секунду-другую он еще было поколебался, а потом, даже не отстраняясь от этих ладоней и без малейшего сомнения в голосе, сказал:

— Инга... Знаю... Инга, ты...

— Ну?! Надо же... Неужели узнал? Так, не видя, и узнал?

— Как видишь. Узнал.

— Значит, Алексей, не быть мне богатой? Значит, меня не перепутаешь ни с кем?

— А вот за это ты, дорогая, не беспокойся... Что-что, а перепутать тебя с кем-нибудь действительно мудрено...

Она, Инга, почти не изменилась с тех пор, как они не виделись. Да и не так уж много времени прошло, как они не виделись — месяцев шесть, от силы семь. Помнится, она еще тогда, дернув эдак победно плечом и не поздоровавшись, промчалась мимо него по коридору, когда он приходил в редакцию в тот, последний свой раз, чтобы получить окончательный расчет... Нет, немного все-таки и она вроде бы изменилась: под подбородком вон, похоже, что начало обвисать, и шея еще больше стала какая-то птичья, еще больше торчит вверх из выреза на груди... А тоже, значит, за модой стала гоняться! Смотри ты, без шарфика, как молодая, и чтобы как можно больше голого места было видно под шеей... Если так, то поздно, милая моя, спохватилась! Таковую-то кожу надо, скорее, уже прятать, а не наружу выставлять. И помада, как всегда, ужасная... И клипсы черт знает, какие клипсы! Всегда вы, Инга Аркадьевна, были у нас по клипсам да по всяким там браслетам чемпион. Ни у кого они не болтались, не лязгали так, как у тебя...

— Ну, как ты, что ты, Алексей? — с места в карьер затараторила она, усаживаясь на скамейку рядом с ним. — Где ты сейчас? Пишешь что-нибудь? Ты совсем, отовсюду исчез! Я, ты же понимаешь, все время ищу где-нибудь твое имя. Ни в демократической печати тебя нет, ни у патриотов, ни даже в правительственной прессе... Что с тобой? Куда ты делся? Говорят, ты пьешь мертвую. Но я не верю! Слышишь? Не верю!.. А может, это все-таки верно, что ты пьешь? Это что, действительно, правда так, Алексей? Пьешь?

— Правда, Инга... Ну, насчет мертвую — это, конечно, преувеличение. Так сказать, фольклор... А так... Бывает! Пью, конечно, помаленьку... Так кто же сейчас не пьет? Все пьют... А что ж еще прикажешь делать сейчас порядочному

человеку? Эпоха, Инга! Времена теперь такие. Иначе, похоже, и не проживешь...

— Порядочному? Ты считаешь, Алексей, что порядочно — сейчас пить? Именно сегодня, сейчас?

— Это, Инга Аркадьевна, смотря по тому, что ты понимаешь под порядочностью... И что под словом «сейчас»...

— А, Алексей, брось! Опять эта твоя софистика. Опять поиски оправдания всему... Не притворяйся! Ты очень даже прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Да, именно сейчас, когда каждый порядочный человек на счету. Когда страна валится в пропасть, когда мы вот-вот рухнем...

— Постой, Инга! Погоди. Не трещи... Слушай, у меня, дорогая, к тебе вопрос... Странно, но я сегодня уже не в первый раз думаю о тебе...

— Да? Вопрос? Какой вопрос, Алексей?

— Помнишь этот наш вечер с тобой? Ну, тот, помнишь, пятнадцать лет назад? У Артема Айрапетяна на квартире... Ты не помнишь, в соседней комнате очень тогда шумели? Большой там гвалт стоял?.. И еще я, знаешь, все никак не вспомню... Мы тогда с тобой заперли дверь на ключ или нет? Или она так и стояла тогда только прикрытой — валяй, заходи все, кому не лень?

— Алексей!

— А что? Что — Алексей? Чего ты, собственно, восторщилась? Ну, подумаешь, спросил... Значит, мне это надо было, раз спросил... Что было, дорогая, то было. И, по-моему, не так уж плохо было... Или нет? Или и не было никогда ничего?

— Я не про то! Я не про то, было или не было... Мне интересно знать, почему ты спросил? Вообще почему спросил?

— Ну, какая тебе разница — почему? Говорю тебе — надо, раз спросил...

— Надо? А зачем, собственно, надо, Алексей? Может тебя под старость совесть стала заедать? Может, оттого и спросил?.. Боже, какая же я дура тогда была! Какая дура, кому рассказать... Как я верила тогда тебе, какими глазами смотрела на тебя...

— А теперь не смотришь? Теперь не моя, теперь твоя очередь жалеть меня? Так?

— Жалеть? Это ты-то меня жалел? Когда же это, интересно знать, было? Алексей, не смей!

— Понимаешь, жалел, Инга... И прости, жалею. Даже и сейчас...

— Алексей, ты все-таки пижон! Всегда был пижон. И так, видно, и останешься им до конца своих дней... Жалел? Жалеешь? А ты меня спросил, нужна мне твоя жалость? Или нет?

— Да ты не надо, Инга, не фыркай... И не дергайся так... Черт возьми, до чего ж у вас у всех мозги теперь вывихнуты! Все не по-человечьи. Все наоборот... А спросил я тебя... А спросил я тебя, дорогая, потому, что сегодня, понимаешь ли, в первый раз в жизни я сплоховал. В первый раз в жизни не смог... И, заметь, никакого шума не было за дверями. И никакой магнитофон не орал, и дверь не надо было запирать... И человек-то мой! Мой, понимаешь? А вот, походишь ты, не смог...

— А просто пить надо меньше, Алексей Иванович! Меньше, это понятно, нет? Вот и все, и вся проблема... И за всякими там красотками волочиться тоже пора кончать... Ты уже не в том возрасте, чтобы продолжать разыгрывать из себя Дон Жуана! Не скрою, раньше, конечно, у тебя это хорошо получалось...

— Хорошо? А что хорошо получалось, Инга? Что ты имеешь в виду? Уточни... Как мой сын говорит: всякие там танцы-шманцы-обжиманцы? Или дело? Сам, так сказать, процесс?

— Алексей, не хаами!

— А я и не хамлю, Инга... Мне только хотелось знать мнение эксперта. А ты ведь по этой проблеме под названием «Алексей Мамонов» все-таки у нас, как никак, эксперт. Или, скажем так, была эксперт...

— Алексей, я не понимаю... Что ты мне сейчас силичишься доказать? Хочешь оправдаться передо мной? Тогда брось, не старайся! Раньше это надо было делать. Когда я тебя еще ждала, тогда, пятнадцать лет назад... А так, когда плохо тебе стало... Когда ты покрыл себя позором, когда люди за твое соглашательство отвернулись от тебя... Тогда и Инга опять нужна стала, да? Инга, пожалей: я старый, я импотент, меня девушки не любят...

— Слушай... Слушай, Инга... Лучше ты иди, а? Я, и правда, старый. И, наверно, и правда импотент... Но, заметь, это не я — это ты подошла ко мне с четверть часа назад. А ведь могла бы, наверно, и не подходить...

А тоже, видать, начала сдавать и она! Она, Инга, самоназначенный друг и поверенный его в делах в течение стольких лет. Самый стойкий, самый, наверно, нескгибаемый в Москве борец за человеческие права — за все, какие они только

есть на свете и каких только нет... Смотри ты, что делается! И последнего слова вопреки себе за собой не оставила. Просто встала и ушла... Ну, и слава-те, Господи, что ушла! Очень бы хотелось думать, Алексей Иванович, что это последняя плата, последний твой взнос по старым долгам. Ничего-то в жизни, дорогой мой, даром, видать, не обходится! И за все в этой жизни надо платить... А особенно, видимо, за всякое насилие над собой... И иногда дорого платить! Иногда даже всю жизнь.

Нет, правда: ничего, похоже, хорошего из всякого такого вот самопринуждения никогда в жизни не получается. А получается всегда только одно — получается черт знает что... И в малом, и в большом все едино — черт знает что... Если бы вот, скажем... Если бы, скажем, он, Алексей, тогда еще, тридцать лет назад, ответил бы как-то по-другому на то паническое Татино письмо, что пришло тогда из Норильска? Ведь, согласишься, надавил тогда немного на себя? Надавил. А может, будь по-другому, и жизнь у нее тогда сложилась бы как-нибудь иначе, не так нескладно, как сейчас? Без всякой там Светланы... А и ей, а Светлане, какая от тебя в итоге получилась радость? От того, что ты и ее вроде как поначалу пожалел? Тоже, между прочим, спаситель нашелся! Для молодой-то, красивой женщины в тридцать лет... Ну, так и что, что она тогда одна была? Что заметалась, затосковала после развода с мужем, что сама тебя нашла, сама тебе кинулась на шею? А ты-то — ты-то куда, старый осел, смотрел? Ты-то куда сунулся в свои пятьдесят-то с лишним лет? Да еще и Ксюшку потом родили... Ну, и что теперь? Что ей, Светлане, теперь с тобой делать? Что ей от тебя ждать? Нет, недаром дорога в ад, как известно, вымощена добрыми намерениями. И недаром за каждым вроде бы добрым делом, если приглядеться, вечно ухмыляющаяся рожа Мефистофеля торчит...

О, нет... Нет, Алексей Иванович! Так нельзя... Эдак тебя далеко занесет. Очень далеко... Что же тогда получается? Получается так: получается, что как затрепыхалось, рвануло у тебя что-нибудь такое из души, что-нибудь искреннее, непродуманное — так сразу и давай, туши? Заливай, таскай поскорее ведра с водой, пока не занялось, пока не разгорелось до небес? Нет, тут, брат, никакого закона нет! И не ищи его, этого закона. Нет его! Вообще нет. Да и не может его, такого закона, быть...

Нет, довольно... Довольно, Алексей Иванович! Тверской бульвар — это тебе не больница, где, кроме койки, да пу-

зырьков с лекарствами, да храпа соседей по палате, больше и нет ничего... Это тебе не больница, это опять жизнь. И как не мог ты ее и раньше уже выдержать без стакана, так, видно, и теперь тебе без него не обойтись. Слишком там, в больнице, опять умный стал... Вон, видишь, куда тебя опять занесло! Нужно, стоит ли принуждать себя в жизни к чему бы то ни было или нет? И кто виноват, а кто нет, не виноват? И где в этой жизни ты, а где другие, а где рок? Пустое это все! Никто и никогда тебе этого не скажет: вот это твоя, Алексея Мамонова, вина, а это другого вина. А это еще чья-нибудь вина. А это уж виноват Господь Бог, или дьявол, или там случай. Или судьба...

Да... А вот пешком до Новодевичьего — по бульварам, по Пречистенке, по Большой Пироговской — ему уже сегодня, пожалуй, что и не дойти. Даже вот так, налегке, без сумки в руках — нет, похоже, что не дойти. Слишком все-таки много сегодня чего было... А, честно сказать, хотелось дойти! Хотелось еще воздухом подышать, весеннему теплу порадоваться, посмотреть на Москву, какая она тут стала без него... Нет, пешком, Алексей Иванович, отложим! Отложим до другого раза. Благо вон и остановка твоего троллейбуса рядом, и народу на ней, смотри ты, странно, но не много. Как раз, видно, это маленькое окошко, что обычно бывает перед самым часом пик. Давай-ка, поднимайся ты, пока еще не поздно! Пока еще опять это все родное наше, московское, не началось...

— Ну, слава-те, Господи! Живой... Наконец-то! Наконец-то, Алеша... Заждалась! — открыла ему их обитую черным дермантином, уже потрескавшуюся кое-где входную дверь жена. — Ты что, ты пустой? А сумка твоя где? В больнице оставил? Или... Или там, на Преображенке?

— Нет, Тата. Не в больнице. Скорее всего, на Преображенке. Скорее всего, там... Одним словом, не помню, где оставил. Хорошо еще, если там, а не в метро... Из больницы-то я ее взял, ты не думай. Я это точно помню. А вот куда она потом делась — знаешь, как отшибло... Не помню — и все...

— Ну, и ладно! Ну, и пусть... Слава Богу, сам-то хоть целый. А сумка что — сумка плевать... Давай, я тебе куртку помогу снять... Как рука-то? Еще болит?

— Знаешь, Тата, болит. Все-таки еще болит. Особенно, если дернешь ею неосторожно. И грудь еще тоже побаливает... Но знаешь, Тата, ничего! Так жить можно. Так я уже не совсем инвалид... Ну, что? Как у нас тут жизнь? Порядок — все как всегда?

— Да вроде бы так... Вроде бы, как всегда...

— Сидишь, телевизор смотришь? И как всегда, небось, чертыхаешься на то, что смотришь? Так, да?

— Чертыхаюсь? Чертыхаюсь, Алеша, — мягко сказано! Иногда, знаешь, чуть сознание не теряю от злости... Особенно в последние два дня. Съезд показывают... Боже мой, Алеша, за что нам так, а? За что, за какие грехи? Несчастливая страна, несчастный народ... И это они, наши лидеры, наши вожди?! А за ними все рыла, рыла... Боже мой, Алеша, какие же рыла... И это — мы?! Ты мне скажи — это все мы, да?

— А кто же, как не мы? Конечно, мы, Тата! Мы и есть. И никто другой...

— Нет, Алеша... Неправда! Это не мы... Это они! Ты-то вот нормальный человек. И я нормальная. И Костыка нормальный. И соседи у нас нормальные. И по улице нормальные люди идут... А эти-то все откуда взялись? Откуда они выискались на нашу голову, а? А самое главное — за что?!

— Не знаю, Тата, за что. За все, наверное! Да и вообще, спросила бы ты лучше что-нибудь полегче, а? Что ты ко мне-то прицепилась? Откуда я знаю — за что? И я, что ли, их всех навывбирал?

— О, Господи... И правда, что это я, дура, на тебя накинулась? Прямо с порога накинулась... Прости... Сидела тут, злилась без тебя. Да пропади они пропадом, весь этот ихний съезд... Ты как, ужинать будешь? Пойдем на кухню. Я тут, кстати, кое-что приготовила... Не все же мне было у телевизора сидеть...

И все-таки, что ни говори, тридцать лет есть тридцать лет! Когда тридцать лет вместе за плечами, когда все они прожиты бок о бок — это много значит. Очень много значит... Ну, хотя бы это значит то, что можно сидеть так вот друг против друга и говорить, говорить, говорить... А можно, если не хочется, и ни слова не говорить, молчать каждому о чем-то там о своем и не испытывать ни малейшего неудобства от того, что молчишь... Ну, действительно, поговорили о том — о сем, обсудили какие-то мелкие житейские дела, повздыхали вместе, поругали большевиков, поругали демократов, пожаловались друг другу на возраст, на отвратительное настроение, на то, какой она вообще теперь стала, жизнь... Ну, и чаю, конечно, вместе попили, и пироги ее, специально испеченные к его приходу, он похвалил... И сына, конечно, обсудили, порадовались вместе за него, хотя, конечно, и постучав при этом по дере-

ву, чтобы не сглазить: уж больно у него все удачно идет, даже, пожалуй, слишком удачно! Это ведь не только радуется, это ж в то же время и пугает, когда все слишком уж так удачно идет...

Ну, а потом что — спать? Да, пожалуй, что пора уже и спать. Двенадцатый час уже... А где ему, Алексею, лучше сегодня постелить? В спальне? Или ему лучше у себя в кабинете лечь? А, понятно: конечно, соскучился по своим книжкам, по кабинету, по письменному столу. Полтора месяца ведь дома не был. Ну, это дело минутное — подушку да плед, да свежую простынь на диван постелить... Да, Алеша, вот еще что: если пить ночью захочется, не забудь, там, в холодильнике, морс стоит. Тоже только сегодня сваренный... Что? Что ты говоришь? Выпить немного? Ну, конечно, и выпить там тоже есть. Этот, сосед-то наш, оказался очень обязательным человеком. Даже слишком обязательным... А только бы не стоило тебе сейчас, Алеша! Не надо бы тебе пить. Ты же болен еще. Ложись лучше сразу, не сиди. Ты, похоже, здорово устал: бледный весь, глаза вон ввалились. Тебе и стакана сейчас не надо. Ручаюсь, и так, без него, уснешь... Ну: спокойной ночи! До завтра, Алеша... Правда, ложился бы, а? Не сиди долго. Завтра — завтра газеты все просмотришь. А сейчас ложись, не сиди. Ты не хорохорься, ты еще не здоров! Тебе теперь надо много спать... Ну, пока. Спокойной ночи. Спи...

Э, нет, Наталья Владимировна... Нет, дорогая ты моя! Не будем мы сейчас спать. Никакого желания нет сейчас спать... А мы лучше вот что... Мы тихо тут, в кресле, посидим, полистаем газеты, дождемся, пока ты там ляжешь, а потом... А потом достанем из холодильника бутылку, нальем себе стакан, закурим и... И посидим! Долго посидим, сколько душа запросит... И, наверное, лучше тут, в кабинете, посидим, не на кухне, чтобы тебя там чем ненароком не разбудить. Здесь-то дверь тяжелая, здесь она плотно закрывается, а там, на кухне, не дай Бог, чайником громыхнешь или стулом невзначай двинешь — сразу по всей квартире слышно... А тут нет, тут у нас всегда тихо! Как в гробу. Особенно, если еще и шторы на окне задернуть, чтобы уж и с улицы ни звука не доносилось. Тогда-то ты, Алексей Иванович, уж истинно «наедине с собой». Как говаривал, кажется, еще Марк Аврелий... Истинно, истинно ты один...

А чего еще, собственно, и хотеть сегодня человеку, как хоть так, хоть ненадолго, оборвать этот ни на минуту не умолкающий в ушах грохот и скрежет от рушащегося по-

всюду здания жизни? Нет, великое дело — стакан... Великий лекарь, Великий чародей... А теперь, с непривычки-то после долгого воздержания — и вовсе хорошо! И сигаретку, смотри ты, не успел выкурить, как полегчало... Полегчало, потеплело на душе! Потеплело на сердце. И голова затуманилась, поплыла куда-то, и все эти душу измотавшие мысли как-то сами собой смягчились... Нет, правда! Всего один стакан — и нет уже в них, в мыслях, ни этой густоты, ни едкости того перенасыщенного донельзя раствора, что разъедает собой все, на что он только ни попал хоть самой малой своей каплей. И нет уже в тебе этой умственной, изнутри натуги, этого безнадежного стремления проникнуть куда-то вглубь, за тот неведомый никому барьер, за который, как ни напрягайся, все равно ты не проникнешь. А раз не проникнешь, значит, и не поймешь никогда и ничего... Ну, и не поймешь! Ну, и ладно, и пес с ним, что не поймешь... И не трещит уже после него, после стакана, твой мозг от бессилия. И не тянутся, не лопаются, как ткань на разрыве, твои мысли. А лишь медленно, лениво текут себе и текут дальше, то и дело теряя между собой связь и пропадая куда-то, а потом — но уже смутнее, размытее и, конечно же, уже не так больно — возникая вновь...

И еще одно. И, может быть, самое главное... Нет, не так уже, когда глотнешь свое, оно все и кажется-то страшным... Страшным? А что, собственно, тебе кажется таким уж страшным? О, многое что кажется страшным! Слишком многое... И прежде всего, конечно, то, что получен наконец от жизни этот сигнал: что пора кончать, пора завязывать, что ты действительно уже старик. Что ты, и правда, стал, что называется, импотент... Да-да, Алексей Иванович! Как ни крути, как ни фыркай, а так именно оно и называется — импотент. Твой-то друг, Инга Аркадьевна твоя, она, дорогой мой, права! Она, как известно, человек прямой, она-то там во всех твоих соплях копать не обязана — к чему это все ей? Она тебе прямо и четко сказала, как припечатала: импотент... Как же! Разбежался... «И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских поседельный...» А дальше-то как? А дальше как — ты что, забыл? «Снести не мог он от жены высокомерного презренья...» Значит, заслужил твой Флавий! Значит, знал, за что на смерть шел. Ну, а уж Клеопатра там, надо думать, просто так, к случаю, подвернулась. Он бы, несомненно, и сам, без нее, на меч бы свой в конце концов бросился. Или бы чашу с ядом принял. Одним словом, сам бы все решил, с честью — как оно и подобало тогда римскому

легионеру. И тогда подобало, и после, и всегда, во все века... Либо все, либо ничего! И то: да кому это нужно — жил, жил человек полной грудью, а потом нате вам? Никому это не нужно. И если есть силы не мириться с этим, значит, и не надо с этим мириться, надо самому все решать. А силы, видно, были. Ну, вот... Ну, вот, он и решил...

А что все-таки... А что все-таки это значит — силы? Какие они нужны, эти самые силы, чтобы в конце концов самому все решить?.. Какие? Ну, во-первых, надо, видимо, до отчаяния любить свое прошлое. Либо, но тоже уж до отчаяния, наоборот, ненавидеть его... И с этой точки зрения, ты, к примеру, Алексей Иванович, к какой стороне относишься: к тем, кто дорожит им, своим прошлым, или, напротив, ненавидит его? Нет, скорее, что к тем, кто дорожит! Скорее, к ним... Да что там говорить... Прекрасное было прошлое! Мое бывшее прошлое! И никому не отдам свое прошлое! О, Господи, дурень... Кулаком-то по столу зачем? Ишь, как грохнул! Так и Тату разбудишь, и стол, гляди, вдребезги разнесешь. А уж он-то, стол, и вовсе ни в чем перед тобой не виноват... И вообще... И вообще, ты чего это, собственно говоря, разбушевался? Чего по столу-то кулаком стучать? Да так ли оно уж и было хорошо, это твое прошлое? Что, и Сталина своей юности не отдашь? И Хлыстуна-Бушмарина не отдашь? И подвал на Скотопрогонной тоже не отдашь?.. Нет, и их не отдам! Называйте меня, как хотите: рабом, извращенцем, мазохистом — но и их не отдам. Никому не отдам... Мое прошлое — это мое прошлое! И другого никакого у меня и не было... Зачем же это я его должен отдавать?

А нынешнее свое... Это свое разбитое вдрызг корыто... А его, интересно знать — тоже, Алексей Иванович, жалко? Тоже не отдашь? Ну, с этим-то, положим, легче. Это не прошлое... И это-то как раз и будет у нас во-вторых... И здесь не так, как во-первых! Здесь уж нет и не может быть никакой этой путаницы, никаких этих либо-либо. Только так, только однозначно: надо до печенок ненавидеть свое настоящее и надо ни в чем не верить ни в какое свое будущее, чтобы самому все решить... Какое было настоящее, какое было будущее у твоего этого Флавия? Никакого настоящего, никакого будущего не было. По крайней мере, никакого, достойного его! И никаких надежд не было. А они, римляне, были слишком мужественные люди, честные люди, чтобы юлить перед жизнью, обманывать себя... Ну, а отсюда и сила была, чтобы самому все решить... Вот и все. Вот и вся премудрость! Вот и весь, Алексей Иванович, тебе, как говорится, сказ...

Ах, куда все-таки, в какие же такие дальние времена и страны ты поплыла, многодумная моя головушка... Древний Рим, Клеопатра, Египет, Нил... И ты поплыла, и все вместе с тобой вокруг поплыло: и лампа под абажуром поплыла, и письменный стол с чугунным Дон Кихотом на нем; и книжки там, за стеклами шкафов... И гравюрочки по стенам тоже закачались, затуманились, и, как ни сился, как ни щурь глаза, ничего ты и на них уже не разберешь... А впрочем, чего ж там и разбирать? И так знаешь, что на них нарисовано: миллион раз, наверное, смотрел на эти гравюрочки, миллион раз думал про них... Одна — Утамаро, гейша перед зеркалом. А может, и не гейша... Ну, в общем, красавица какая-то японская в кимоно. С раскосыми глазами и большой длинной булавкой в волосах. И сама на себя в зеркале любит, смотрит, изучает, глаз не может от себя оторвать... А шея — Господи, одна шея чего стоит! Не может быть, чтобы и на самом деле у кого-нибудь на свете была такая шея. Пусть и в XVIII веке... Да нет, в Японии все возможно! В Японии, может быть, и на самом деле такая шея была. А может, и сейчас еще она такая где-нибудь там есть... Нет, это не шея. Это идея шеи! Это сама та мысль, которую Творец вложил в нее, в шею женщины. И камни в японских этих каменных садах — не камни на самом деле, а мысль Бога о камнях. И скрюченные их столетние деревца — карлики, и крохотные водопадики, и вишня в цвету, и букеты из сухих веточек, из ковыля, и хризантемы, и эти их бумажные зонты под дождем — это все не вещи, это мысли Творца о них, о вещах... Ах, хорошо, что хоть раз в жизни, но занесло его-таки туда, на Японские острова! И хорошо, что он тогда не поспешил — купил эту гейшу... И еще другую литографию тоже купил, что теперь тоже висит у него, только в другом углу кабинета: Хокусай, Фудзи в снегу, и море, и волна с седой гривой, взметнувшаяся почти до небес, и утлая лодчонка с человечками в этой волне...

Э-эх! Как говорится, «черт дернул меня с моим умом и талантом родиться в этой стране...» В России родиться! Именно в ней, не где-нибудь еще... И кто же знает, как бы оно все там было, если бы не здесь ему родиться, а где-нибудь в другом месте... Как было бы? А почему ты думаешь, что там было бы по-другому? Почему ты думаешь, что и там люди не спрашивают себя о том же, что и ты: так кто же в конце концов сумасшедший — я или мир? Спрашивают! Конечно же, спрашивают. Только, может быть, не так

часто спрашивают, как здесь. А так что ж... А так люди везде люди, и если они спрашивают себя об этом здесь, то точно так же, надо думать, спрашивают себя и там... Что ж гневаться, Алексей Иваныч, на плохие декорации в театре, если сама пьеса плоха? Декорации что! Они могут быть такие, могут быть другие. А пьеса-то одна. Везде она, похоже, что одна...

Так что, Алексей Мамонов, — наливай. Наливай! Там еще осталось, что налить. Бутылка-то, по счастью, большая, не пол-литровая... Это какой же по счету стакан у нас с тобой будет, а? Третий? Ну, что ж, ну, и третий... О, да куда же ты, дурень, льешь? Мимо же льешь! Смотри ты, совсем растренировался, совсем квалификацию потерял. И стакан уже — и то по-человечески налить не можешь... Только продукт зря изводишь... Эх, старость, старость, сказал Тарас! Сказал и заплакал старый Тарас...

Постой, постой... А это... А это что, интересно знать, там в углу? В углу под потолком? Вроде как паук... Паук? Откуда он здесь, паук, да еще в марте? В марте они вроде бы еще спят, не может быть в марте никаких пауков. Да еще таких огромных, как этот... Ишь, какой мохнатый! И лапками, смотри-ка, шевелит. Паутину, небось, плетет... Фу-ты... Да нет же, нет там никакого паука! И паутины никакой нет. Померещилось! Спьяну померещилось, Алексей Иваныч. Пить надо меньше, как твоя Инга Аркадьевна говорит... Эдак недолго и самому на потолок залезть. Как тот Грегор Замза у Кафки... А что? Наверное, был бы выход! И неплохой, скажу тебе, выход. Сидеть так под потолком в углу, куда до тебя ниоткуда не достать, и дремать, и просыпаться, и плести, не торопясь, свою паутину, и поглядывать оттуда изредка, как там, внизу, идут без тебя дела...

А! Чушь! Чушь, Алексей Иваныч... Во-первых, Тата как-нибудь походя сметет тебя в конце концов оттуда щеткой, и все дела. И правильно сделает, что сметет — не порти мироздание! А во-вторых, тоже ведь придется за какой-нибудь мухой охотиться. Святым-то духом и там, под потолком, не проживешь. Тоже ведь чья-то кровь нужна, чтобы прожить... Нет, нечего завидовать, Алексей Мамонов! И пауку нечего завидовать. У тебя свои проблемы, у него свои проблемы. А тем более, что на самом-то деле его, как выяснилось, и никакого нет, этого паука... И вообще надо не завидовать, Алексей Иваныч. Надо решать! Ну, а пока... А пока не решил, давай-ка себе еще на мизинец нальем... Нальем и подремлем чуток здесь, в крес-

ле... До дивана-то еще надо ползти! Эва, как далеко до него ползти... А здесь хорошо, здесь и рука не болит, и двигаться никуда не надо. Надо только глаза закрыть... Закрыть, отвернуть голову от лампы, чтобы свет не доставал... И шабаш! И, как говорится, ваших нет... И шабаш... И ваших, понимаешь ли, нет...

...О! Что это? Где же это я?... А, дома, в кресле! Не в больнице. Господи, совсем от всего отвык... Я же вчера домой пришел! Из больницы. С Татой разговаривал... А времени сколько? Четыре... Утра? Надо думать, что утра. Лампа вон непотушенная горит. И бутылка на столе стоит недопитая, и стакан, и пепельница с окурками. И пачка печенья вон раскрытая лежит... О, Господи, какая же тупая, тяжелая голова... Одно слово — самогон... И во рту будто взвод солдат ночевал... Это сколько же, интересно знать, я спал? Часа, наверное, два-три, не больше. Что ж, выходит, так и проспал их в кресле, не шелохнувшись? Выходит, так, Выходит, так и проспал... А! Так ты же, Алексей Иваныч, теперь импотент! Ты понимаешь, что ты теперь импотент? Понимаю... Понимаю, дорогие мои! Чего ж тут не понять... Ну, а еще чего вчера было? А еще, помнится, какой-то паук был в углу, на стене. Большой паук... А ну его к черту, этого паука! К черту! Его и не было на самом-то деле, этого паука. Тоже мне, Грегор Замза нашелся... Ох, как руки-то, однако, дрожат... И озноб! Отчего это, интересно знать, холод такой в доме? Такой озноб? Батарей, что ли, отключили? Так ведь рано еще, еще только март... Нет, все-таки отключили, наверное, сукины дети... Ну, прямо, понимаешь ли, смерть! Ну, прямо колотун... И крутит чего-то, все крутит изнутри.. Ноет, тянет поясницу... Даже сидеть больно, как тянет! И куда-то все в позвоночник, в самый позвоночный столб отдает...

Ну, с этим-то мы знаем, что делать! И с головой, и со взводом солдат во рту, и с поясницей — знаем, что делать. Нальем сейчас еще чуть-чуть — и все пройдет. Разом все пройдет! Технология простая, друг мой Алексей Иваныч. Надо только еще на мизинец — на два себе налить — и все пройдет... Только осторожней, осторожней! Не расплескай. Руки-то, гляди, ходуном ходят. Тогда придется за другой бутылкой на кухню выходить. Новую начинать придется... А выходить не хочется. Зачем нам выходить? Нам и тут хорошо. И вставать не надо, и выходить никуда не надо. Все у нас тут есть... Чуешь? Вон и тепло стало, и дрожи никакой нет. И голове, смотри ты, сразу полегчало... Тепло

стало, хорошо... А глаза слипаются, слипаются... Эх, надо бы на диван перелезть! Да, видно, уж лучше так. Лучше уж в другой раз. Как-нибудь в другой раз... Никуда он от нас, этот самый диван, не денется. Мы еще доберемся до него когда-нибудь! Завтра доберемся. А теперь нет. Теперь сил нет никаких... Теперь шабаш...

...Так! Без четверти семь. Похоже, что утро уже... Конечно, утро! Вон, и рассвет сквозь шторы пробивается. И машину кто-то под окном уж всюю гоняет. Никак она у него, у бедолаги, завестись не может... Ишь, как ревет! Ну, вот, опять заглохла. Смотри ты, никак не желает заводиться, проклятая. Аккумулятор, видно, дохлый. Или свечи уже ни в какую... А может, это твоя машина, Алексей Иваныч, а? Может, это она и не заводится? Что-то звук больно знакомый... А что? Вполне возможно. Может, это он, благодетель, сосед-то твой, с утра уже в извоз собрался. И правильно, если собрался. С утра-то, наверное, и самый извоз. С утра-то некому мешать... И милиция, и рэкетеры, и таксисты-конкуренты — все они, мать их всех так, небось, еще спят. Это все такой народ — надрываться не любят! Чего им, и правда, спозаранку-то надрываться? У них и так денег, сколько хочешь. А Прокопыч человек рабочий — ему семью кормить надо... Ага, завелась-таки, зараза! Уехала! Ну, конечно — машина все-таки еще не старая. В умелых-то руках она еще, небось, хоть куда...

Ах, ты, черт! Алексей Иваныч! А бутылка-то, оказывается, пуста... Совершенно пуста бутылка... А выпить надо... О, как надо! Именно сейчас надо... Иначе нельзя. Иначе недолго и помереть... Значит, что ж... Значит, опять вы в кресле проснулись, Алексей Иваныч? Опять в нем? Ну, теперь-то ты, брат, уже в нем не отсидишься! Теперь вставать надо. На кухню идти, новую из холодильника доставать... Да и до туалета не худо бы добраться. Тоже природа своего требует... Ох! Ох, как крутит-то, вертит-то всего... Как скрючивает! С ног до головы — в штопор, в винт. В ржавый винт с левой резьбой... А голова-то! Мать ты моя, врагу не пожелаешь, какая голова... Алексей Иваныч! Да что ж это такое, в самом-то деле, а? Еще и трясучка, как в падучей... Да что ж это так, дорогой ты мой, тебя разобрало? С отвычки, что ли? Истинно, истинно! Совсем, видать, всякую квалификацию потерял... А, ладно! Все это хреновина... Ахи, вздохи, потерял не потерял... Главное — до кухни сейчас добраться! Да мало добраться — так добраться, чтобы Тату не разбудить, не встретиться с ней там, в ко-

ридоре. Небось, с минуты на минуту тоже проснется... Ну, ничего — мы осторожно! Мы на цыпочках, в носках... Главное, чтобы дверь не скрипнула. И в холодильнике чтоб дверцей не стукнуть... А в туалете вот уж нет — в туалете тихо не получится. В туалете все равно вода проклятая выдаст, когда будешь ее, воду-то, спускать... Да ладно ты не бойся! От туалета-то всего два шага обратно до кабинета. Успеем, надо думать, проскочить...

Уф! Лафа! Проскочили... Ну, теперь нас хрен здесь достанешь! А для верности еще и ключ в замке можно повернуть. Это он, Алексей, хорошо еще когда-то давно придумал — чтобы всегда в кабинете ключ в замке с обратной стороны был. Еще когда от Костыки запирался, когда он еще совсем маленький был. С тех самых пор, он, ключ-то, так в замке и торчит... Ну, так! Ну, вот и хорошо... Ах ты, Господи! Опять... Опять все не так, как надо! Опять все не так, как у людей. Кто ж это, интересно знать, придумал, чтобы такой тугой пробкой бутылку заткнуть? И, надо думать, долго пыхтел-старался, чтобы такую пробку в нее вогнать. От винной бутылки пробку. Это еще надо умудриться, чтоб ее сюда вогнать. Ишь, как ее расперло! Без штопора ее теперь, стерву, не вытащишь... Это что же — опять, значит, на кухню выходить? За штопором? Ну, нет, шалишь... Мы вот что... Мы ее карандашом вниз проткнем... Ух, ты! Не поддается, проклятая. Даже в пот бросило. Пот по лбу потек... Ну, еще усилие! Еще... А, все-таки пошла! Поддалась, такая-сякая, поехала... Ну, Алексей Иваныч? Как говорится, взяли? Господи, благослови... А на паука наплевать! Я тебе точно говорю — наплевать. Его и нет, этого паука. Его и вообще, может быть, и не было никогда... И на Хлыстуна-Бушмарина наплевать! Может, и его на самом деле тоже не было. Может, и он только померещился тебе... И вообще ничего не было! И, если хочешь знать, и тебя самого тоже не было. А если и был... Так скоро не будет. И все дела! И все пройдет... А так — все это чепуха! Было не было — кто ж его теперь разберет? Ты не шуми, Алексей Иваныч. Не шуми. Поздно! Поздно теперь тебе уже шуметь. Время, брат, твое ушло, чтобы шуметь. Ты лучше себе еще налей глоток, так полегче будет... Так совсем будет хорошо! Так ни паука нигде нет, ни Хлыстуна-Бушмарина, ни большевиков, ни демократов, ни тебя самого... И не болит нигде ничего. И опять глаза можно закрыть... Закрыть и не открывать. И все, и шабаш. И ваших, как говорится, нет. Нет и не будет больше никогда... И не

надо никому больше быть! Все это глупости одни — быть, не быть. Одни, понимаешь ли, глупости... И шабаш! И долой. И больше, понимаешь ли, ничего...

А потом было и еще пробуждение. И еще. И еще... И наступил день, а за ним вечер, а потом пришла следующая ночь, а за ней и другая ночь, а за ней потянулась длинная череда дней и ночей, отличить которых друг от друга он, Алексей Мамонов, и вовсе уже не мог. Да, надо сказать, и не пытался отличить...

И были поначалу стуки в дверь — тревожные, настойчивые стуки, выводившие его в конце концов из забытья. И были полные слез глаза Таты в коридоре или на кухне, когда он, шатаясь и мыча, все-таки вылезал ненадолго из своей берлоги, и были какие-то тихие, уговаривающие ее слова, обращенные к нему, которых он, похоже, что даже и не слышал. И даже, кажется, где-то в этом тумане мелькнуло однажды лицо Костыки, сына, что-то спрашивавшего у него, что-то предлагавшего ему, только никак было не понять, что... И было кресло, и был диван, и была ночь, а вернее, ночи, и рассвет за окном, и очередная бутылка с самогонном на столе, и время от времени — черный, медленно перебиравший лапами паук в углу, там, наверху, под самым потолком. А может быть, то был вовсе и не паук — то был Хлыстун-Бушмарин, особенно, если это случалось поближе к утру: ухмыльнется, подмигнет ему оттуда и тут же сам собой исчезает, растворится, непонятно, куда, чтобы всего лишь через мгновение появиться, как ни в чем ни бывало, там в углу, вновь...

Что ж! Запил Алексей Мамонов. В запой, как у нас говорят, вошел. В долгий, беспробудный, русский запой — тот самый, что, бывает, наступает у нас пьющего человека, неизвестно; почему, неизвестно, когда и, неизвестно, где... И кто ж его когда знает, чем он может кончиться, этот проклятый наш запой? Может кончиться чем-то действительно ужасным — ужасным и для самого запившего мертвую человека, и для окружающих его, чем-то таким кончиться, после чего уже от жизни воистину остаются либо одни обломки, либо, и того хуже, вообще ничего. А может кончиться и слезами, покаянием, просьбами о прощении у всех и прежде всего у самого себя, и, конечно же, клятвами с понедельника, никак не позже, начать новую жизнь... Чем он, запой, кончается у русского человека — это дело, извините, сугубо личное, штучное. Это уж как оно там получится! Это уж, что называется, кому как повезет.

А что, в самом-то деле? А может быть, и правда? Может, хватит ему, президенту процветающей, целиком устремленной в будущее фирмы «Проминвест», одному из самых известных бизнесменов Москвы, уважаемому, солидному человеку, таскаться — в его-то двадцать восемь лет? Ему, Косте Мамонову, который все уже в жизни видел, везде, хоть в Тьмутаракани, хоть в Америке, был, всех шлюх, что только можно, передрал, всякую гульбу превзошел, все двери жизни уже открыл, распахнул — причем сам, без всякой посторонней помощи, своим, не чьим-нибудь еще, ключом, а то и просто ногой?

Может, мать и права: пора, как она говорит, остепениться? Остепениться и жениться, и перестать, как дворовому кобелю, бегать за кем ни попадя, кто только хвостом ни махнет... Ну, положим, с этим-то теперь все-таки не так, как раньше. За все то время, что наша милая докторша с нами, только раз-другой и сорвался. И то, признаться, только по пьяни, когда очень уж надо было: вынь да положи прямо сейчас, а до завтра нет — до завтра не дотерпеть... А так — хоть записную книжку выбрасывай! За полной ее ненужностью. Кроме докторши, никому больше сто лет уже, наверное, как не звонил. Уж и позабыли все, наверное, про него... Позабыли? Да, конечно, позабыли! Актив, как известно, надо держать постоянно в действии, постоянно в напряжении. А если хронический простой — тогда какой же он актив? И чего ж тогда от него и ждать, от этого актива? На вас, Константин Алексеевич, извините, свет клином не сошелся. Небось, и повеселее вас, и побогаче, слава Богу, мужики есть...

Нет, раз уж такая, прямо скажем, подрывная мысль — насчет жениться — завелась, раз она родилась однажды сама собой в голове, прогнать ее оттуда, как ни старайся, нелегко. Трудно ее прогнать! Сколько ни говори себе: на кой черт он тебе, этот хомут на шею, когда кругом столько еще дел, столько возможностей, столько нового в жизни... Нет, если уж она поселилась в тебе, эта мысль, избавиться от нее, похоже, не может ничто... Ну, разве что гипнотизера пригласить, чтобы он тебя заколдовал или, наоборот, расколдовал... Но и-то сказать: заколдует-расколдует, а зачем? Разве тебе это так уж плохо, если каждый твой день начинается со звонка ей, докторше: ты жива там еще, воробышек, не забыла еще про меня? Если потом, до самого вечера, что-то такое теплое все время тихо так лежит, греется там где-то у тебя в

груди? Если почти каждый вечер ты после своего «Проминвеста» ждешь ее либо где-нибудь на площади, как фраер, под часами, либо, если у нее дежурство — то у себя дома, на Вернадского? Ждешь и поглядываешь на часы, и, медленно так, будто во сне, расставляешь к ее приезду на столе бутылки, чашки, цветы для нее, какую-нибудь незамысловатую, но подобранную под ее вкус еду: ведь она придет голодная, усталая, выжатая как лимон, от всех этих своих уродцев, а у тебя дома тепло, мягкий свет, музыка, уют...

И она ждет этого! Она и не скрывает, что она тоже весь день только этого и ждет... Ну, а после... А после что там говорить! Вдохновение, помноженное на передовую, так сказать, технологию да еще на полное, безоглядное бесстыдство — о, Константин Алексеич, это надо ценить! Это бывает, наверное, раз в сто лет. И раз на миллион. И это как раз то, что тебе и надо, за чем ты, может, и родился на свет... Это все от Бога, не от выдумки, не от лукавства человеческого. Мать-природа! А она знает, что творит.

Только... Только вот удастся ли это все, эту природу, сохранить, когда ты на ней действительно женишься? Когда этот самый быт пойдет: ссоры, ребенок, пеленки, скука, и упреки, и разные там: «где был, чего делал, почему сегодня так поздно, почему не позвонил?» Ну, и прочее все, что при этом полагается... Несвобода, она и есть несвобода! И подотчетность — это подотчетность, кто бы ни требовал от тебя в жизни отчета: Бог ли, власть ли, налоговая ли инспекция или твоя же собственная, любимая твоя жена... И чего ты, парень, скажи на милость, рвешься? Чего тебе так-то не живет? Поди плохо! Сам ведь себе хозяин: захотел пришел, захотел ушел, захотел задымить, так дыми себе на здоровье. А захотел в Америку или в Европу махнуть, хоть по делам, хоть в удовольствие — тоже ни у кого согласия спрашивать не надо, и ни о ком душа не болит...

Да и на будущее — кто ж его знает, какое оно там будет, будущее? Конечно, какая-то все-таки вера в него, в это будущее, есть. Безусловно, есть! И чутье подсказывает, что все как-нибудь и в этой нелепой стране тоже в конечном счете образуется. Да и трудно уже и здесь кому бы то ни было все назад развернуть... Трудно? Да, трудно. Но возможно? Может быть, и возможно... Нет! Нельзя все-таки и такой возможности исключать, что опять все крутанется на 180 градусов. Опять загонят всех назад, в наш родной, привычный российский дурдом, в наши эти «Белые столбы»... И тебя, Константин Мамонов, не обольщайся — и тебя тоже

загонят. Сопротивляйся ты, не сопротивляйся... Ишь, разохотился! Свободу, видите ли, почувял. Разохотился — так, значит, смирительную рубашку на тебя надо поплотнее, да еще руки-ноги для верности жгутом связать, чтобы не брыкался — только и всего. А то и вообще в расход. И все, и с концами... Ну, нет! Это-то, положим, дудки. Так не будет, кукиш вам всем с маслом! Этого-то вы от нас с Фаридом никогда не дождетесь. За день... Да что там за день! За полчаса учуем и сразу — в Шереметьево. Американская виза в паспорте стоит, денег на билет уж как-нибудь найдем — и ищи-свищи нас тогда по белу свету... А заодно с нами и наш капитал...

Конечно, жалко будет здесь дело оставлять... И какое дело! Нет, не березки будет жалко, а прежде всего именно его — дело... Но и того, что у них с ним, с Фаридом, уже есть там, за бугром — и его уже хватит, чтобы и там не на пустом месте все заново начинать. И там не пропадем! И там еще перед нами будут, как говорится, за версту ломать шапки... Ну и, конечно, не только дело — стариков своих тоже будет жалко. Очень жалко! Но тут уж ничего не поделаешь — их никакими силами уже отсюда с места не сдвинешь. Что бы тут ни произошло — никуда отсюда не поедут, здесь и будут помирать... Ну, а если и не только стариков? Если еще и жена будет, и ребенок — тогда как? Этот-то хвост тебе, Константин Мамонов, при таком-то раскладе зачем? Одно дело самому рисковать, за себя только отвечать. А другое дело — за них.

Эх, Константин Мамонов, Константин Мамонов... Нескладно все-таки, парень, это все у тебя как-то получается! Нескладно. Это хорошо еще, что сам-то твой воробышек ничего не требует, ни на что не намекает! Живет себе, как та птаха небесная: солнышку радуется, по зернышку, где Бог послал, клюет, песенки свои распевает. А день прошел — и слава-те, Господи: чего ж там еще хотеть... Ишь ты! Смотри-ка, как, между прочим, заговорил. Почти, Константин Алексеич, как матушка твоя. Правильно считают, материн ты сын... Но даже и не в этом дело, что это не твои — что это материны слова. А дело, друг ты мой, к сожалению, в том, что это все отнюдь не про нее, не про твоего воробышка сказано. Это на самом деле тебе, а вовсе не ей, так хочется, чтоб так было: чтобы птаха малая рядом с тобой на жердочке щебетала, а ты чтоб только ей клетку изредка проветривал, да водички в блюдечко подливал, да конопляного семечка ей подбрасывал, когда надо подбросить... Какая уж там пташка

Божия! И приручить-то ее толком — и то не можешь до сих пор. А уж, считай, больше полугода прошло... Всякий раз, как только глаза открыла, как из рук выскользнула — так и опять можешь сказать, что не твоя. А чья — Аллах ее ведает! Не только что не твоя, а может быть, даже и не своя. И вообще не отсюда. Вообще, может, даже и не из этого мира...

Нет, прав, наверное, Фарид, когда говорит: «Ни на одной московской дуре не женюсь. Ни за что не женюсь. В Казань поеду! Там мне мать давно невесту присмотрела. Вот школу она кончит — и женюсь...» Или уж на такой тебе, Константин Мамонов, надо жениться, чтоб и не знала в жизни ничего, чтоб без всякой там этой придури была, или уж, если нет, тогда на богатой, с капиталом, с большим приданым. Чтобы род Мамоновых уже даже в этом поколении стал не меньше, чем твои эти все Мамонтовы или Рябушинские. Чтобы высший класс, чтобы на мировой уровень тебе с ней вместе выходить... А уродцев никаких не надо! Нет, не надо никаких уродцев. С ума сойти можно от них, от этих уродцев. Уж лучше за них за всех деньгами заплатить. Щедро заплатить! Но только чтоб не было их здесь никогда... Чтоб даже и в постели с любимой женщиной — и то нельзя было про них забыть...

...А время — пока он так вот путался, плутал во всех своих этих мыслях и рассуждениях, не зная, на что же в конце концов решиться — время, между прочим, шло. И уже кончилась зима, и наступил март... И, что ни говори, неплохое оно было, это время! Более того — хорошее было время. Его время... Вы говорите — смута? И не просто смута — Великая Смута? Как при Лжедмитрии или, будь и он тоже трижды проклят, в том, в 17-ом году? Что ж, кто же спорит! Так оно и есть — действительно, смута... Тяжкая смута! Того и гляди, и кровь вот-вот польется, и уже не там, не где-нибудь, черт-те где, на Кавказе или в Таджикистане, а, не дай Бог, еще и здесь в Москве польется, на московских улицах и площадях... Но, может быть, без нее и нельзя было, без этой смуты? Может, никак, ниоткуда и нельзя было ее избежать, будь мы все хоть семи пядей о лбу? А мы ведь, как известно, отнюдь не семи пядей, вряд ли где еще дурнее нас люди есть... Ну, разве что братушки-сербы да хорваты нас еще по этой части могут перещеголять... Но, скажите, а вообще... А вообще, господа, может ребенок родиться без боли, без крика, без крови, без мучений матери, родившей его? А здесь не просто ребенок — здесь Россия рождается из мук! Новая Россия, другая Россия...

Нет, конечно, и он, Костя, тоже не слепой... И его до печенок, до нервной прямо-таки дрожи раздражала иной раз вся эта бестолочь вокруг, эта нищета, уродство, вся эта внезапно вдруг выплеснувшаяся отовсюду на улицы и перекрестки Москвы грязь... Бог ты мой, какая же она стала безобразная, Москва! Где, по каким таким углам и подворотням она накопила столько мусора, столько дряни — невообразимой, невысказанной дряни? И когда она успела так мгновенно и так отчаянно обветшать? Будто и не было никогда в ней ни одного дворника, ни одной уборщицы или поливальной машины, и ни одной урны на углу, и ни одной, черт ее дери, ремстрой конторы, чтобы хоть что-нибудь, хоть где-нибудь починить... А асфальт, а дорожники, а разные там скреперы-дреперы — куда они-то вдруг все подевались? Ведь ни по одной улице проехать нельзя, чтоб твоя машина, если чуть-чуть заезвался, не ухнула в какую-нибудь яму, а то и того хуже — в открытый какой-то там сволочью подземный люк... Удивительно, что еще вода в домах хоть как-то по трубам течет, что свет еще не вырубается, что метро еще как-то ходит... Ведь не было же всего этого! Еще пару-тройку лет назад не было, он сам тому свидетель... И эта черная, вырви глаз порнуха в подземных переходах — мечта импотентов, и толпы оборванных нищих, и какой-то черномазый эмигрантский сброд, все время толкущийся на Тверской от «Националя» до самого «Макдоналдса», и цыганки с детьми, и «качки» с тупыми, протокольными рожами в каждой палатке либо возле нее... Противно, конечно! Одно слово — беспомощность. Она-то особенно и противна, эта беспомощность. И в первую очередь, конечно, беспомощность властей... А в газетах? А в телевизоре что? О, Аллах! Черт знает что там теперь... Один сплошной крик: караул, погибаем! Спасите, люди добрые: все развалилось, все рассыпалось, все разворовали — кто бы нас, дураков, научил, как нам дальше жить? А самим нам ни за что не разобраться! Нам либо опять подавай назад хозяина с кнутом, либо варягов снова приглашай... А иначе как! Иначе нам хоть ложись да помирай...

Но это ведь все, если объективно, лишь одна сторона медали... А другая... А другая, жизнь отовсюду прет — вот оно что! Поперла жизнь! Проснулся, зашевелился народ. Глаза протирает, плечами, занемевшими от долгого сна, шевелит, пальцы в руках сжимает — разжимает: а что? Оказывается, руки-то действуют! И голова на месте. И ноги, смотри ты, ходят! И начальство кругом, гляди, куда-то все попряталось:

тихо сидит, пугать — стращать людей перестало, совсем перестало. Не до того ему сейчас, начальству-то. Оно само жить хочет, само карманы набивает, хватает вовсю, что плохо лежит. А лежит все так плохо, так плохо — только не зевай!.. И еще, слава Богу, этот трезвон в ушах прекратился — этот омерзительный, бредовый трезвон, от которого всегда, с самого детства, уши так ломило — оглохнуть можно было...

И дела пошли! Так пошли, что теперь уже, видать, и не остановишь... Конечно, налоги, инфляция! Конечно, всякие там разрешения — запрещения, вымогательства, рэкет, уголовщина вокруг. Конечно, без взяток никакой кредит нигде не получишь... Но это ведь все только для американцев или там европейцев страшно! А нам? А нам нет. Мы-то к этому уже притерлись, притерпелись. Всего за два-три года освоили эту всю науку. Нас-то этим уже не проймешь... А зато как быстро деньги растут, дело растет, а? Где еще это сей час в мире возможно, кроме как у нас, чтоб за два, максимум, за три месяца капитал удваивался? Если, конечно, действовать с умом и не хлопать ушами... Нет, правда, скажите: где еще это возможно? Везде максимум за десять—пятнадцать процентов годовых, да еще до вычета налогов, режутся, надрываются изо всех сил. А тут за год — тысяча шестьсот процентов! Это же сказка просто! Кому из нормальных людей там, на Западе, сказать — и не поверит никто... Конечно, кто-то может и возразить: инфляция, дескать! Падающий курс... А что, собственно говоря, курс? Курс за весь прошлый год упал только в два с половиной раза. А капитал с какой скоростью растет? В среднем в шестнадцать раз в год. Это-то, граждане, что? Это-то тоже факт!

Ну, конечно, такой процент — это если только сигаретами, да водкой, да колготками торговать. И еще, конечно, и на нефти, и на некоторых металлах пока такие деньги получают... А вот уже на компьютерах шиш! На компьютерах уже такие деньги не заработаешь. Время прошло, рынок насытился... Ну, еще, конечно, чисто финансовые операции, перепродажа кредитов, игра на валютном курсе — это, при удаче, конечно, тоже почти такой же доход... Но ни на каком заводе или в леспромхозе, или даже на вложениях в городскую недвижимость такой фантастический процент получить и не мечтай... Ну, а если играть не что-нибудь одно, а, как говорится, по всему роялю? Как они это и делают с Фаридом? Если вкладывать и туда, и сюда, и в пятое, и в десятое? Тогда на все денег хватит! Все можно себе позволить.

Тогда можно и спокойно в будущее смотреть... Недаром они с Фаридом и название такое придумали — «Проминвест». Инвест — это понятно или нет? В будущее этот самый инвест! В будущее, а не только в сегодняшний день... Уже сегодня на их заводах работает больше пяти тысяч человек. А что будет через год? Через пять, через десять лет?

А когда от денег, от дел голова свободна... — А тогда она, Ирина! Она, воробышек его нахохлившийся, пригорюнившийся где-то там в углу. Все думающий там о чем-то о своем... А вот и нет! А вот и вовсе даже и не обязательно, чтоб пригорюнилась. Другой раз смотришь — и не пригорюнилась она вовсе даже. Наоборот... Смотри ты, иной раз, как радуется чему-то, воробей! Как растрещалась, расширилась без умолку — не остановить... О чем это она? О чем? А ни о чем! О том, что вот гвоздики такие большие, красные, на столе ей очень, видишь ли, нравятся, что шоколад ты где-то отыскал тот самый, который она, оказывается, всю жизнь любила, о том, что этот галстук бабочкой необыкновенно, ну, просто восхитительно тебе идет — так ты прямо, как Аллен Делон. Это ты для нее сегодня надел, да? Специально для нее? Ох, какой ты молодец... Ну, и еще, конечно, о том, что руки у тебя большие, — настоящие, мужские руки, и ей так уютно, покойно всегда, когда она у тебя в руках. А то, что ты уже колючий сейчас, к вечеру — так это брось, наплевать, не стоит на это время тратить. Лучше ты не сам, ты лучше ее сейчас в ванную пусти. А сам ложись, а она сейчас, только на секунду под душ и назад. А про щетину ты, правда, забудь! Может, это даже лучше так, что ты немного колючий: так хорошо иногда, знаешь, просто так — ну, просто так, знаешь — потереться о тебя щекой...

— Ну, так я в ванную? Хорошо? Только смотри, не засни без меня... Что? Посуда на столе? Да Бог с ней, с посудой! И про посуду тоже забудь. Я ее потом, я ее после приберу...

— Халат возьми, воробышек... Ты знаешь, он там, на крючке висит...

— Халат? А зачем он мне? Я что, не нравлюсь тебе без него? Не нравлюсь, да?

Или же они с ней опять сидят где-нибудь в ресторане, смотрят на людей, на друг друга через стол, на зеркала смотрят, на люстры, на бронзовых амуров по углам... Или же они с ней играют на бегах, то есть играет-то, конечно, он, а она болеет за него и не дает ему зарываться, голову терять. Но самой ей на игру, он это знает, наплевать, ей больше и здесь

интересно на людей посмотреть, на московских чудаков, на настоящих, истовых, с головой в игре игроков, на дам в мехах, расфуфыренных в пух и прах. И, конечно же, на лошадей! В особенности на лошадей... Или же они с ней в театре, на прогоне или на премьере какой-нибудь сидят. Но это, как правило, скучно: крику, воплей много, а пьесы все больше неинтересные, все о чем-то не о том. И вообще лучше бы прямо встать сейчас и уйти, и уехать туда, на Вернадского — да ничего не поделаешь! Раз пригласили, раз пришли — приходится сидеть. Еще расстроятся те, кто пригласил, если уйдешь. Лучше уж потерпеть...

А еще интересно: интересно, какая вдруг дружба неожиданная у них с Фаридом получилась! Кто бы мог подумать... Этот, что называется, женоненавистник? И вдруг поди ты — такие симпатии, такое внимание, беспокойство о ней: как она там, что с ней, почему так давно не заходит...

— Да какой же, Фарид, давно? Ты же третьего дня ее видел! Сам же нас в Коммерческий клуб пригласил. Ужинали еще втроем. Ты что, забыл?

— Ничего я не забыл, Костя! И я не про Коммерческий клуб. Я про «Проминвест» спрашиваю. Здесь-то как ее давно не было? Недели три? Месяц? А то и больше...

— Может, и месяц уже. Я не помню... А чего ей здесь делать, Фарид? Что она здесь забыла? Тут дела делаются. Тут нам с тобой не до нее...

— Это тебе, может, не до нее! А мне всегда до нее... Тебе, может, и нет, а мне с ней всегда хорошо. Я уже, между прочим, знаешь, что заметил? Как она к нам зайдет — жди, завтра удача какая-нибудь будет... Да ты не улыбайся, шеф! Нечего улыбаться. Я тебе правду говорю...

А однажды он, Фарид, и вовсе, что называется, встрял туда, куда (при его-то деликатности!) никак нельзя было ожидать, что он позволит себе встрять. Они втроем сидели тогда, ужинали все в том же Коммерческом клубе.

— Слушай, Константин... Друг ты мой, Алексеич, — ни с того, ни с сего обратился он вдруг к нему, когда они уже, помнится, заканчивали десерт. И выпили-то, кстати говоря, тогда совсем немного! Так что дело было вовсе не в этом, не в вине. — А чего ты, фраер, интересно знать, на Ирине не женишься? Думаешь, лучше найдешь?

— Чего?! — чуть было не поперхнулся от неожиданности Костя.

— Чего-чего... Чего слышал! На Ирине чего, говорю, не женишься? Дожидаешься, пока ее у тебя из-под носа уведут?

— Н-да, Фарид Ахмедович... Круто ты, однако... А давай, слушай, лучше ее сначала спросим: она пойдет за меня или нет?.. Как, хорошая моя, пойдешь?

— А шафером на свадьбе будет кто? Фарид? — улыбаясь, спросила она. — Если Фарид будет — пойду. А если нет, то подожду...

— Мне нельзя, Ирина, шафером, — на полном серьезе, насупившись, ответил Фарид. — Я татарин. Мусульманин, то есть. Мне, строго говоря, к вам и в церковь-то входить не полагается. А уж венец у тебя над головой держать — тем более.

— А если не так, Фарид? Если не по-новому? А по-старому, по-рабочему? Под ракитовым кустом? — возразил Костя.

— А под ракитовым кустом и не мечтай! Много вас тут таких прощелыг развелось... Ирина, не соглашайся под ракитовым кустом! Ни за что не соглашайся, это я тебе говорю... Только под венец! Только в церкви. И никаких чтоб этих глупостей... Смотри ты, парень, разбежался! Под ракитовый куст, видишь ли — и все дела...

— Да я не просто так говорю, Фарид — под кустом. Я благородно! Чтоб с печатью. И бумага чтоб с гербом...

— А в гробу она видела твою печать! И бумагу твою с гербом... Ты не финти, шеф! Ты скажи — ты думаешь жениться или нет?

— Поймай, Фарид. Поймай, не нажимай... А ты вот что... ты вот что лучше скажи: а свою эту десятиклассницу ты тоже к мулле поведешь? Тоже по всем вашим этим татарским канонам свадьбу устроишь? А, боцман? А также кандидат физмат наук? А также первый вице-президент всемирно известной холдинг-компании «Проминвест»? А также...

— А также, а также... А ты как думал? Конечно, поведу... Да даже если б я и вздумал, вроде тебя, так, чтоб только бумага с гербом — кто бы мне позволил? Нет, парень, у нас строго. И всегда-то было строго, а теперь и подавно... Ну, так что, так когда свадьба? Ирина, обещай, что меня первого позовешь! А то этот твой хмырь еще чего доброго и вовсе забудет меня позвать. А я уже даже знаю, чего я вам, ребятки, подарю. Ахните, что подарю! По гроб жизни будете меня вспоминать...

И не раз, надо сказать, они потом еще возвращались к ней, к этой, что называется, животрепещущей теме. Не раз... И даже на Вернадского, наедине с Ириной, эта тема тоже, бывало, иногда возникала. Но, признаться, как-то не очень

остро, не очень рельефно возникала. Обычно она со своей этой улыбкой всякий раз как-то так этак мягко уклонялась, увертывалась от нее, не давая ей разрастись... А то и вовсе, едва он начинал, заставляла его сразу замолчать, запечатав ему своими этими полуоткрытыми, всегда чуть влажными губами рот: ах, да брось ты, Костенька, разве сейчас до этого? Я так сюда рвалась, если бы ты знал, а ты черт-те о чем... Иди лучше сюда! Обними меня, и перестань ты трепаться про всякую там ерунду...

...Да, но. Но, Константин Алексеич! Вот именно — но... И ерунда эта, как оказалось — она ведь и правда была ерунда! И воробышек-то твой, сколь ни печально это сознавать, была права. На все сто процентов права, с самого начала... А если и была вообще когда эта ерунда хоть самую малость актуальной, то, получается, только что до сегодняшнего дня. А точнее, до сегодняшнего вечера. А еще точнее — до девяти пятнадцати сегодняшнего вечера... И все, о чем ты сейчас, сидя у себя на Вернадского, рассуждаешь сам с собой — это все уже, парень, в прошлом, все плюс квамперфектум! Это все уже, как говорится, задним числом. Так, одни воспоминания... Да и вспоминаешь-то ты, это все, Костенька, по инерции! Все потому, что она, Ирина, как будто бы все еще здесь. Или, если не здесь, так сейчас будет здесь. Сейчас позвонит, сейчас подъедет... В самом-то деле, чего она там не едет? Кажется, пора бы уже — первый час... Но это все было вчера! Или позавчера. Или третьего дня. Или... Или сто лет назад.

А сегодня... А сегодня они с Фаридом проводили ее, Ирину, аж вон оно куда — в славный волжский город Кинешму. Не к ночи будь он, треклятый, помянут! Чтоб он провалился там к дьяволу со всей своей стариной, и с Волгой, и со всеми, кто там живет... Нет, но почему именно в Кинешму?! Почему не в какую-нибудь Малаховку или Валентиновку, ну, на худой конец — в Рузу или Верею? Почему именно туда, к черту на рога? Не Соловки, конечно, но и не скажешь же, что рукой подать! Ночь, не меньше, трястись надо в поезде, а самолетом-то и вовсе туда не долетишь. Не летают туда самолеты! Да и машиной тоже, надо думать, никакой «мерседес» не выдержит: одни колдобины да убины, да грязь непролазная... Последнюю-то дорогу туда, небось, еще Борис Годунов проложил, с тех пор-то и не было ничего...

Так что же — действительно все? Действительно это конец, как будто ее и не было с ним никогда? Похоже, что

так, Константин Алексеич. Похоже, что действительно конец... Ну, будет она сюда, в Москву, приезжать раз в месяц, а то и раз в квартал. Ну, может, и ты когда на денек туда к ней вырвешься, когда дела позволят... А когда они позволят, дела? По крайней мере, в ближайшие лет пять, не обольщайся, не очень-то они, дела, тебе, надо думать, позволят. И тут, в Москве, ты все время нужен, и в Америку надо лететь, и в Южную Корею, и в Вологду надо ехать, и в Ташкенте тебя ждут — не дождутся... Да и зачем, по-честному говоря, тебе теперь туда рваться, в эту самую Кинешму? Выбор, как ни крути, сделан. И этот выбор, парень, не в твою пользу, какой бы ты там везучий, и выдающийся, и богатый ни был. И плевать ей на то, какой ты там мужик! Да-да, и на это ей, выходит, тоже наплевать... А на что ей не наплевать? А не наплевать ей, выходит, только на своих уродах — больше ни на что. Куда уроды — туда и она. В Кинешму — так в Кинешму...

Что, скажешь, не было возможности отказаться, не ехать? Не было возможности другую себе работу найти? Да Бог ты мой — сколько угодно! Да за любым углом... Полно же сейчас везде вакантных мест! Доктора-то тоже вон все в ларьки побежали, никому не охота нищенствовать. В любой больнице, в любой поликлинике ее бы с руками оторвали. И помогать бы не надо было: только приди, только объявись... Да даже и главврачом куда, если бы очень хотела — тоже было бы раз плюнуть устроить. Связи есть. И деньги есть. А сколько оно теперь стоит — место главврача? Да чепуху, наверное, стоит! Не о чем и говорить... Ну, а если не хочешь ни просто в доктора, ни в главврачи — так, может, замуж хотелось? А, Ирина Викторовна? Нормальная же женщина, не могло же не хотеться... Ну, так сказала бы, черт, хоть раз всерьез! Если бы на самом деле хотелось... А то все смешки да смешки! Хоть раз бы жиманула на него чуть-чуть: что он, не согласился бы, что ли? Да он уже, честно, и так, без всякого жима, был, считай, готов: вяжи его голыми руками и веди под венец. Так нет! Ха-ха да ха-ха: «Фарид, пойдешь ко мне шафером?» А как всерьез, так, что называется, атанде: спрячет свои рожки, как улитка в раковину, и попробуй, достань ее оттуда...

А все они — уроды! Они. Да еще стечение обстоятельств... А может, нет? А может, другое — не обстоятельство, а интрига, заговор? С чего это они все вдруг взялись, обстоятельства? Больно подозрительно... Уж больно все сходится! Уж больно оно все сошлось одно к одному...

— Ирина, а как ты думаешь... Это все, так сказать, само собой? Или это все-таки кем-то организовано? Специально организовано? — спросил он, помнится, ее, когда первый шок от этой ее новости прошел и он опять начал что-то соображать. Шок после того, как она сказала ему, недели две назад, что приказом Минздрава их интернат переводят из Москвы куда-то под Кинешму, на берег Волги, в леса, в какой-то там ненужный теперь никому дом отдыха, и что ей надлежит со дня на день ехать туда, чтобы подготовить там приемку детей. Ну, и, конечно, всего остального их хозяйства, всякого там интернатского добра...

— Что ты имеешь в виду, Костя?

— Очень уж подозрительно это все, друг мой, выглядит! Кому это в нынешнем всеобщем бардаке вы, интересно знать, понадобились? Подумаешь, главная проблема! Интернат для неполноценных детей... Кому вы здесь-то мешали? Жили вы здесь с незапамятных времен. И еще бы прожили не меньше... А тут: раз-два взяли! Да быстрее, быстрее, ребята: две недели на сборы, и айда... Нет, воробышек, тут что-то нечисто! Определенно, нечисто... Может, опять он — этот твой прохвост из префектуры? Его дела?

— Не знаю, Костя... Может, и так. Может, и не без его участия... Но с другой стороны... Уж больно он, знаешь... как бы это сказать... уж больно он незначительный, что ли, чтобы такое дело повернуть... Кто он для Минздрава? А приказ ведь министром подписан... неужели, думаешь, и туда уже у него щупальцы проросли? И их он тоже там, как ты выражаешься, повязал?

— А что? Все может быть, Ирина Викторовна... У этой сволочи теперь везде все схвачено, везде свои люди сидят. И, между прочим, размножаются они, мать их всех так, с бешеной скоростью. Со скоростью трески! Даже и не уследишь... Как черти хвостами переплелись, гады! Дерни одного за хвост — сразу ошестинится весь клубок... Ну, да ладно. Это все лирика... Так что будем делать, воробышек? Бороться будем, а? Или лапки кверху — и шабаш? «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я...»

— Нет, Костя. Бороться, похоже, не будем... Если подумать... Если подумать, то, может, оно и к лучшему, что так все сложилось. Для детей-то уж точно к лучшему. Там Волга, лес, воздух. Там люди добрее... А мне? А мне деваться некуда, Костя. Куда я от них? Некуда мне от них...

— Ну, хорошо! Не будем бороться. Примем все, как оно есть... Или, по-другому, как мне мое чутье подсказывает: как

этот твой гад из префектуры нам определил... Но ведь еще, видишь ли, одна заковыка остается, Ирина Викторовна... А я? У меня-то какая должность при таком раскладе, а? Переходим в светлое воспоминание? Или это слишком круто? Скажешь, остается ведь еще и эпистолярный жанр?

— Не надо, Костя. Не надо, милый. Пощади... Я тебя люблю, Костя! Я тебя очень люблю... А сделать я с собой ничего не могу. Не могу я отказаться. Ты ведь умный, ты поймешь. Ты должен понять... Ничего-то я не знаю, Костя! Ничего. Куда меня несет жизнь? Почему? Зачем? Ничегошеньки-то я не знаю. Кто бы мне хоть объяснил... А ты... Ты, я знаю, можешь без меня. У тебя дела, планы. Ты выдающийся человек, Костя! У тебя будущее... А они без меня не могут. Без меня им хана. Без меня им всем действительно когда-нибудь эвтаназию устроят. К тому идет... Вот в чем все дело, Костя... Не мучай меня, прошу! Ты лучше приезжай ко мне туда иногда. И я буду сюда приезжать, часто приезжать... И мы будем видеться, Костя. Будем! Если, конечно, я тебе еще буду нужна...

Быстро же они пробежали, эти две недели! Так быстро, что он даже вроде как и не заметил их... Нет, заметил, конечно... Но не дни заметил, а все больше это неведомое ему никогда прежде, сосущее откуда-то изнутри, из-под сердца чувство приближающегося обвала: вот он — надвигается, нарастает, нависает над тобой, а ничем его уже не остановить... А дни — что ж! Дни мелькали, как и прежде — один за одним. С той разве что разницей, что теперь она и вовсе не уезжала по вечерам к себе, а каждый раз оставалась у него на Вернадского на ночь до утра.

Ни о чем, так сказать, глубинном, существенном они с ней, понятно, больше не разговаривали. О чем было говорить? И так все было ясно. А если без дела опять начать копать все эти глубины — что из этого получится? Да ничего! Ничего, кроме боли, не получится. А зачем она ему? И зачем он ей?

И даже на вокзал они поехали не вдвоем, а втроем — он, она и Фарид... Почему? Ну, во-первых, потому, что Фарид сам хотел ее проводить, очень хотел. Он, когда узнал, что произошло, сильно было всполошился, стал настаивать на каких-то решительных действиях, перебирать всевозможные варианты. Но, надо сказать, быстро отступился: он всегда был умный, Фарид, всегда все понимал, только, как та собака у Павлова, выразить не всегда умел то, что понимал... А, во-вторых, хотя они об этом между собой, конеч-

но, не говорили, и им с Ириной тоже, похоже, что страшно-вато было расставаться только вдвоем: а ну-ка либо она, либо он не выдержат? Еще чего доброго слов всяких жалостных наговорят друг другу напоследок, еще и слезы, не дай Бог, будут, еще и цепляться станут, за руки друг друга хватать...

А так — что ж! Так все, как полагается. Все, как всегда... Вокзал, суета, вагон «Москва—Кинешма», чемодан, авоська с едой, уже с порога пьяный проводник, грязь, смрад, бабы с узлами, дети, тесное купе: «где тут твоя полка — наверху или внизу?» А потом...

— Ну, пока! Не забывай нас, воробышек... Да не стой ты так, раздетая, на ветру! Простудишься. Иди в вагон. Сейчас тронется... А когда приедешь — обязательно найди телефон и позвони! А не найдешь — телеграмму дай. Хочешь на Вернадского, хочешь на «Проминвест»... Слышишь? Обязательно дай. Мы будем ждать...

— Мы? И ты, Фарид, тоже будешь ждать?

— Буду, Ирина! Буду... Я, может, даже больше этого фраера буду ждать. Ты не ему, ты мне пиши...

— А на свадьбу твою в Казань ты меня, Фарид, позовешь?

— На свадьбу? Что на свадьбу! Ты там вот что... Ты там на досуге, время будет, подумай: а может ты не за Костю, ты за меня замуж пойдешь?

— За тебя? А как же тогда десятиклассница, Фарид?

— Что десятиклассница? Бог с ней, с десятиклассницей. Ей другого, в случае чего, найдут. Еще лучше меня... А ты, правда, подумай, Ирина! Я этого твоего фон-барона всегда предупреждал: проворонит он тебя. А я не такой лопух, как он, я-то знаю, что в жизни почем... Ты не ему, ты мне пиши!

— Спасибо тебе, Фарид... Спасибо тебе, Костя! За все спасибо... Ну, пока, мальчики! Тронулись... Пока, пока! Я, как приеду, обязательно позвоню... Или напишу...

Нет, не бежал он, Костя Мамонов, по перрону вслед за вагоном, за уходящими в ночную тьму красными огоньками поезда, не махал платком, не сморкался, не вытирал слезы со своих глаз. И не стоял, будто оглушенный, не перроне, все еще не веря, что и поезд ушел, и все ушло, и, наверное, больше уже не воротится назад никогда... Сели они тут же с другом, с Фаридом, то есть, в машину и махнули напрямик в Коммерческий клуб: надо же было, как у нас полагается, отметить такой случай, помянуть добрым словом барышню,

снять напряжение от всей этой вокзальной маяты да суеты... Ну, и сняли, конечно! Одну большую, ноль-семьдесят пять, православного нашего напитка раздавили на двоих, посидели, покурили, повздыхали ей вслед...

А потом как-то само собой откуда-то и некое вдруг белокурое создание образовалось вместе с ними за столом. И Фарид, вопреки своим привычкам и манерам, неожиданно вдруг заинтересовался ею. И подвез он, Костя, их обоих потом на машине к Фариду на квартиру, и даже, кажется, она еще что-то там такое лепетала, сидя с ним рядом на сиденьи: что у нее, дескать, еще и подруга есть, и ее тоже можно позвать, она, дескать, мигом, она тут неподалеку живет. Но он, Костя, потрепав ее на прощанье легонько рукой по спине, все-таки отказался... Конечно, известно — клин клином вышибают! Да больно уж как-то так неуместно ему на сей раз это все показалось. В общем, попрощался, пообещал этой барышне — в другой раз, и домой...

Но, видимо, мало они с Фаридом все-таки взяли! Думал дома сразу завалиться спать, и гори ты оно все огнем — ан нет, пришлось и дома еще себе налить, и еще налить, и еще... И даже какая-то таблеточка снотворного нашлась на кухне в шкафу, а все равно — сна ни в одном глазу! А время уже второй час, и завтра ни свет ни заря надо вставать: в восемь утра уже так называемый «деловой завтрак» с австрийскими партнерами в «Метрополе». Это теперь манера такая — «деловой завтрак»! Наверное, от американцев пришла: что действительно зря время терять? За йогуртом, да яичницей, да кофе с бисквитами можно, умеючи, и все проблемы решить. И еще день себе целый сэкономить на другие какие дела...

Так что, Костя, дорогой, кончай ты сидеть так в кресле, пялить глаза на настольную лампу да смолить одну сигарету за другой... Ничего ты, президент холдинг-концерна «Проминвест», мультимиллионер, «хозяин заводов, домов, паркоходов», а также... А также брошенный обыкновенной московский барышней любовник, а также фраер, павлин в разноцветных перьях, то и дело к месту и не к месту распускающий хвост, а также дурак, мальчишка, дворовый кобель, и прочая, и прочая — ничего ты сейчас, сидя в своем этом кресле, не решишь. И даже вот так, один, без всяких помех откуда бы то ни было и от кого бы то ни было, все равно ничего ты толком не сумеешь ответить на один в общем-то простенький вопрос, прямо скажем — пустяковый вопрос: почему?

Почему? Почему опять все смешалось в доме Облонских? А если проще сказать, не выпендриваться — то не у каких ни у Облонских, а у него, у Кости Мамонова, в голове? Ведь последние, по крайней мере, годы так все было ясно, просто, определленно! Так четко, легко укладывалась его жизнь в этой самой его голове: плюнь на всякие там глупости, на все эти высокие материи, не трать зря времени, не копайся в том, в чем бесполезно копаться, работай, не зевай, не давай себе наступать на ноги, лови момент, лови свой шанс, живи сам и жить давай другим, надейся на себя, и больше ни на кого, не отказывай себе ни в чем, но и не безумствуй, от грязи, если можешь, сторонись, но и не разводи лишних соплей, когда надо, когда иначе и нельзя...

И не только его собственная жизнь! Но и жизнь вокруг него тоже была в общем-то ясна, тоже была определенна... Да, идет нормально ненормальный процесс нормализации! Да, хаос, разбой, грязь, нищета вокруг... А что же вы думали, господа-товарищи? А как же еще можно было вырваться из того сумасшедшего дома, в котором мы по вашей милости прожили целых три поколения? Вы что, всерьез надеялись, что все это можно было сделать в белых перчатках, лишь изредка отмахиваясь надушенным платком от помойных мух? Да никогда в жизни! Нет, именно в грязь, руками, засучив по локоть рукава, в дерьмо, в вонь и смрад, вычерпывая эту яму бадья за бадьею, пласт за пластом... А как же иначе, господа? Иначе и не бывает. Иначе и не может быть... Ничего, отмоемся потом! Погодите, пройдет десятка два лет — сами не узнаете себя... И не кто другой, а именно он, Константин Мамонов, вам в первую голову нужен, чтобы эту выгребную яму вычерпать, чтобы очистить эти ваши конюшни до дна... Всем вам нужен! Всем. До последнего нищего, до последнего самого несчастного человека на улице он, Костя Мамонов, нужен. Ибо без него беда! Без него, как спали вы все десятки лет, так и будете спать и дальше. Так и будете копошиться в своем дерьме, скуля и жалуясь на то, как она тяжела, жестока, как она несправедлива — жизнь...

Всем? А вот, Константин Алексеевич, и нет! А вот, оказывается, что и не всем. Оказывается, что многим ты нужен, всем ты нужен, кроме одного только единственного человека — своей же собственной любовницы... Которой, кстати, было, несомненно, хорошо с тобой. Которая была счастлива с тобой — да-да, именно счастлива! А вот подишь ты... Кинешма! Нет, подумать только — Кинешма! Какая Кинешма?

Причем тут Кинешма? Что она там, Ирина, себе думает? Да-да, о жизни, о судьбе своей что она думает? Что, так и будет при своих уродах состоять всю свою жизнь? Мать Тереза в леггинсах! Да еще без лифчика, да еще в другой раз и с вырезом на груди чуть не до пупа... Да, Господи, да ей только из ванной выскочить! Да ей только до постели добежать... А то и не добежит, а то и ковра на полу по дороге хватит...

Ну, нет! Тысячу раз, наверное, был прав тот ученый дядька, который про эту самую эвтаназию говорил... И правда! Решиться бы и снять всю эту проблему разом раз и навсегда. И дело с концом. Все равно эти уроды не нужны никому: ни Богу, ни дьяволу, ни людям, ни самим себе... А может, нет? А может быть, все-таки нужны? Может быть, ей-то, Ирине, они и нужны? И не только ей — а может, и тебе, Косте Мамонову, тоже нужны? Зачем-то, но нужны? О, черт бы вас всех побрал с этими уродами, с этой вашей проклятой Кинешмой... Никакой головы на это не хватит! И никакого мехмата МГУ, и никакого «Проминвеста» не хватит, чтобы это все понять... Да и вообще — можно ли это понять? Нет, по-честному, люди хорошие, скажите: может ли это кто-нибудь понять? А может... А может, и не надо это понимать? И даже более того — и нельзя это понимать? А можно лишь одно — брать это все так, как оно есть, и с этим жить? О, Аллах милосердный! И не захочешь, а вспомнишь тут покойного деда, вспомнишь отца... Действительно, кто... Кто же, скажите, сумасшедший? Я, Константин Мамонов? Или мир?

...Тикают часы. Молчит спящий уже непробудным сном дом, молчат и двор, и даже улица там, за окном... И плывет, растворяется сизыми кольцами табачный дым над головой президента холдинг-концерна «Проминвест», надежды и гордости новой России, двадцативосьмилетнего московского мультимиллионера Константина Мамонова, утонувшего со стаканом в руке в одном из кожаных кресел у себя дома, в своей изысканно обставленной гостиной, среди ковров и антикварной мебели, и всякой аппаратуры, и гарднеровского, коллекционного фарфора на полках тускло отсвечивающих в полутьме шкафов... И туманится, кружится его, Костина, голова, и слипаются его глаза — но слипаются не от усталости, не от сна, потому что сон его так и не берет, и даже не от каких-то смутных, далеких воспоминаний из юности, из той поры, когда он был еще беззаботен и весел, и ничего не принимал всерьез, и был готов, бросив все, мчаться за любой новой юбкой, за любой улыбкой, проскользнув-

шей невзначай мимо, и радовался каждому своему успеху, каждой новой удаче, и когда он еще верил, что все на свете чепуха, все преодолимо и достижимо, стоит только сильно чего-нибудь захотеть.

И не то, чтобы что-то новое, неизведанное им раньше удивляло или пугало его... Нет, не от этого слипались у него сейчас глаза. Ничего его не пугало, и ничего он не боялся! А просто впервые, наверное, сколько он себя помнил, он, Костя Мамонов, вдруг так явственно ощутил, что там, за авансценой жизни, есть еще какой-то следующий ряд и, может быть, даже не один ряд, и там тоже что-то происходит, что-то очень важное, чего он пока не в силах понять, но что ему все-таки придется рано или поздно понять, если ему суждено и дальше жить... И от этого была печаль... Печаль, да еще желание не открывать больше глаз и не смотреть туда, за авансцену жизни, и заснуть так, сидя в кресле, и не просыпаться больше никогда...

О! Что это? Звонок? Да, звонок... Телефонный звонок... Ах ты, черт, надо вставать! Так, из кресла, ему до телефона все равно не дотянуться... И кому, интересно знать, он понадобился так поздно? Два часа уже... Кому это невтерпеж? Может, Фарид? Может, его повело? Небось, отправил барышню восвояси, а впечатления распирают, поделиться не с кем...

— Костя...

— Мама?! Ты? Что случилось?

— Костя, отца больше нет.

— Как нет?! Ты что? Мама, ты что?

— Костя, отец умер.

— Как умер?! Когда умер?! Мама, да ты что? Что ты говоришь?

— Наверное... Наверное, это случилось часа два-три назад... Мне только сейчас удалось открыть к нему в комнату дверь...

— Мама, это не ошибка? Может, ему просто плохо? Может, он просто сознание потерял?

— Нет, Костя, он умер. Я только что закрыла ему глаза... Приезжай, Костя! Приезжай сейчас... Я до тебя не буду никуда звонить...

— Мама, еду! Конечно, еду. Сейчас же еду! Не звони без меня никому... Мама, а от чего он умер, как ты думаешь? Сердце?

— Нет, Костя. Скорее всего, не сердце. Скорее всего, он сам... Я тут коробку из-под каких-то таблеток нашла.

Рядом с ним, под столом... Костя, это я, я его не уберегла! Я виновата, Костя. Я! Приезжай... Приезжай сейчас же, Костя! Я с ума схожу... Я без тебя с ума сойду! Ради Бога, приезжай...

— А записка, мама? Какая-нибудь записка есть?

— Нет, Костя, никаких записок... Не знаю, может, где-нибудь потом в его бумагах обнаружится... Костя, милый, не тяни! Не спрашивай ни о чем. Приезжай! Прошу тебя — приезжай...

ЭПИЛОГ

— Тетя Наташа, а я у тебя теперь всегда буду жить? Долго жить?

— Ну, насчет всегда... Насчет всегда, Ксюшенька, не знаю. А вот насчет долго — наверное, так. Наверное, мы с тобой долго еще будем вместе жить. По крайней мере, точно уж, пока твою маму не выпишут из больницы... А тебе что, не нравится у меня?

— Нет! Нравится, тетя Наташа... У тебя книжек много! И кот у тебя есть. А у нас дома нет... Я только по маме, тетя Наташа, скучаю. И игрушек у тебя мало... Давай, мы мои игрушки к тебе тоже заберем? Давай, а?

— Давай. Завтра поедем вместе с тобой на Преображенку и заберем.

— Все заберем? Все до одной, да?

— Ну, зачем тебе все? Это ж, Ксюшенька, мы тогда с тобой такси должны нанимать. На себе мы их все с тобой не увезем.

— Нет, тетя Наташа! На такси мы с тобой мои игрушки тоже не увезем. Надо, знаешь, что? Надо грузовик! Самосвал... А еще лучше — с прицепом! А еще лучше — два прицепа. А еще лучше паровоз, а за ним вагоны. Много — много вагонов. А еще лучше...

— Ну, вот, видишь! Где ж тогда, Ксюшенька, им тут жить, твоим игрушкам? У нас тут и места не хватит, чтобы им всем жить... А потом, ты мне скажи: кто ж тогда там квартиру будет сторожить, если мы с тобой все игрушки увезем?

— Правильно! Мы с тобой, тетя Наташа, много игрушек заберем, а Страшилу оставим. И Железного Дровосека оста-

вим... Воры войдут, а он на них как зубами заскрипит, как топором взмахнет!.. Тетя Наташа, а мама долго будет болеть?

— Да нет, Ксюшенька. Думаю, не очень долго. Такое не бывает очень долго... Это, Ксюшенька, у взрослых называется нервный криз. Ну, нервный срыв, словом... Она отдохнет, отлежится там немножко в больнице, а потом мы ее с тобой оттуда заберем...

— Это она потому, что папа умер, да? Так, тетя Наташа?

— Так, птичка-синичка. Так... папа умер, ну, вот она и заболела... Это пройдет, Ксюшенька. Скоро пройдет...

— Тетя Наташа, а папа тоже был твой муж? Как и мамин?

— Да, Ксюшенька. Был.

— А он кого, ты думаешь, больше любил? Тебя? Или маму?

— Обоих, Ксюшенька. Он обоих любил...

— И потому он умер, да?

— Нет, Ксюшенька. Умер он не по этому. У него сердце остановилось — вот он и умер... Понимаешь, у него сердце было больное, он слишком за многое переживал...

— А у мамы сердце не больное? Она не умрет, тетя Наташа?

— Нет, Ксюшенька. Не бойся. Она не умрет, она долго будет жить.

— И ты не умрешь?

— И я не умру. Во всяком случае, не скоро умру... Мы с тобой еще вместе в школу пойдем! Мне нельзя скоро умирать, Ксюшенька. Мне надо, чтобы ты еще школу кончила. А раньше мне нельзя...

— Тетя Наташа, а Костя — он кто? Он твой сын, да?

— Да, Ксюшенька. Вот как ты у мамы дочка, так и он у меня — сын.

— А он тоже папин сын? Как и я?

— Тоже, Ксюшенька.

— Он такой большой, тетя Наташа! Как дядя Степа... Как Гулливер! А он не будет меня больше щипать? И дразнить не будет, да? А то я с ним разговаривать не буду...

— Да нет, Ксюшенька. Не бойся. Он добрый.

— А в прошлый раз, он меня ущипнул! И дразнил меня. Говорил, что я карандашик... Какой же я карандашик? Я девочка, тетя Наташа! А карандашик — это все равно, как Буратино...

— А мы, Ксюшенька, знаешь, что... А мы вот что... Давай-ка мы с тобой сейчас вместе позвоним ему на работу и спросим его... Скажем: ты будешь еще, Костя, дразнить нашу Ксюшу? Скажем: обещай, что не будешь. Так?

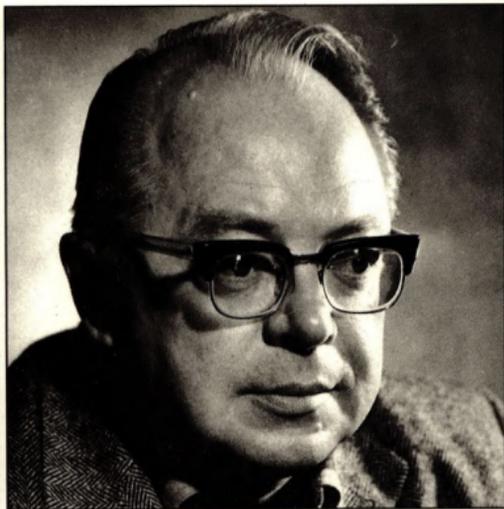
— Давай, тетя Наташа! Давай ему позвоним... Давай, я сама наберу номер. Какой его номер, тетя Наташа? Я умею звонить.. Я сама!

Ах, быстро... Как же быстро они теперь все растут, дети! Так быстро — и не уследишь... И сама-то ты, Наталья Владимировна, еще никак не можешь привыкнуть эти кнопки на трубке нажимать, палец сам собой все диск ищет. А эта кроха — смотри ты! Раз-два-три, туда ткнула пальчиком, сюда ткнула — и пожалуйста! И все, и гудок... Нет, Ксюшенька, впору хоть сейчас тебе компьютер покупать! А что? И придется покупать. Читать умеет, считать умеет, в кнопках разбирается... Надо бы Косте сказать, чтобы он ей там какой полегче, какой-нибудь детский компьютер подыскал. Он-то ведь все понимает в этих делах... Какой-нибудь забавный, чтоб с игрой... Пусть привыкает, карандашик, помаленьку. Такая теперь жизнь...

— Алло! Костя? Костя, ты слышишь меня? Костя, слышишь?.. О, Господи! Опять этот треск. Опять этот проклятый фон, эти щелчки... И как им не надоест? Костя, ты слышишь меня? Слышишь? Плохо, да?.. Господи! Слушайте, вы там — майор, капитан, лейтенант... Словом, черт вас знает, кто вы там такой есть... Ну, хватит, хватит! Понимаете? Хватит! Пленку бы хоть пожалели, идиоты... Ведь умер человек! Умер — это вам понятно или нет? Умер — ну, чего же вам еще? Нет его на свете. Нет! Понимаете? И перестаньте пленку переводить! Ведь нет человека — нет и проблемы. Так? Так, кажется, вас всегда учили? Или нет? Или, по-вашему, она все равно есть?

ЧТЕНИЕ У КАМИНА

Николай ШМЕЛЕВ В ПУТИ Я ЗАНЕМОГ
РОМАН · ПОВЕСТИ



Имя Николая Шмелева известно всему миру. Его повесть «Пашков дом» переведена на многие языки, но всемирная слава к нему пришла раньше, пришла как к экономисту. Его статьи в начале перестройки читала вся Россия.

Родился Николай Шмелев в 1936 году в Москве, в семье инженера. В 1958 году окончил экономический факультет Московского государственного университета.

Писать прозу начал еще на студенческой скамье. Первый рассказ «Оловянные солдатики» был опубликован в 1961 году. Затем последовали 26 лет вынужденного молчания, хотя работать «в стол» не прекращал все эти годы ни на один день. В 1987 году журнал «Знамя» опубликовал повесть «Пашков дом». С тех пор повести и рассказы Н. Шмелева постоянно печатались в России и за рубежом, выходили его книги.

Новый роман «В пути я занемог» написан в 1994 году.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОЛОС»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОЛОС»

ЧТЕНИЕ У КАМИНА

Николай ШМЕЛЕВ
В пути я занемог

\$3.99